

ПОЭТЫ-
ПЕТРАШЕВЦЫ

ПОЭТЫ-
ПЕТРАШЕВЦЫ

Собрание
поэзии

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

Gi

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА
М. ГОРЬКИМ



*Большая серия
Второе издание*



Л Е Н И Н Г Р А Д * 1 9 5 7

ПОЭТЫ-ПЕТРАШЕВЦЫ

А. П. БАЛАСОГЛО, А. И. ПАЛЬМ, Д. Д. АХШАРУМОВ
С. Ф. ДУРОВ, А. Н. ПЛЕЩЕЕВ



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

Вступительная статья и общая редакция

В. В. Жданова.

*Подготовка текста, примечания
и биографические справки*

В. Л. Комаровича

ПОЭТЫ КРУЖКА ПЕТРАШЕВЦЕВ

1

Кружок петрашевцев — одно из наиболее ярких явлений в истории русского освободительного движения, явлений, оставивших заметный след и в общественной мысли и в литературе. В условиях крепостной России, где были попораны элементарные права человеческой личности, петрашевцы заговорили о равенстве людей, о раскрепощении женщины, о человеческом достоинстве, о свободной литературе, о счастливом будущем для всех народов. В 40-е годы XIX века пропаганда подобных мыслей звучала резким диссонансом в душной атмосфере реакции и воспринималась в охранительном лагере как прямое потрясение основ самодержавно-помещичьего государства.

По размаху своей деятельности, по количеству участников, по сознательности политических стремлений кружок петрашевцев не имел ничего равного себе в России того времени. Первые русские социалисты, петрашевцы основной своей задачей ставили пропаганду в обществе социалистических воззрений. Участников кружка, особенно его левой группировки, объединяла горячая ненависть к крепостному праву и его оплоту — самодержавию, твердая вера в грядущее счастье человечества. Распространение идей равенства и справедливости они считали средством, приближающим гибель ненавистного государственного порядка. Участники кружка прекрасно понимали всю сложность своего положения, но быть «представителями социализма» в России они считали своим историческим призванием, возложенным на них «духом века». В черновых набросках речи на обеде в честь Фурье

Петрашевский писал: «Социализм и Россия — вот две крайности, вот два понятия, которые друг на друга волком воют, сказал бы Прудон, и согласить эти две крайности должно быть нашей задачей».¹

Людам «непосвященным» собрания кружка Петрашевского казались явлением необыкновенным и неожиданным в условиях русской жизни. Так, молодой композитор Антон Рубинштейн, только что вернувшийся из-за границы и попавший на собрание кружка, был очень удивлен, услышав чтение «коммунистического трактата» и либеральные разговоры о конституциях и парламентах. Сидя в гостях у Петрашевского, Рубинштейн, по его собственным словам, «не скрыл своего удивления от соседей» и заявил им: «Вот не ожидал... встретить что-либо подобное здесь, в России! Я понимаю, что такие чтения и такие мысли и принципы высказываются за границей, там есть для этого почва, условия быта и строй общественный совершенно другие; но у нас, в России, всем этим принципам не может быть места! И строй нашей жизни и наши учреждения нисколько не подходят к тому, чтобы у нас развивались идеи, подобные тем, какие нам здесь читают!»² Действительно, строй и учреждения старой феодальной России очень мало соответствовали тем социалистическим идеалам, которые все шире распространялись среди молодежи. И тем более велика была заслуга петрашевцев, сумевших завоевать симпатии довольно широких кругов демократической интеллигенции.

Уже в предшествующие десятилетия в России начали возникать литературно-философские кружки, свидетельствовавшие об оживлении интеллектуальной жизни в стране; не малую роль в идейном развитии этих кружков играла немецкая классическая философия. Однако их стремления по большей части не выходили за пределы отвлеченно-эстетических и литературных интересов. В 40-х годах характер деятельности подобных кружков резко меняется в связи с общим оживлением политической жизни, пробуждением общественных интересов и оппозиционных настроений в крепостной России. Этот процесс совпал с подъемом революционного движения на Западе. Широкое распространение идей утопического социализма, назревание европейских революций 1848 года, так перепугавших самодержавие, оказали прямое влияние на формирование прогрессивных настроений среди русской интеллигенции. Революционным событиям в Западной Европе соответствовал рост оппозиционных сил в России, укреплявшихся день

¹ Петрашевцы. Сборник материалов под ред. П. Е. Щеголева, т. 3. М.—Л., 1928, стр. 41.

² Воспоминания А. Г. Рубинштейна. «Русская старина», 1889, № 11, стр. 539—540.

ото дня, несмотря на наступление реакции и ожесточенное сопротивление правительства.

Деятельность кружка петрашевцев, возникшего в середине 40-х годов, была одним из ярких свидетельств общественного подъема, роста демократической мысли того времени. Усвоив в известной мере идеи и традиции движения декабристов, мечтавших добиться благоденствия России через свержение самодержавия, петрашевцы представляли собой более демократическое течение по сравнению с декабристами, которые, по словам В. И. Ленина, были «страшно далеки» от народа.

В годы деятельности кружка еще была свежа память о революционном движении 20-х годов. По рукам ходили запретные стихи, разоблачавшие царя. Были живы сосланные декабристы, и участники кружка расспрашивали о их судьбе людей, приехавших из Сибири. В кружке, надо думать, не раз возникали разговоры о восстании 1825 года и о причинах его неудачи.

Можно утверждать, что сам М. В. Петрашевский в какой-то мере сознавал себя продолжателем дела декабристов. Пропагандистский кружок 40-х годов, с его социально-утопической программой, при всем своем отличии от программы и тактики военного заговора декабристов, представлял собою дальнейшее развитие революционной традиции, впитав в себя и элементы декабристской программы. Выстрелы на Сенатской площади разбудили целое революционное поколение. Петрашевцы, наряду с Герценом и Огаревым, принадлежали к этому поколению.

В передаче провокатора Антонелли сохранился отзыв Петрашевского о деле декабристов, из которого видно, что причиной неудачи восстания 1825 года он считал недостаточную организованность и слабую подготовку выступления. «Заговор 14-го декабря,— говорил Петрашевский,— не мог никаким образом иметь успеха потому, что главная его цель была известна только очень малому числу действующих лиц, между тем как другие действовали наобум...»¹ В соответствии с этим Петрашевский, учитывая опыт декабристов, ставил своей задачей длительную пропаганду в массах, расширение круга участников противоправительственного движения. Он говорил: «Масса всегда против правительства и... сверх того, когда этой массой будут распоряжаться люди, которые убеждены в своих мнсениях и имеют полное доверие и к друг другу и к своим действиям, то правительство никакими средствами не в состоянии будет остановить общего потока... Главное, не нужно спешить, но должно действовать осторожно, исподволь, и все полагать на время».²

¹ Дело петрашевцев, т. 3. М.—Л., 1956, стр. 394.

² Там же, стр. 394—395.

Среди тех идеологических влияний, которые шли от декабристов, играла роль и революционная поэзия 20—30-х годов. Она несомненно пользовалась успехом среди петрашевцев. В числе преступлений литератора В. П. Катенева, «вызывавшегося на цареубийство», на следствии фигурировал и тот факт, что он несколько раз отзывался дерзновенно о «священной особе государя императора» и произносил слова: «что на месте этого фонаря желал бы видеть повешенного нашего царя».¹ Очевидно, Катенев цитировал популярное в свое время стихотворение «Фонарь», которое приписывалось и Пушкину и Полежаеву:

Друзья! Не лучше ли на место фонаря,
Который темен, тускл, чуть светит в непогоды,
Повесить нам царя?
Тогда бы стал светить луч пламенной свободы!

Эти смелые стихи, как видно, пользовались широкой известностью и в 40-е годы. Их читал и мещанин Петр Шапошников, также привлеченный к следствию по делу петрашевцев. Он признал себя виновным в том, что «имел разные худые, без всякого разбора стихи, написанные против правительства, и в одном из таких сочинений читал выражение: «что на месте этого фонаря желал бы видеть повешенного нашего царя» и, может быть, повторил эти слова.² Тот же Шапошников, как сообщается в следственном деле, «произносил дерзкие выражения против священной особы государя императора и, указывая на портрет его величества, упоминал слово тиран и говорил, что «блажен тот человек, который убьет его и его поколение».³

Ненависть к деспотизму заставляла петрашевцев с уважением вспоминать о героической попытке декабристов свергнуть самодержавие. По словам В. А. Энгельсона в его статье «Петрашевский», которая долгое время приписывалась Герцену, Петрашевский «занят был исключительно изысканием возможных средств для низвержения современного управления в России...»⁴ В кружке не раз возникала мысль о насильственной ликвидации «богдыхана», т. е. о цареубийстве. Следственное дело петрашевцев пестрит неучтивыми выражениями и дерзкими выходками по адресу «священной особы» императора. Сохранился рассказ Петрашевского о том, как «несколько раз, встречая высочайшую особу, он нарочно не отдавал ей почтения, говоря, что в случае неприятности у него уже заранее была приготовлена отго-

¹ Дело петрашевцев, т. 3, стр. 359.

² Там же.

³ Там же, стр. 358.

⁴ А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. К. Лемке, т. 6. Пг., 1919, стр. 504.

ворка, что он очень близорук, и совет, чтобы государь император носил на голове какие-нибудь погремушки, которые издали давали бы о нем знать...»¹

В своей переписке Петрашевский не стеснялся осуждать Николая I, прибегая для этого лишь к довольно прозрачной зашифровке ненавистного имени. Так, в письме к П. А. Кузьмину, написанном в ноябре 1848 года, т. е. в период революционных событий в Западной Европе, когда Николай I приступил к расправе с восставшими, Петрашевский писал следующее: «В ответ на Ваше желание сообщить новости, скажу, что Карл Ивановича здоровье, говорят, поправилось вследствие удачи его оборотов с Европою, но эти успехи временные, и кредит к его лицу и конторе падает все более и более».²

Пристальное внимание петрашевцев к движению декабристов подтверждает один любопытный документ, сохранившийся в бумагах участника кружка Н. А. Момбелли. Это прозаический перевод «Посвящения» Адама Мицкевича своим русским друзьям из его поэмы «Дорога в Россию». Это «Посвящение», неоднократно переводившееся русскими поэтами, проникнуто пламенной любовью к руководителям восстания 1825 года, казнь которых глубоко потрясла Мицкевича. Подобно Пушкину, польский поэт обращается к сосланным декабристам со словами любви и приветия, он шлет проклятие деспоту, который не только терзает пророков в своей стране, но и заливал кровью родину поэта:

Где вы теперь? И ты, благородный Рылеев,
которого я братски обнимал,— висишь,
царским указом привязанный к позорному столбу.
Проклятие терзающим своих святых пророков!

Рука, которую, бывало, мне протягивал Бестужев,
поэт и воин, ту руку от пера и оружия
царь оторвал и к тачке приковал;
теперь она работает в подземельях, скованная
с польской ладонью...³

Это стихотворение всем своим содержанием отвечало настроениям петрашевцев. Момбелли же, по-видимому, особенно интересовался отрывком из поэмы Мицкевича о декабристах, так как он принадлежал к радикальной части кружка, где вызрела мысль о создании подпольной организации, которая должна была приступить к подготовке про-

¹ Дело петрашевцев, т. 3, стр. 381.

² Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953, стр. 365.

³ Перевод опубликован в книге: Дело петрашевцев, т. 1. М.—Л., 1937, стр. 296.

тивноправительственного выступления. Именно Момбелли предложил свой проект боевого тайного общества, обсуждавшийся на квартире у петрашевца Н. А. Спешнева, горячо поддерживавшего идею такого общества. На одном из собраний дуровского кружка, объединявшего нескольких участников кружка Петрашевского, Н. А. Момбелли предлагал писать статьи, направленные против правительства, и распространять их с помощью домашней типографии.

Революционная идеология декабристов находила самый живой отклик у петрашевцев, питала их ненависть к самодержавию и деспотизму. Но в своем сочувствии к угнетенному народу петрашевцы шли гораздо дальше декабристов. Показателен в этом смысле дневник Момбелли, сохранившийся в следственном деле. В этом дневнике есть такие рассуждения: «Что мы видим в России? Десятки миллионов страдают, тяготятся жизнью, лишены прав человеческих — или ради плебейского происхождения, или ради ничтожности общественного положения своего, или по недостатку средств существования; зато в то же время небольшая каста привилегированных счастливых, нахально смеясь над бедствиями ближних, изощряется в изобретении роскошных проявлений личного тщеславия и низкого разврата, прикрытого утонченной роскошью».¹

Исторические особенности идеологии петрашевцев определялись тем, что положения утопического социализма сочетались в ней с ярко выраженными антикрепостническими взглядами. Их мировоззрение формировалось в условиях отсталой крепостной России, в обстановке обострения борьбы крестьян против помещиков и общего нарастания недовольства народных масс. С этим связан несомненный интерес многих петрашевцев к проблеме крестьянского восстания. Об этом не раз говорил Петрашевский, об этом сохранились высказывания А. П. Баласогло, Момбелли и др. Д. Д. Ахшарумов в своей автобиографической записке выдвигал мысль о необходимости сближения с народом и прямо заявлял о своей готовности участвовать в революционной деятельности.

Все это свидетельствует о том, что петрашевцы как представители революционной мысли в России сделали огромный шаг вперед по сравнению с декабристами.

Лучшим и наиболее последовательным из петрашевцев было свойственно чувство революционной перспективы. Они ощущали себя участниками передового общественного движения своего времени, и этим объясняется то внимание, с которым они следили за различными

¹ Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 615.

проявлениями этого движения. Они интересовались не только революционными событиями далекого прошлого. В следственном деле не раз упоминается повстанческое движение в Польше. В дневниках некоторых участников кружка содержатся записи о событиях польского восстания 1830 года. Статья на эту тему была прочитана на одном из собраний, происходивших у Момбелли. Поляк И. Л. Ястржембский, один из активных петрашевцев, горячо говорил на собраниях кружка об освобождении Польши. Один из виднейших петрашевцев, Н. А. Спешнев, был связан с кругами революционной польской эмиграции в Париже и близко знал Эдмонда Хоецкого, помощника Мицкевича по изданию польской газеты «Tribune des peuples». В бумагах Петрашевского сохранились выписки из произведений Мицкевича, который олицетворял в его глазах польское освободительное движение. Мысли Мицкевича об освобождении своей родины с помощью русских друзей, его надежды на союз с русскими единомышленниками в борьбе против самодержавия были близки петрашевцам. Да и весь облик Мицкевича, поэта-гуманиста, певца патриотических чувств народа, угнетенного самодержавием, увсковеченный в стихах Пушкина:

Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся —

должен был привлекать внимание петрашевцев. Они воспринимали Мицкевича не только как поэта, но и как глашатая идеи дружбы народов, как идейного вождя польского освободительного движения.

В этой связи надо вспомнить о том, что петрашевцы проявляли особый интерес ко всяким сведениям о волнениях на Украине, в частности к делу Кирилло-Мефодиевского братства. В кружке петрашевцев много говорили об этом деле, передавали друг другу доходявшие до Петербурга слухи о нем. В упоминавшемся дневнике Момбелли находим запись об аресте Т. Г. Шевченко и его товарищей, извоновавшем участников кружка. Момбелли, лично знавший Шевченко, отмечал его роль в освободительном движении и верил в огромные возможности этого движения угнетенных народов, развертывавшегося как на Украине, так и в Польше. Момбелли понимал, что оно представляет собой важную составную часть общереволюционного движения в России. Он считал, что украинцы уже готовы к открытой борьбе: «С восстанием же Малороссии зашевелился бы и Дон, давно уже недовольный мерами правительства. Поляки тоже воспользовались бы случаем. Следовательно, весь юг и запад России взялся бы за оружие».¹

¹ Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 621.

Петрашевский также придавал большое значение революционному брожению, начавшемуся на Украине, а в поэзии Шевченко он увидел выражение народного протеста и оценил ее революционную роль. После разгрома Кирилло-Мефодиевского братства Петрашевский, по свидетельству Антонелли, говорил, что, «несмотря на неуспех упомянутого предприятия, оно все-таки пустило корни в Малороссии, чему много способствовали сочинения Шевченко, которые разошлись в том краю во множестве и были причиной сильного волнения умов, вследствие которого и теперь Малороссия находится в брожении».¹

Все это показывает, что если в программе петрашевцев и не было разработанного плана организованного революционного выступления, то все же, вопреки мнению старых исследователей буржуазно-либеральной школы, в их деятельности были элементы заговора, а в перспективе — подготовка революционного выступления. Особенно важно в этом смысле обсуждение крестьянского вопроса, занимавшего очень большое место на собраниях кружка. Так, из следственного дела видно, что Петрашевский вел переговоры с приехавшим из Сибири Р. А. Черносвитовым о возможности крестьянского восстания в районе бывших «картофельных бунтов» и о том, поддержат ли это восстание рабочие Урала. Черносвитов утверждал, что 400 тысяч заводских рабочих на Урале готовы к бунту.

Вопрос об освобождении помещичьих крестьян постоянно поднимался на собраниях. В 1848 году Петрашевский составил и, вероятно, прочел на одной из «пятниц» свой «Проект об освобождении крестьян», в котором, вслед за Белинским, решал этот вопрос в революционно-демократическом духе. Первого апреля 1849 года Петрашевский говорил о необходимости свободы книгопечатания, перемены судопроизводства и освобождения помещичьих крестьян. После его речи на ту же тему выступил В. А. Головинский, сказавший, что это вопрос первостепенной важности. По словам провокатора Антонелли, он «говорил с жаром, с убеждением, с истинным красноречием, и видно было, что речь его лилась прямо из сердца... Он говорил, что грешно и постыдно человечеству глядеть равнодушно на страдание этих 12 <миллионов> несчастных рабов. Что идею каждого должно быть старание освободить этих угнетенных страдальцев. Что освобождение крестьян не представляет никакого чрезвычайного затруднения, потому что они сами уже в эту минуту сознают всю тягость и всю несправедливость своего положения и стремятся всячески от него освободиться».²

¹ Дело петрашевцев, т. 3, стр. 407.

² Там же, стр. 426.

Среди петрашевцев не было полного единогласия по многим политическим вопросам, в частности и по вопросу об освобождении крестьян. Две тенденции — либеральная и демократическая — противостояли друг другу, когда на собраниях кружка спорили на эту тему.

Петрашевец А. П. Милюков, свидетельствуя в своих воспоминаниях о том, что участников кружка больше всего занимал вопрос об освобождении крестьян, сообщает, что по этому вопросу высказывались разные мнения: одни говорили, что «скорее следует ожидать движения снизу, чем сверху», другие утверждали, что народ не верит в новую пугачевщину и будет «терпеливо ждать решения своей судьбы от верховной власти». В этом духе особенно настойчиво высказывался Ф. М. Достоевский, который в подтверждение своих слов ссылаясь на мысли, выраженные Пушкиным в стихотворении «Деревня». «Я помню,— пишет Милюков,— как однажды с обычной своей энергией он читал стихотворение Пушкина. . . Как теперь слышу восторженный голос, каким он прочел заключительный куплет:

Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя. . .»¹

Демократическая часть кружка находилась под непосредственным влиянием Белинского, и это влияние бесспорно сыграло важную роль в формировании революционных антикрепостнических взглядов наиболее видных участников кружка.

Знаменитое письмо Белинского к Гоголю оказало мощное воздействие на умы молодого поколения. В пятницу 15 апреля 1849 года на квартире у Петрашевского в присутствии двадцати человек Ф. М. Достоевский читал переписку Гоголя с Белинским. По сообщению Антонелли, известное письмо, в котором Белинский «говорил в неприличных и дерзких выражениях о православной религии, судопроизводстве, законах и властях», произвело «всеобщий восторг». Некоторые из присутствовавших в особенно сильных местах вскрикивали, другие улыбались и говорили что-то про себя, Баласогло «приходил в иступление»; одним словом, заключал Антонелли, «все общество было как бы наэлектризовано».²

Могучее влияние Белинского можно без труда проследить во взглядах и суждениях многих петрашевцев. Оно сказалось и в политических воззрениях Петрашевского, и в его отношении к литературе, и в ранней прозе таких участников кружка, как М. Е. Салтыков и

¹ А. П. М и л ю к о в. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, стр. 177.

² Дело петрашевцев, т. 3, стр. 435.

Ф. М. Достоевский, и в поэзии А. Н. Плещеева, и в образе мыслей многих других петрашевцев.

Усваивая теоретические взгляды Белинского, изучая системы западноевропейского утопического социализма, петрашевцы сумели в своей пропаганде подняться до уровня революционно-демократической мысли, складывавшейся в 40-х годах. Именно этим объясняется тот факт, что петрашевцы втягивали в орбиту своего влияния все лучшие передовые силы, созревавшие в тогдашнем русском обществе. Показательно, что многие деятели революционно-демократического движения 60-х годов вышли из кружка петрашевцев. Творчество Салтыкова-Щедрина, начавшего свою деятельность в этом кружке, явилось живым олицетворением прямой связи, преемственности передовых идей, характерных для двух эпох революционного развития — для 40-х и 60-х годов. В этой связи нельзя не назвать и поэта Плещеева, который в течение всей своей многолетней деятельности сохранил преданность демократическим идеалам, уходящим корнями в идейную почву кружка 40-х годов.

Знаменательно также, что будущий великий революционер Н. Г. Чернышевский, не являясь формально членом кружка, тем не менее был в годы студенчества связан с некоторыми петрашевцами, пользовался книгами из их библиотеки и несомненно испытал на себе влияние социалистических идей, господствовавших в кружке. Петрашевец А. В. Ханыков, убежденный фурьерист, человек самых радикальных взглядов, впервые познакомил молодого Чернышевского с учением Фурье, оказавшим серьезное влияние на формирование его мировоззрения.

Чернышевский был, несомненно, близок к тому, чтобы стать одним из посетителей «пятниц» Петрашевского. Он писал об этом в своем дневнике: «Я, например, сам никогда не усомнился бы вмешаться в их общество, и со временем, конечно, вмешался бы».¹ Таким образом, если бы деятельность кружка не была насильственно прекращена, студент Чернышевский, конечно, разделил бы участь петрашевцев. 25 апреля 1849 года, через два дня после их ареста, взволнованный этим событием, он сделал в своем дневнике гневную запись, в которой объявлял достойными виселицы главных вдохновителей реакции того времени: «Вечером два раза был Ал. Фед., оба раза ненадолго; рассказывал о том, как взяла полиция тайная Ханыкова, Петрашевского, Дебу, Плещеева, Достоевских и т. д. — ужасно подлая и глупая, должно быть, история; эти скоты, вроде этих свиней Бутурлина

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. 1. М., 1939, стр. 274.

и т. д., Орлова и Дубельта и т. д.,— должны были бы быть повешены».¹

Некоторые другие современники этих событий, подобно Чернышевскому, также сочувствовали петрашевцам и многим были им обязаны в своем идейном развитии. В этом отношении интересны слова Некрасова в его поэме «Недавнее время»:

Помню я Петрашевского дело,
Нас оно поразило, как гром,
Даже старцы ходили несмело,
Говорили негромко о нем.
Молодежь оно сильно пугнуло,
Поседали иные с тех пор,
И декабрьским террором пахнуло
На людей, переживших террор.

Этот отрывок показывает, как велико было впечатление, произведенное на передовых людей разгромом кружка. Не случайно Некрасов сравнивает политическую реакцию 40-х годов с террором, который последовал вслед за восстанием декабристов и ликвидацией этого восстания. В сознании современников дело петрашевцев вызывало непосредственные сопоставления с событиями 1825 года; оно представляло собой второй в России крупный политический процесс, имевший своей прямой целью подавление революционного движения в стране.

23 декабря 1849 года в петербургских газетах «Русский инвалид» и «Санктпетербургские ведомости» было опубликовано правительственное сообщение, в котором прямо было указано на связь кружка с развитием социалистических идей на Западе, на враждебное отношение членов кружка к религии и собственности, на их стремление к радикальному изменению «отечественных законов». «Пагубные учения [социалистов],— говорилось в этом сообщении,— породившие смуты и мятежи во всей Западной Европе и угрожающие ниспровержением всякого порядка и благосостояния народов, отозвались, к сожалению, в некоторой степени и в нашем отечестве. . . По произведенному исследованию обнаружено, что служивший в министерстве иностранных дел титулярный советник Буташевич-Петрашевский первый возымел замысел на ниспровержение нашего государственного устройства с тем, чтобы основать оное [на началах социализма и коммунизма] на безначалии. Для распространения своих преступных намерений он собирал у себя в назначенные дни молодых людей разных сословий. Богохуление, дерзкие слова против священной особы государя императора,

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 274.

представление действий правительства в искаженном виде и порицание государственных лиц — вот те орудия, которые употреблял Петрашевский для возбуждения своих посетителей! В конце 1848 года он приступил к образованию, независимо от своих собраний, тайного общества, действуя заодно с поручиком лейб-гвардии Московского полка Момбелли, штабс-капитаном лейб-гвардии Егерского полка Львовым 2-м и неслужащим дворянином Спешневым. Из них: Момбелли предложил учреждение тайного общества под названием «Товарищества»; ...Львов определил состав общества, а Спешнев написал план для произведения общего восстания в государстве...

...Генерал-аудиториат, по рассмотрении дела, произведенного военно-судебною комиссиею, признал, что 21 подсудимый, в большей или меньшей степени, но все виновны: в умысле на ниспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка,— а потому и определил: подвергнуть их смертной казни расстрелянием; остальных же двух: отставного подпоручика Черношвитова, к обвинению которого юридических доказательств не оказалось, но обнаружившего самый вредный образ мыслей, оставить в сильном подозрении и сослать на жительство в одно из отдаленных мест империи, а сына почетного гражданина Катенева, по случаю помешательства в уме, оставить в настоящее время без произнесения над ним приговора, но по выздоровлении вновь предать военному суду.

Его величество, по прочтении всеподданнейшего доклада генерал-аудиториата, изволил обратить всемилоостивейшее внимание на те обстоятельства, которые могут в некоторой степени служить смягчением наказания, и вследствие того высочайше повелел: прочитать подсудимым приговор суда при сборе войск и, по свершении всех обрядов, предшествующих смертной казни, объявить, что государь император дарует им жизнь, и затем, вместо смертной казни, подвергнуть их следующим наказаниям...»¹

Далее в правительственном сообщении приводилась таблица, указывавшая сословие, возраст и степень виновности каждого «преступника», а также род понесенного им после «высочайшей конфирмации» наказания.

Этот документ борьбы самодержавия с революционным движением наглядно показывает, что реакционное николаевское правительство хорошо понимало, как велика опасность антикрепостнической и социалистической пропаганды, которая в крепостной России становилась явной угрозой для самых основ «государственного устройства». Приведенный

¹ «Русский инвалид», 1849, № 276 от 23 декабря. В квадратных скобках приведены слова, вычеркнутые Николаем I.

документ свидетельствует также о том, что охранители этого «устройства» гораздо более здраво оценивали своих противников, чем позднейшие либеральные историки, потратившие немало усилий, чтобы доказать «незначительность» кружка петрашевцев и его деятельности.

2

Петрашевцы вели пропаганду своих идей с большой смелостью и последовательностью. Некоторые из них делали попытки сближения с народом. Сам Петрашевский, отыскивая оппозиционные элементы в разных слоях общества, стремился как можно шире распространять свое влияние. Оно ощущалось даже в провинции, поскольку Петрашевский в той или иной мере был связан со своими единомышленниками и последователями учения Фурье, действовавшими не только в Петербурге, но и в Москве, Казани, Ревеле, Тамбове, Ростове (Ярославском) и в некоторых других городах.

Среди петрашевцев были люди разных убеждений, разного образа мыслей. Одни из них, например Спешнев и Момбелли, были сторонниками насильственного свержения власти. Разносторонне образованный человек, долго живший за границей и знакомый с произведениями Маркса и Энгельса, Спешнев считал революционное восстание назревшей необходимостью. В следственном деле говорится, что он возвратился в Россию, «заразившись коммунистическими идеями» и мечтая «о способах произвести переворот и в нашем общественном быте».¹ Можно предположить, что Спешнева лично знал Энгельс, писавший в октябре 1844 года: «Мы сделали большие успехи среди русских в Париже. Здесь, в Париже, есть теперь три или четыре дворянина и владельца крепостных, которые стали радикальными коммунистами и атеистами».² Спешнев жил в это время в Париже, поэтому вполне возможно, что именно он и был одним из тех русских дворян, которых имел в виду Энгельс.

Кружок, собиравшийся у поэта Дурова, в который входили Достоевский, Момбелли, Львов, Григорьев (автор «Солдатской беседы»), а также и Спешнев, отличался большой радикальностью взглядов. В кружке, находившемся под влиянием Спешнева, как уже говорилось, созревала мысль об организации тайного общества по всем правилам конспирации. Участники кружка считали насущной необходимостью пропаганду в народе, подготовку освобождения крестьян «хотя бы

¹ Петрашевцы, т. 3, стр. 283.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 1-е, т. II, стр. 417.

путем восстания». Именно в дуровском кружке возникла мысль об организации тайной типографии, о печатании запрещенных статей за границей, о необходимости пропаганды в войсках и даже о подготовке заговора, имевшего конечной целью освобождение крестьян.

Сам Петрашевский был глубоко убежден, что государственное устройство России несовместимо с естественными стремлениями человека, и страстно искал путей к обновлению общества.

Петрашевский был необычайно искусным и неутомимым мастером пропаганды, но она не была для него самоцелью. Заканчивая свою речь на обеде в честь Фурье, Петрашевский сказал: «Мы осудили на смерть настоящий быт общественный, надо приговор наш исполнить».¹ Он обладал темпераментом настоящего революционера. Следственная комиссия отмечала, что во время допросов Петрашевский «не только не изъявил раскаяния в своих поступках, но объявил, что, стремясь к достижению полной и совершенной реформы быта общественного в России, желал стать во главе разумного движения в народе русском».² Прекрасным памятником его деятельности остается знаменитый «Карманный словарь иностранных слов», издание, которым петрашевцы, по словам Герцена, «удивили всю Россию».³ В этом словаре в статье «Нация» Петрашевский писал, что «Россию и русских ждет высокая и великая будущность», и утверждал, что она осуществится только тогда, когда народ усвоит всю предшествовавшую образованность и переживет все страдания «путем собственного тяжелого опыта», г. е. по примеру стран Западной Европы осуществит революционные преобразования.⁴

Увлекаясь социально-утопическим учением Фурье, Петрашевский порой впадал в крайности, переоценивал практические возможности этого учения; так, он всерьез мечтал жить в фаланстере и даже делал попытку организовать фаланстер в своей деревне. Утопические взгляды Фурье, утверждавшего, что счастливое будущее человечества может быть достигнуто путем мирного убеждения и разумной организации общества, не могло не ограничивать последовательность тех революционных выводов, которые делал Петрашевский из наблюдений над мрачной действительностью крепостной России.

Несмотря на это, пропагандистская деятельность петрашевцев со-

¹ Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 389.

² Петрашевцы, т. 3, стр. 299—300.

³ А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. К. Лемке, т. 13. Пг., 1919, стр. 599.

⁴ См. Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 193.

проводилась целым рядом практических мероприятий, которые вовсе не носили наивно-утопического характера и в этом отношении несколько не были похожи на попытку организовать фаланстер в крепостной деревне. Сюда относится самый факт выпуска «Карманного словаря иностранных слов», имевшего огромное значение для пропаганды идей петрашевцев. Здесь же надо назвать организацию подпольной типографии, к которой уже было приступлено, создание коллективной библиотеки социалистической литературы, для которой выписывались иностранные книги и журналы (в том числе запрещенные в России); в этой библиотеке можно было встретить «Нищету философии» Маркса на французском языке и «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса на немецком языке, а также сочинения Фурье, Вольтера, Дидро, Фейербаха, Прудона, романы Жорж Занд, фурьеристские журналы «La Phalange», «La démocratie pacifique» и т. д.

Обширной личной библиотекой Петрашевского также пользовался весьма широкий круг людей. По словам одного из участников кружка, он делился книгами не только со старыми своими приятелями, но даже с людьми, мало ему знакомыми. «Выписывать как можно больше книг,— рассказывает Д. Д. Ахшарумов,— и раздавать читать было первым и самым важным средством. Книги переходили из рук в руки, и таким образом затеяна была пропаганда чтением книг».¹

В бумагах поэта-петрашевца А. П. Баласогло сохранился «Проект учреждения книжного склада с библиотекой и типографией». В нем содержатся патриотические рассуждения о богатстве талантов в России, о задачах и целях литературы и о необходимости общественных книгохранилищ.

На собраниях кружка постоянно обсуждались литературные вопросы и читались вслух различные произведения как прежних, так и современных писателей. Из показаний Момбелли видно, что у него читали вслух комедию Грибоедова «Горе от ума» (преимущественно отрывки, не пропущенные цензурой). В другой раз один из участников вечера выступил с разбором стихотворения Лермонтова «Бородино». Была также прочитана статья, содержащая «описание отношений и дуэли Пушкина с Дантесом и об участии в этой истории неизвестного подсылателя записок»; тогда же было прочитано описание последних минут Пушкина, сделанное Жуковским.

Д. Д. Ахшарумов сообщает, что один из вечеров у Петрашевского «прошел весь в споре о достоинстве Гоголя и Крылова и кто из них более пользы произвел и более известен народу. Спорили все...»²

¹ Дело петрашевцев, т. 3, стр. 115—116.

² Там же, стр. 116.

Ф. Г. Толь рассказывает о разговоре с С. Ф. Дуровым о Лермонтове и Белинском. Он же рассказывает о своем споре с Дуровым и Достоевским о том, «должна ли изящная литература иметь цель свою в одном осуществлении идеи прекрасного, или может иметь ее и вне этого заколдованного круга, отвлеченного германскими эстетиками, причем я держался мнения, что литература должна идти об руку с действительностью и что поэт должен быть прежде всего сыном своего отечества, ко благу которого должен клонить всю свою деятельность».¹

Литературные взгляды петрашевцев не сложились в стройную и законченную систему хотя бы уже потому, что под собирательным названием петрашевцев мы находим слишком различные писательские индивидуальности, объединенные оппозиционностью политических настроений, а не единством творческих установок. Тем не менее можно говорить о некоторых общих литературных принципах, нашедших свое отражение в литературных памятниках движения петрашевцев — «Карманном словаре иностранных слов», критических статьях В. Майкова (отчасти), в упомянутом «Очерке» А. П. Милюкова, а также в поэтическом творчестве членов кружка. Литературные взгляды петрашевцев несомненно развивались под сильным воздействием эстетики Белинского.

Революционное движение 40-х годов питалось ненавистью к социальному строю, основанному на неравенстве и угнетении. Живое сочувствие закрепощенным трудовым массам и горячая вера в грядущее счастье человечества, в будущий разумный и справедливый общественный порядок воодушевляли петрашевцев — восторженных поклонников учения Фурье, которое они с необычайной настойчивостью стремились пересадить на русскую почву. Они считали великого французского утописта пророком нового времени, его теории подвергались оживленному обсуждению на собраниях кружка.

Вместе с критическим обличением буржуазного общества петрашевцы заимствовали у Фурье и слабые стороны его положительной программы — непонимание реальных путей борьбы, надежды на мирное введение социализма. Нужна была гениальность основоположников научного коммунизма, чтобы критические идеи утопистов заменить последовательно-революционной идеологией, чтобы превратить наивные мечты о «золотом веке» человечества в боевую программу и тактику рабочего класса. Но замечательно, что петрашевцам во многих случаях удавалось преодолевать слабые стороны учения Фурье. Мирный характер последнего они подчеркивали гораздо более настойчиво во

¹ Дело петрашевцев, т. 2 М.—Л., 1941, стр. 163—164.

время суда и следствия, чем во время своих собраний по «пятницам». Наличие революционных традиций в русском общественном движении, с одной стороны, и гнет николаевщины, с другой,— способствовали тому, что пропаганда фурьеризма сочеталась у петрашевцев с революционным осуждением российской действительности. Именно поэтому идеологию и движение петрашевцев в целом следует рассматривать как переходный этап, предвещающий расцвет идей крестьянской революции в 60-е годы, как промежуточное звено между первым и вторым этапами русского освободительного движения.

Если идеи Фурье на русской почве влияли прежде всего в плоскости политической и экономической, то в других областях идеологии оказывали свое влияние представители французской литературы, истории, поэзии. Передовые идеологические веяния, шедшие из Франции, помогали русской интеллигенции строить свою демократическую культуру и искусство; это была эпоха, когда Франция, по словам Ленина, «разливалась по всей Европе идеи социализма».¹

Не удивительно, что к Франции, стране, пережившей ряд революционных потрясений, направленных против старого порядка, стране утопического социализма, обращались все оппозиционные элементы крепостной России. Романы Жорж Занда с их гуманистической тенденцией, призывавшие к освобождению личности, сатирическая поэзия Беранже, пламенные строфы Барбье пользовались в России тех лет неизменным сочувствием и вниманием. Целая полоса в развитии русской литературы связана с этим движением с Запада передовых идей, находивших в России благодарную почву. В знаменитой четвертой главе «За рубежом» Салтыков-Щедрин ярко и точно определил то значение, какое имела для передовых русских людей культура революционной Франции. Из «Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занда... — писал Щедрин,— лилась на нас вера в человечество, отсюда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас...»²



Литературные интересы занимали в кружке петрашевцев весьма большое место. Это и естественно, поскольку очень многие петрашевцы имели самое непосредственное отношение к литературе: прозаики,

¹ В. И. Ленин. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? Сочинения, т. 1, стр. 245.

² Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. 14. Л., 1936, стр. 161.

поэты, журналисты посещали кружки вместе с учителями, художниками, музыкантами.

Петрашевец Достоевский был в середине 40-х годов уже известным писателем, автором «Бедных людей». Салтыков за свои ранние повести уже в 1848 году был отправлен в ссылку. Постоянным поэтом кружка, певцом его стремлений являлся молодой Плещеев — автор книжки стихотворений (1846), представляющей значительное явление в поэзии 40-х годов. Активный петрашевец Дуров был талантливым поэтом и переводчиком. Близко стоял к кружку Петрашевского высоко одаренный, но рано погибший критик и публицист Валерьян Майков. Членом кружка был критик и педагог А. П. Милуков, выпустивший в 1847 году книгу «Очерк истории русской поэзии». Помимо нескольких поэтов, стихи которых представлены в настоящей книге, можно было бы назвать еще довольно большой круг литераторов и журналистов (вроде В. В. Толбина, П. М. Ковалевского, М. И. Попова и др.), посещавших Петрашевского или связанных с отдельными членами его кружка.

Самый состав кружка, таким образом, говорит о том, что литература должна была занимать большое место в его деятельности. Петрашевцы придавали очень важное значение литературе как действительному средству идеологической пропаганды. В 1849 году на одном из собраний кружка Петрашевский произнес речь на тему о том, «Как должны поступать литераторы, чтобы вернее действовать на публику...». «Чтобы наши литераторы знали, каким образом... должно переселять свои идеи в публику, он,— по сообщению Антонелли,— обратил внимание на западную литературу — на романы Эжена Сю и Жорж Занд. Он говорил, что эти романы потому имеют такое влияние на публику, что в них повсюду разлита истина, которую творцы их изучали со всей горячностью. Что журналистика на Западе потому имеет такой вес, что всякий журнал есть там отголосок какого-нибудь отдельного класса общества».¹ Тогда же Петрашевский выдвинул предложение издавать журнал на акционерных началах.

В то же время участники кружка понимали, что литература может выполнять свое назначение, т. е. распространять социальные идеи, при обязательном условии: она должна свободно развиваться в соответствии с потребностями общества. Свободное же развитие литературы немыслимо в условиях цензурного гнета. Описывая одно из собраний кружка, где речь шла об отечественной литературе, С. Ф. Дуров пишет в своих показаниях: «Некоторые утверждали, что в настоящее время от строгости цензуры литература не существует; дру-

¹ Дело петрашевцев, т. 3, стр. 441—442.

гие же, напротив того, говорили, что она есть и не быть не может у такого народа, каков народ русский».¹ Отсюда естественно следовал вывод о необходимости борьбы с цензурой. Цензурную реформу петрашевцы считали одной из самых важных задач, наряду с необходимостью отмены крепостного права.

В самой общей форме можно сказать, что эстетические взгляды петрашевцев основывались на понимании социального значения литературы, на признании высокой роли писателя как учителя общества. Глубоко прогрессивный смысл движения петрашевцев нашел свое выражение в области искусства в виде призывов к реализму, к правдивому отражению жизни, к высокой идейности искусства.

Большой интерес представляют литературные взгляды самого Петрашевского. Немногие сохранившиеся на этот счет данные, при всей своей отрывочности, позволяют сделать некоторые поучительные выводы. Можно с уверенностью сказать, что Петрашевский, как человек разносторонне образованный, прекрасно разбирался в литературных вопросах, хорошо знал поэзию. Он нередко высказывал свои суждения на литературные темы, оценивая деятельность тех или иных литераторов. Так, он с уважением отзывался о Достоевском как художнике. Даже будучи узником Петропавловской крепости, Петрашевский обращался в следственную комиссию с призывами бережно относиться к дарованиям своих товарищей. Он писал: «Не забудьте, что большие таланты (талант Достоевского не из маленьких в нашей литературе) — есть собственность общественная, достояние народное».² В бумагах Петрашевского, в том числе и писанных в заключении, нередко встречаются литературные образы и цитаты. Так, он приводит цитату из «Онегина», дважды цитирует на память элегию Баратынского «На смерть Гете».

В следственных материалах по делу Петрашевского есть образцы его стихотворных опытов. Если судить по этим немногим строчкам, то можно думать, что Петрашевский не был рожден поэтом. Доказывая суду, что ни с кем из посетителей «пятниц» он «не был короток», Петрашевский писал: «Что такой нрав мой именно, этому могут служить следующие стихи, имеющиеся в бумагах у меня, писанные лет за шесть:

И никто обо мне,
Как седой старине,
Не расскажет потомкам далеким,
Умру я, как жил
Средь людей, одиноким.

¹ Дело петрашевцев, т. 3, стр. 191.

² Там же, т. 1, стр. 148.

Еще и то может служить этому подтверждением, что почти никто из знакомых не знает, что я пишу стихи».¹ Излагая причины, которые привели его на путь «служения человечеству», Петрашевский, сидя в крепости, писал: «Вы найдете за семь лет или более перед сим писанные стихи (они есть и в моих бумагах), быть может не слишком складные, выражающие чувство заключенного, подобно мне; они почти то же выражают, что и теперь я вам в себе обнаружил».² Из всего этого можно заключить, что в своих стихах Петрашевский прежде всего излагал свои философско-политические взгляды.

Среди записей Петрашевского, относящихся к началу 40-х годов, сохранилось очень важное высказывание его о поэзии: «Есть три рода поэзии: поэзия мысли, чувства и слов. Часто встречал последнюю, реже вторую в соединении с последней и весьма редко первую с двумя последними в стройном гармоническом сочетании».³

Это характерное замечание свидетельствует о том, что Петрашевский ценил прежде всего умную, содержательную поэзию, поэзию мысли. С этой точки зрения его не удовлетворяли стихи Аполлона Майкова (вероятно, антологические), в которых он находил «последнюю только», т. е. поэзию формы. Петрашевского несомненно отталкивали стремления молодого Майкова отгородиться от живой жизни.

Уже в эти годы Петрашевского занимала проблема народной поэзии. В списке тем, который он составил для своего предполагаемого журнала (1842—1843), значилась тема: «О том, какими должны быть народные песни в настоящее время, чтобы им быть в существе народными».⁴ Вопрос о политической поэзии Петрашевский поставил еще более определенно спустя два-три года.

Известно, что для пропаганды своих идей Петрашевский с большим искусством использовал «Карманный словарь иностранных слов». Под видом объяснения самых невинных слов и понятий он умудрялся неожиданно высказывать такие мысли, появление которых на русском языке было почти невероятно в то время. Так появилось изложение программы политических реформ под словом «Ораторство», осуждение частной собственности в статье «Оракул», протест против крепостного права в статьях «Негрофил», «Нивеллеры» и т. д. Так, объясняя слово «Ода», Петрашевский сумел указать на популярность политической песни в революционной Франции, поставив ее развитие

¹ Дело петрашевцев, т. 1, стр. 30—32.

² В. И. Семевский. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922, стр. 39.

³ Там же, стр. 45.

⁴ Там же, стр. 51.

в связь с теми «обстоятельствами», в которых она возникла. Петрашевский назвал здесь и крупнейшего представителя этой политической поэзии. Он не только процитировал Беранже, но и дал замечательную оценку французского поэта:

«Новый век — и новые явления... У нас оду заменила элегия... — отголосок сознательного воззрения на жизнь и современный мир. Пушкин и Лермонтов — представители этой возрожденной поэзии. В других литературах, например во Франции, на месте оды развилась, согласно с обстоятельствами, политическая песня. Французы, может быть, ни к одному из своих писателей не чувствуют такой симпатии, как к Беранже. У них значение Беранже важно: это не простой народный весельчак; несмотря на легкую, шутивную форму, поэзия его имеет глубокий смысл, и он правду сказал:

..... en mon livre
Dieu brille à travers ma gaieté,
Je crois qu'il nous regarde vivre;
Qu'il a béni ma pauvreté.
Sous les verroux, sa voix m'inspire
Un appel à son tribunal.
Des grands du monde elle m'enseigne à rire...¹

В статье «Ода» Петрашевским набросана общая картина развития русской литературы. Оценивая эпоху господства оды, автор указывает на слабые черты русской поэзии XVIII века, ограниченность ее тематики, оторванность от жизни. «Поэзия славилась жирные обеды и тех, кто давал их, и наивно любовалась разноцветными огнями фейерверков и иллюминаций».² Крупнейшим представителем поэзии XVIII века был Державин. Петрашевский отдает должное его «огромному таланту» и выделяет державинское «Послание к Храповицкому» — эту «искреннюю исповедь души благородной и преисполненной справедливого негодования на существующий порядок общественных...»³ Но в целом Державин остается для него представителем того периода русской литературы, когда она еще чуждалась обществен-

¹ Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 271. Петрашевский цитирует стихотворение Беранже «Le cardinal et le chansonnier», написанное в тюрьме в 1829 году. См. Oeuvres complètes de P.-J. de Béranger, t. 3. Paris, 1837, p. 20—21. Перевод: «...в моей книге бог сияет сквозь мою веселость; я верю, что он наблюдает нашу жизнь, что он благословил мою нищету. Послушный его голосу, из тюрьмы зываю я к его суду. Он учит меня смеяться над великими мира сего...»

² Там же, стр. 270.

³ Там же, стр. 271.

ных интересов, была далека от народа и подавлена «тяжелым гнетом» придворных предрассудков и еще не преодоленных условностей классицизма. Но вполне справедливые с исторической точки зрения литературные суждения Петрашевского тем не менее явились фактом борьбы за демократизацию русской литературы.

Эпоха расцвета русской литературы связана для Петрашевского с именами Пушкина и Лермонтова. Оба они — «представители возрожденной поэзии». В их творчестве впервые нашли отражение живая современность и «сознательное воззрение на жизнь». Важно подчеркнуть, что именно такое понимание пушкинского этапа, бегло намеченное Петрашевским, является одним из основных пунктов историко-литературной концепции Белинского, а затем и Добролюбова.

Петрашевский, таким образом, приближался, под несомненным влиянием Белинского, к обоснованию демократической концепции русской литературы. Его взгляды не были случайными для кружка петрашевцев. В 1847 году вышла из печати книжка А. П. Милюкова «Очерк истории русской поэзии». Развивая в основном ту же точку зрения на русскую литературу, эта работа особенно наглядно показывает влияние на литературные взгляды петрашевцев критики Белинского, отчетливо ощущавшееся и современниками. Так, П. А. Плетнев писал по поводу книги Милюкова Я. К. Гроту: «Вот в ней-то видишь плоды учения Белинского. Это экстракт всего, что печатано было о русских поэтах в «Отечественных записках».¹

Петрашевскому, несомненно, был ясен общий характер нового этапа литературного развития, ибо он приходил к мысли о необходимости новых форм политической и сатирической поэзии, отвечающей назревшим потребностям общества и его гражданским стремлениям. Именно в этом смысле нужно понимать ссылку Петрашевского (в статье «Ода») на Беранже как автора политических песен, как поэта, близкого народу. Такого поэта еще нет в России, но, «согласно с обстоятельствами», он уже появился во Франции, стране передового общественного движения. Такая характеристика Беранже имела для Петрашевского значение пропаганды политической поэзии.

Отзыв о Беранже в «Карманном словаре иностранных слов» совпал с аналогичной оценкой Белинского. В 1844 году в пятой статье о Пушкине Белинский писал: «Народный поэт — тот, которого весь народ знает, как, например, знает Франция своего Беранже...»² Спу-

¹ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 3. СПб., 1896, стр. 140.

² В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 7. М., 1955, стр. 322.

стя два года эту политическую характеристику французского поэта повторил и углубил Петрашевский. Его привлекали демократическая тематика и политическая острота поэзии Беранже. Интерес к французским социально-утопическим теориям определял интерес петрашевцев к представителям передовой французской поэзии.

На известном программном обеде петрашевцев в честь Фурье, по видимому по инициативе Петрашевского, было прочитано стихотворение Беранже «Les fous», воспевавшее вождей утопического социализма: Сен-Симона, Фурье и Анфантена. К сожалению, русский текст стихотворения, прочитанного Кашкиным, не сохранился; неизвестно также, кто из петрашевцев выполнил этот первый перевод одного из лучших стихотворений Беранже, получившего впоследствии широкую известность в переводе В. Курочкина («Безумцы»).

Следственные материалы по делу петрашевцев определенно говорят о том, что Кашкин получил стихотворение от Петрашевского. Излагая допрос Кашкина, генерал-аудиториат сообщает: «Сам он, Кашкин, прочитал за обедом вслух *принесенное Петрашевским* стихотворение под заглавием «Чудаки», смысл которого был тот, что великие люди, появляющиеся в мир с новыми истинами, редко бывают оцениваемы современниками, что их называют чужаками и только впоследствии отдают им справедливость. *Но откуда достал это стихотворение Петрашевский, он не знает*».¹

Интересно прибавить к этим сведениям и рассказ самого Кашкина. Следственная комиссия, разбиравшая дело петрашевцев, заинтересовалась стихотворением «Чудаки» и потребовала от Кашкина объяснений относительно его автора и содержания. Отвечая на вопросы следствия, Кашкин писал: «Смысл этого стихотворения тот, что великие люди, появляющиеся в мире с новыми истинами, редко бывают оцениваемы современниками: их называют чужаками и только впоследствии отдают им справедливость. Таким великим человеком представлен и Фурье. Петрашевский привез это стихотворение к Европеусу, но не сказал, от кого он получил его; оно переходило из рук в руки и было у меня в руках, когда садились за стол; но так как не все еще прочли его, то меня просили за обедом прочесть его вслух, что я и сделал».²

Если принять во внимание, что Петрашевский любил и, несомненно, хорошо знал Беранже, а также и то, что он писал стихи и тщательно скрывал это даже от близких знакомых, то можно предположить, что первым в России переводчиком стихотворения «Les fous» был не кто иной, как сам Петрашевский.

¹ Петрашевцы, т. 3, стр. 148 (курсив мой.— В. Ж.).

² Дело петрашевцев, т. 3, стр. 166.

Так по отдельным штрихам, по немногим сохранившимся данным восстанавливается литературный облик Петрашевского — демократа, сторонника и пропагандиста гражданской поэзии.

4

Поэты кружка петрашевцев не создали самостоятельного поэтического направления, которое явилось бы определенным, строго очерченным этапом в развитии русской литературы. Среди участников кружка не было выдающихся поэтических дарований. Петрашевцы Салтыков и Достоевский были крупнейшими прозаиками, поэтому искать отражение в их творчестве передовых идей 40-х годов следует, разумеется, в связи с анализом русской прозы. Наиболее видные участники собраний, такие, как Спешнев, Момбелли, Ханыков и др., стоявшие в политическом отношении много выше среднего уровня кружка, не были поэтами, не писали стихов. Стихи писали сравнительно второстепенные петрашевцы — Плещеев, Дуров, Ахшарумов, Баласогло, Пальм, но профессиональными поэтами были только двое из них — Плещеев и Дуров. Известно, что писали стихи и некоторые другие члены кружка (например, Катенев), но их произведения почти не дошли до нас. Кроме того, в силу своего переходного, промежуточного характера деятельность петрашевцев, к тому же подавленная в самом начале, не могла породить такого мощного поэтического движения, какое возникло десятилетием позже.

И все же, несмотря на это, поэзия петрашевцев представляет значительный интерес, поскольку в ней нашли отражение идейные течения 40-х годов и те стремления, которые лежали в основе деятельности кружка; она интересна также тем, что в ней можно обнаружить некоторые черты, характерные для послелевосторонневской эпохи русской поэзии.

Поэтическое творчество петрашевцев следует рассматривать как составную часть передовой литературы 40-х годов. Вместе со стихами молодого Некрасова, вместе с лирикой Огарева поэзия петрашевцев в лучшей своей части входит в общий поток прогрессивных литературных течений того времени. Она образует известную промежуточную ступень, подготавливая господство в поэзии некрасовской школы. При этом поэзию петрашевцев только условно можно ограничить именами пяти авторов, представленных в настоящей книге. Так же как кружок Петрашевского не охватывал всех представителей русского общества, разделявших прогрессивные взгляды 40-х годов, так и творчество поэтов-петрашевцев, естественно, не исчерпывает собою того течения русской поэзии, которое развивалось под влиянием обществен-

ного подъема и социально-утопических теорий того времени. Здесь уместно напомнить справедливое замечание Достоевского: «Название петрашевцев, по-моему, неправильное, ибо чрезмерно большое число в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, петрашевцев осталось совершенно нетронутым и необеспокоенным».¹

Общественно-прогрессивные веяния в той или иной мере отражались и в творчестве поэтов, по существу не связанных с кружком Петрашевского и в целом далеких от революции и социализма. Так, будущий славянофил и «почвенник» Аполлон Григорьев, на короткое время сблизившись с кружком, создал несколько произведений, проникнутых искренней ненавистью к самодержавному режиму и по своей художественной силе превосходящих многое написанное настоящими петрашевцами («Нет, не рожден я биться лбом...», «Прощание с Петербургом», «Когда колокола торжественно звучат...» и др.).

Поэт А. Н. Майков, известный своим тяготением к «чистому искусству», в годы общения с членами кружка, а также под влиянием Белинского, написал поэмы «Две судьбы» и «Машенька», интересные, с точки зрения демократизации стиха, попыткой приблизить его к разговорной речи, причем в «Машеньке» в духе традиций жоржизма и натуральной школы освещалось положение женщины в семье и обществе. Белинский отмечал в этих поэмах Майкова стремление «представлять жизнь в ее истине».² Не случаен и тот факт, что поэма «Машенька» была опубликована в «Петербургском сборнике» Некрасова.

Таким образом, общение с кружком оказывалось творчески плодотворным даже для тех поэтов, которые не разделяли политических взглядов петрашевцев или только на короткое время увлекались ими.

Обращаясь к поэтическому наследию петрашевцев, нельзя не заметить, что при всем его разнообразии здесь почти нет собственно политической лирики. Дело в том, что это прежде всего — подцензурная поэзия. Почти все тексты, вошедшие в книгу, были впервые опубликованы на страницах легальных журналов, газет и альманахов. Не удивительно, что легальная продукция петрашевцев (а нелегальная почти не дошла до нас) лишена остро-политических форм выражения. Элегия, нередко пессимистически окрашенная, являлась наиболее рас-

¹ Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1873 год. Полное собрание художественных произведений, т. 11. М.—Л., 1929, стр. 134.

² В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 9. М., 1955, стр. 572.

пространственным и наиболее естественным жанром, в котором петрашевцы могли выражать свои политические настроения и критическое отношение к действительности.

Однако нельзя забывать и того, что в кружке петрашевцев имела хождение подпольная, нелегальная поэзия, распространявшаяся изустно и в списках.

С уверенностью можно сказать, что в литературном наследии поэтов-петрашевцев, воспринявшем традиции декабристской поэзии, должны были быть антимонархические стихи, продолжающие традиции политической сатиры 20-х годов. Но такие стихи почти не сохранились. Известно, что в 1843—1845 годах петрашевец Д. Д. Ахшарумов написал несколько стихотворений «в возмутительном духе». Одно из них называлось «Зимний дворец». По объяснению самого автора, стихотворение было написано после того, как он, «проходя однажды вечером мимо Зимнего дворца с социальными мыслями в голове», подумал о том, что «такое огромное здание, а пользы нет в том, а вред». Кроме того, он написал еще стихотворение, «насмешливое и неприличное», в котором осуждал государя — «безо всякой причины», как пояснял автор в своих показаниях. Третьим произведением, написанным Ахшарумовым в эти годы и позднее также уничтоженным, были стихи о Рылсеве, содержавшие «сожаление о смерти его»; они оканчивались «дерзким рассуждением... насчет смертного приговора над ним».¹ Вряд ли можно сомневаться в том, что все эти произведения были написаны под воздействием декабристской лирики, распространявшейся изустно и в списках.

Здесь уместно вспомнить и о том, что в 1846 году петрашевцем А. Н. Плещеевым было написано стихотворение «По чувствам брата мы с тобой...», в течение многих лет ходившее по рукам. Это стихотворение, в котором говорилось о тех временах, когда «пробьет желанный час и встанут спящие народы», было выдержано явно в духе декабристской традиции; именно по этой причине оно приписывалось Рылееву. Весьма показательна эта ошибка многих мемуаристов, комментаторов и читателей, долгое время не сомневавшихся в принадлежности стихов Плещеева — Рылееву.

Наконец, к этому перечню надо прибавить басню неизвестного автора, прочитанную на одном из собраний кружка под названием «Запасные магазины» и опубликованную лишь в 1937 году (текст басни см. в разделе «Приложение»).

Басня «Запасные магазины», поднимающая весьма злободневную и острую для того времени тему, конечно, не была единственным про-

¹ Дело петрашевцев, т. 3, стр. 141.

изведением запретной музыки, к которой часто обращались петрашевцы. Из материалов следствия известно, например, что Катенев, собираясь уехать из Петербурга, написал «прощальные стихи», в которых содержалось резкое обличение столицы империи. Эта тема характерна для лирики петрашевцев. Социалисты-утописты видели в облике большого города отчетливое выражение противоречий общественного развития, как бы синтез всех пороков буржуазной цивилизации. Стихотворение Катенева начиналось такими словами:

Прости, великий град Петра,
Столица новая разврата,
Приют цепей и топора,
Мучений, ненависти, злата...¹

К этому можно также добавить, что герой автобиографического романа Пальма «Алексей Слободин», будущий петрашевец, хранил у себя «заветную тетрадку, заключающую в себе много разных запрещенных плодов российской даровитости». После смерти Пушкина он «набожно переписал» в эту тетрадку ходившее по рукам стихотворение «Погиб поэт, невольник чести...»

5

Поэтическое творчество петрашевцев, таким образом, не дошло до нас в полном виде. Можно предполагать, что нелегальная политическая лирика занимала в кружке гораздо большее место, чем это казалось до сих пор. К сожалению, восстановить сколько-нибудь полную картину пока нет возможности. Мы должны довольствоваться отдельными штрихами и намеками. И тем не менее стихи поэтов-петрашевцев, собранные воедино, должны рассматриваться как значительный литературный документ прогрессивного движения 40-х годов, заполняющий известный пробел в нашем представлении об этом движении.

Общей чертой лирики петрашевцев является недовольство окружающей действительностью и наряду с этим, у большинства из них, мотивы пессимизма и разочарования. Призывы к подвигу, стремление вызвать сочувствие к угнетенным, интерес к народной истории и поэзии сочетаются в их стихах с жалобами на бессилие, на неумение найти пути к народу, преодолеть противоречия социальной жизни. Эту особенность петрашевцев можно объяснить тем, что, при всей своей твердой вере в могучие потенциальные силы русской нации, они все

¹ Петрашевцы, т. 3, стр. 224.

же не видели революционного народа и, подобно своим современникам Герцену и Огареву, не имели опоры в крестьянстве. Оторванность от масс порождала сознание бессилия и накладывала печать известной безнадежности. В то же время горячее сочувствие бедствиям человечества, стремление воплотить в жизнь идеи утопического социализма, сознание необходимости борьбы за политическую свободу — все это руководило поступками участников кружка, определяло их политические взгляды и оказывало значительное влияние на их поэзию.

В ней сильна патриотическая тенденция, ощущение своей связи с предшественниками и забота о будущем, стремление опереться на прогрессивные традиции национальной культуры и мысль о необходимости ее самобытного развития. Уверенностью в избытке сил, скрытых до времени, в том, что русский народ выдвинет перед всем миром своих деятелей, проникнуты, например, такие строки А. П. Баласогло:

И может быть, что Русь в печали
Нагрезит миру сонм голов,
Какие вряд существовали
Отрадной гордостью веков.
Восстанут, может быть, такие
Своенародные умы,
Которых гимнами впервые
Поднимем голову и мы.

В лирике петрашевцев нетрудно обнаружить отголоски напряженных исканий, характерных для передовых кружков 40-х годов. Можно сказать, что поэтическая мысль во многом сопутствовала теоретической мысли, интенсивно развивавшейся в то время. При этом читателя не должно смущать, что у петрашевцев нередко встречаются религиозные образы и мотивы. Совершенно чуждые официальной религии, многие участники кружка тем не менее разделяли характерное для утопических социалистов наивное представление о Христе, как о первом проповеднике социалистических идеалов, который «народам завещал свободу и любовь» (Плещеев). Можно говорить и о преднамеренном использовании петрашевцами образа Христа в пропагандистских целях. Будучи убежденным атеистом, Петрашевский, например, писал в «Словаре иностранных слов»: «Так как учение Христа есть учение равенства, то рабство должно быть уничтожено в христианском мире. . . все помещики или землевладельцы должны предоставить принадлежащие им воды и леса в общее пользование».¹

¹ Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 228.

Настоящий сборник открывается стихотворениями Александра Баласогло, одного из активных посетителей «пятниц» Петрашевского. Они не могут быть причислены к поэзии петрашевцев в строгом смысле, поскольку сборник, в котором они впервые появились, вышел в 1838 году, т. е. на шесть-семь лет раньше, чем начались знаменитые собрания по пятницам. Однако включение стихов Баласогло в настоящую книгу вполне оправдано: в них отразились те идейные искания, которые вскоре привели их автора в кружок петрашевцев.

Путь Баласогло служит живой иллюстрацией слов Герцена о том, что русская молодежь 30-х годов «прямо из немецкой философии шла в фалангу Фурье».¹ От увлечения шеллингианством, от близости с «Московским вестником» и «любомудрами» Баласогло перешел в ряды русских фурьеристов, заняв среди них видное место. Личный друг Петрашевского, Баласогло принадлежал к числу самых интересных людей в его кружке. В своей замечательной «Исповеди» он, между прочим, писал: «Я — коммунист, то есть думаю, что некогда, может быть через сотни и более лет, всякое образованное государство, не исключая и России, будет жить не случайными и несчастными агрегациями, столплениями людей, грызущихся друг с другом за кусочки золота и зернышки хлеба, а полными и круглыми общинами, где все будет общее, как обща всем и каждому разумная цель их соединения, как общ им всем всесвявующий их разум».²

В лирике Баласогло преобладает, в сущности, одна тема — это одиночество мыслящего человека в обществе бездарных светских глупцов. Поэт ощущает себя чужим в этой среде, он противопоставляет себя «детям суеты», знати, свету, всем этим «лицам без голов». Он с презрением говорит о «литературных пигмеях», профанирующих высокое назначение поэта, выдающих свои «альбомные мечты» за истинную поэзию («Противоположность»). Он отворачивается от женщины, не сумевшей выделить его из светской толпы; в стихотворении «Презрела ты меня...» (оно не вошло в настоящий сборник) он так рисует своего счастливого соперника:

Какой-нибудь кузен, залетный соловей,
Краса смотров и спесь кавалергардов;
Или поэт в венце из бакенбардов,
Паркетный франт, князь модных рифмачей;
Политик, на балах за картами сидящий,
Оракул мыслящих умов,

¹ А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. К. Лемке, т. 13. Пг., 1919, стр. 599.

² Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 604.

Всегда лишь в скобках говорящий,
И дальновидный, и всезрящий
При помощи газет и золотых очков.
Какой-нибудь самодовольный
Мужчина без усов, последней моды франт;
Философ, что ли, богомольный,
Поэт без рифм, задумчивый дурак —
Иль ниже кто-нибудь...

Пред нами, таким образом, обличительная, хотя и лишенная определенной политической окраски, характеристика «общества», появившаяся в печати раньше, чем были опубликованы стихотворения Лермонтова с аналогичной тематикой. Поэт еще не вступил в открытую борьбу с «обществом», но, осознав его ничтожество и свое превосходство, он разрывает с ним и остается одинокий, оскорбленный и непонятый; он уходит «в глушь скитанья», к природе, к космосу (см. стихотворение «Раздел»). Так возникает образ изгнанника, странника, неудачника, типичный вообще для поэзии петрашевцев.

В тесной связи с этой темой одиночества находится другой мотив стихов Баласогло: выдвижение героической личности, противопоставление гения толпе. Поэт убежден, что в этом мире лжи и лицемерия благополучное существование обеспечено только «общественным слизням», тем, кто идет давно проторенной дорогой. «Посредственный умом» и «пресмыкающийся в стаде» пользуются общим сочувствием. Но всякий, «кто не пошел, как идут все», кто пытается поднять голос против традиций «общества», тот неизбежно становится «пасынком природы», ощущает себя «лишним» («Лишний», «Приметы» и др.). Только исключительная личность, может быть гениальный поэт или мыслитель, воодушевленный смелой и новой идеей, преодолеет препятствия, воздвигнутые «обществом» на пути стремления человеческого разума к свободному развитию и совершенствованию.

Разорвет свободный гений
Паутину всех сетей...
...Проклял он мечты и факты,
Мир и всё, что в нем берет:
Прочь изъезженные тракты
Вдоль, и вкось, и поперек!
Степью, тундрой, океаном,
Дикой новью, целиком
Он промчится ураганом
И поставит мир вверх дном.

Понятия «разум», «мир» еще заменяют для Баласогло социальные категории. «Общество», которое он обличает, противопоставлено герою прежде всего по линии интеллектуальной, как сборище глупцов

и невежд. В этом культе ума нашла отражение приверженность автора в эти годы к идеалистической немецкой философии (недаром «мысль», «ум», «разум» фигурируют у Баласогло чуть ли не в каждой строке). Но важно, что свободный гений, сбросивший «с ума клобук», трактуется им как решительный враг всякой косности и рутины. «Свет» пытается накинуть на него свои сети, смотрит на него как на безумца. В этом смысле идея пьесы «Гений» в какой-то мере переключается с идеями тех «безумцев» из стихотворения Беранже «Les fous», которым вскоре начал поклоняться Баласогло в качестве петрашевца и фурьериста.

Противопоставление гения обществу, толпе, которое отчетливо звучит у Баласогло, конечно, нельзя расценивать как проповедь «чистого» искусства. Это отзвук прочной поэтической традиции 20—30-х годов и, может быть, в известной мере дань шеллингианской философии искусства, культивировавшейся на страницах «Московского вестника» и «Московского наблюдателя». Прогрессивная направленность стихов Баласогло не подлежит сомнению. Роль гения, миссия которого — будить умы и жечь глаголом сердца, будущий петрашевец отводит прежде всего Пушкину. Восторженное преклонение перед «жрецом-учителем» выражено в стихотворении «Противоположность», а спустя два года — в большом стихотворном произведении, целиком посвященном Пушкину (1840). В нем на первом плане — мысль о великом значении Пушкина для русской культуры. Патриотическое чувство, характерное и для сборника «Стихотворения Веронова» (см. пьесу «Возвращение», а также любопытные стихи соавтора Баласогло архитектора Норева, которому принадлежит первая половина книги), чувство, лишенное славянофильского оттенка, переплетается с восторженным и любовным отношением к Пушкину. В упомянутом произведении Баласогло большой интерес представляет описание похорон Пушкина. Здесь выражена глубокая скорбь о погибшем поэте. Обличая лицемерие знати:

Зачем в мундирах, в звездах, в лентах
Идет пешком вся эта знать?
Ей ни в стихах, ни в монументах
Себя пред ним не оправдать,—

автор продолжает и развертывает тему лермонтовской «Смерти поэта» («Убит! к чему теперь рыданья...»).

Несмотря на явное преклонение перед Пушкиным, несмотря на многочисленные реминисценции из пушкинской лирики (ср., например, конец стихотворения «Лишний» с пушкинским стихотворением «Поэту»), стихи Баласогло в отношении формы не находятся в прямой зависимости от Пушкина. При всей неровности и риторичности

этих стихов, при всей неоправданной усложненности оборотов речи, затрудняющей чтение и порой затемняющей смысл, им нельзя отказать в большой внутренней экспрессии, эмоциональной напряженности поэтической речи. Своеобразное творчество Баласогло можно даже рассматривать как незавершенную попытку создания новой стилистической системы, противоречащей общепринятым литературным канонам. В этой связи интересно стремление автора к словообразованиям, впрочем не всегда удачным (в его стихах встречаются, например, такие слова: «вычувствуешь», «бездушник», «восторженник», «тайнище», «расплодь» и др.); привлекают внимание оригинальные рифмы, необычные для поэтических норм того времени (например: «колет» — «сто лет», «ваших» — «чаш их» и т. д.). Все это, без сомнения, резало ухо литературным староверам, и нет ничего удивительного, что стихи Баласогло встретили отрицательную оценку на страницах «Библиотеки для чтения», руководимой О. И. Сенковским.

6

Пушкинское влияние вообще нельзя считать характерным для поэзии петрашевцев. Только в творчестве Дурова мы найдем более или менее ощутимую канонизацию пушкинского стиха, усложненную, впрочем, рядом других веяний. Разумеется, имя Пушкина произносилось в кружке с большим уважением. Как и для Белинского, Пушкин был для петрашевцев первым истинно национальным русским поэтом, давшим мощный толчок развитию родной литературы. Мы видели, что именно так понимал значение Пушкина Петрашевский. А. П. Милюков рассказывает, что Достоевский читал у Дурова стихи Пушкина и Гюго и «при этом мастерски доказывал, насколько наш поэт выше как художник».¹ Интересовала петрашевцев и жизнь Пушкина и ее трагическая развязка. Выше уже упоминалось, что на литературном вечере у Момбелли 9 декабря 1846 года был прочитан доклад на тему о дуэли Пушкина и «об участии в этой истории неизвестного подсылателя записок».

Несмотря на все это, в демократической поэзии 40-х годов пушкинское влияние порой уступает влиянию другого гиганта русской поэзии, только что сошедшего со сцены. Обличительный пафос и мятежный дух поэзии Лермонтова, ее негодующая сила и горький пессимизм во взгляде на современность, а также ее народные мотивы

¹ А. П. М и л ю к о в. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, стр. 179.

совпадали с настроениями и взглядами петрашевцев. Вот почему лермонтовские мотивы явственно звучат в стихах Плещеева, Пальма и Дурова. Современность еще нуждалась в лермонтовской теме, действительность поставляла для нее новый и новый материал, когда замолк сам поэт. Глубочайший поворот к народу, намеченный Лермонтовым в «Родине», предстояло завершить Некрасову, его наследнику и продолжателю. Но сложный процесс развития идей народности в поэзии находил отражение и в творчестве второстепенных поэтов, выступивших тотчас после Лермонтова. Конечно, они не могли заменить его и в малой мере. Но именно они, поэты, связанные с передовым общественным движением, должны были первыми подхватить лермонтовскую традицию.

В 1846 году вышел сборник стихов Алексея Плещеева, который с полным правом можно считать поэтическим манифестом кружка петрашевцев. Тогда же в «Отечественных записках» появилась статья Валерьяна Майкова, посвященная этому сборнику, в которой критик, тесно связанный с кружком, превосходно разъяснил, чем была поэзия Плещеева для людей 40-х годов, воодушевленных социалистическими идеалами. «Г. Плещеев,— писал В. Майков,— вообще нередко говорит в своих стихах о самом себе; но это не плаксивые жалобы на судьбу, не стоны разочарования, не тоска по утраченном личном счастье,— нет, это вопли души, раздираемой сомнением, глухая и упорная битва с действительностью, безобразие которой глубоко постигнуто поэтом и среди которой ему душно и тесно, как в смрадной темнице. Он хотел бы выломать железные решетки, отворить двери и окна, чтобы, пропустив в это жилище мрака и зловония живительный луч солнца, благоуханную струю свежего воздуха, дать отогреться и вздохнуть вольной грудью своим страдающим, изнеможенным и бессильным братьям...»¹

Эти слова, написанные по поводу стихов Плещеева, как бы предвосхищают известные строки из статьи Добролюбова «Темное царство», где критик-демократ создал незабываемый образ закрепощенной страны — «темной и тесной тюрьмы», «смрадной темницы», в которую не проникает «ни один луч светлого дня». В. Майков ставит Плещеева в центре современной поэзии; он даже готов считать его непосредственным преемником Лермонтова: «В том жалком положении, в котором находится наша поэзия со смерти Лермонтова, г. Плещеев — бесспорно первый наш поэт в настоящее время...»² В этом

¹ В. Н. Майков. Критические опыты. СПб., 1889, стр. 132.

² Там же, стр. 129.

суждений, несомненно, отразилось отношение к Плещееву целого поколения передовых людей.

Одним из последних произведений Лермонтова было знаменитое стихотворение, в котором изображена дальнейшая судьба пушкинского пророка, пустившегося обходить «моря и земли...»:

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено камня...

Одним из первых появившихся в печати стихотворений Плещеева была «Дума», где, подобно Лермонтову, обличавшему в одноименном стихотворении постыдное равнодушие своих сверстников «к добру и злу», молодой поэт, развивая его мысли, сурово осуждал настроения общественного индифферентизма, безразличия к тому, что «слезы из очей должно бы исторгать»; в том же стихотворении нашла продолжение и лермонтовская тема пророка, не понятого и отверженного толпой:

Когда ж среди толпы является порою
Пророк с могучею, великою душою,
С глаголом истины священной на устах,—
Увы, отвержен он! Толпа в его словах
Учения любви и правды не находит...

Плещеев, конечно, не случайно повторил здесь лермонтовские слова о «чистых учениях» «любви и правды». Однако в стихах Плещеева эти слова могли быть восприняты уже в другом свете: как условное поэтическое обозначение теорий западноевропейского утопического социализма. При таком понимании этих слов они наполняются конкретным и очень значительным содержанием. А если вспомнить, что русские социалисты постоянно называли Фурье, Сен-Симона и других утопистов, пропагандировавших «учения любви и правды», «пророками», «пророками нового мира» и т. д., то станет ясно, какое значение приобретает тема пророка в стихах петрашевцев. Усвоенная под прямым воздействием Лермонтова, она становится одним из главных мотивов плещеевской лирики, выражая глубоко прогрессивное понимание роли поэта как вождя и учителя, соответствуя взгляду на искусство как орудие переустройства общества. И характерно, что те стихотворения Плещеева, в которых отчетливо выражена эта тема («Любовь певца», «Сон», «Поэту»), полны сознательных реминисценций из Лермонтова.

Поэма Плещеева «Сон», повторяющая ситуацию пушкинского «Пророка» (сон в пустыне, явление богини, превращение в пророка), позволяет говорить о том, что Плещеев не только повторял мотивы

своих гениальных предшественников, но пытался дать свою трактовку темы. Плещеевского пророка ждут камни, цепи, тюрьма. Но, вдохновленный идеей правды, он идет к людям:

Мой падший дух восстал... и утесненным вновь
Я возвещать пошел свободу и любовь...

Здесь нет ощущения бесполезности подвига, нет мрачного лермонтовского колорита. Несмотря на все испытания, плещеевский пророк идет вперед, он по-прежнему готов служить людям. Но тут же звучит и другой характерный и новый мотив — мотив жертвенности, неизбежной гибели пророка.

Лирика Плещеева — гражданская лирика. Скорбь о бедствиях родной страны («На зов друзей»), ненависть к дворцам и золотым палатам — все это имеет определенную идеологическую направленность, возможно идущую и от учения Фурье, с его проповедью всеобщего счастья, осуждением неравенства, противоречий богатства и бедности. Жизнь сама по себе прекрасна. Но человеческое общество устроено так, что

...право наслаждаться
Даровано ли всем могучею судьбой?
Здесь узники вдали от родины томятся,
Там в рубище бедняк с протянутой рукой.

Из тех же источников идет и тема личного, семейного счастья, развернутая в поэзии петрашевцев. У Плещеева она трактуется в ряде пьес как трагедия брака, разбивающего любовь («Бал»), как проповедь любви разумной, основанной на сходстве взглядов и убеждений («Мы близки друг другу... Я знаю, но чужды по духу...»).

В творчестве Плещеева находит свое дальнейшее развитие и лермонтовская тема родины. В стихотворении «Отчизна» (1862) поэт тепло и искренне рассказал о своей любви к стране степных просторов, весенних разливов и убогих деревень, где живет вековая мечта о свободе. Было время, его манил «чужбины берег дальний», перед ним рисовались заманчивые картины пышной чужеземной природы. Но когда поэт задумался над «целью бытия», взор его обратился к отчизне:

Покинул я тогда заветную мечту
О стороне волшебной и далекой...
И в родине моей узрел я красоту,
Незримую для суетного ока...

Поля изрытые, колосья желтых нив,
Простор степей, безмолвно величавый;
Весеннею порой широких рек разлив,
Таинственно шумящие дубравы,

Святая тишина убогих деревень,
Где труженик, задавленный невзгодой,
Молился небесам, чтоб новый, лучший день
Над ним взошел — великий день свободы.

В ранней лирике Плещеева есть и активные призывы к борьбе, обращенные к молодому поколению. Знаменитые строки «Вперед! без страха и сомненья...», известные под названием «гимна петрашевцев», сохраняли свою силу не только для эпохи 40-х годов, — их повторяли революционеры позднейших десятилетий. Добролюбов, относившийся к Плещееву с большой симпатией, уважавший его причастность к делу Петрашевского, особенно выделял это стихотворение, находя в нем идеи и стремления лучших людей 40-х годов. Добролюбов характеризовал его как «смелый призыв, полный такой веры в себя, веры в людей, веры в лучшую будущность».¹

Современному читателю лозунги плещеевского гимна могут показаться слишком общими и неопределенными; однако в свое время, для сверстников и единомышленников поэта они наполнялись конкретным содержанием. Так, слова «любви учение» могли быть расшифрованы как учение французских социалистов-утопистов; «подвиг доблестный» означал призыв к борьбе, к общественному служению; в словах о союзе «под знаменем науки» подразумевались идейно-теоретические искания, столь характерные для кружков того времени.

Поэтическое творчество Плещеева, вместе с творчеством Дурова, Пальма, сыграло свою роль в развитии русской поэзии, о которой нельзя составить полного представления без учета этих имен. Не только тематика, но и самые образы, эпитеты, все поэтические средства, характерные для демократических поэтов 40-х годов, вполне укладываются в русло традиций гражданской лирики. Таков у Плещеева и других петрашевцев лирический образ странника, идущий от Лермонтова, таковы аллегорические образы природы. «Песня странника», «Странник», образ пилигрима в пустыне — у Плещеева, разумеется, не случайность. «Передо мной лежит далекий скорбный путь», — говорит поэт. Это путь общественного служения, путь испытаний и борьбы, иногда путь разочарования и усталости:

Весело выходит
Странник утром в путь;
Но под вечер дома
Рад бы отдохнуть.

¹ Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. 1, М., 1934, стр. 456.

Мотив этой миниатюры перекликается с «Горными вершинами» Лермонтова. Лермонтовскими сюжетами навеяны и многие другие поэтические образы у петрашевцев. Назовем тему узника, сидящего за решеткой и слушающего песню соседа по темнице (ср. стихотворения «Сосед» у Плещеева и «Сосед» у Лермонтова); эта тема нашла отражение также и в лирике Пальма («Освобожденный узник»).

Стихи А. И. Пальма вообще довольно наглядно отражают влияние Лермонтова, сказавшееся не только в отдельных реминисценциях, но и в манере построения образа, в художественной структуре наиболее крупного его произведения — «Сказки про царя с царевной». К Лермонтову восходят у Пальма ноты пессимизма («Осенний день»), разочарования в человеческой жизни («Подумаешь, как пошел, как жалок ты, о человек» — в «Отрывке из рассказа»). С большой силой выражена эта тема в наброске «Гляжу я на твои глубокие морщины. . .»:

...зароют в яму тело,
И канет жизнь твоя, как жалкий пустоцвет,
Как нищего в суде проигранное дело! . .

Эта по-лермонтовски энергичная концовка содержит образ, чуждый основной теме стихотворения, но с неожиданной силой разрешающий напряженность предыдущих строк (ср. у Лермонтова «Как пир на празднике чужом» — в «Думе»; ср. также последние строки стихотворения «Не верь себе. . .» и др.).

Поэтическое наследие Пальма представляет интерес, ибо оно характерно для своего времени. В нем очень полно представлены главные черты поэзии петрашевцев. Здесь налицо отражение социалистических веяний, идущих с Запада: разрешение женского вопроса в духе жорж-зандизма («Воспоминание», посвящение к «Сказке»); здесь обличение большого города с его пороками («Когда гляжу на городские зданья. . .»); здесь и тема пророка, не понятого толпою (та же пьеса), причем «золотые сны» этого пророка опять-таки ведут нас к тем «безумцам», которые должны навеять «человечеству сон золотой». Здесь и лирический пейзаж, аллегорически истолкованный («Напутное желание», «Перед грозой»):

Видишь ли, черная туча по небу несется?
Путник, послушай, ведь завтра иль ныне
Черная туча отрадным дождем разольется.
Легче вздохнешь ты под небом палящей пустыни. . .

Наконец, самым существенным является обращение Пальма к народному творчеству, к фольклорным темам, и попытки его создать на этой основе реалистические картины из крестьянской жизни. Зна-

менательно, что эти мотивы в лирике Пальма перекликались с аналогичными мотивами в поэзии Пушкина и Лермонтова. Возможно даже, что лермонтовской «Родиной» навеяны следующие строки в «Русской песне» Пальма:

Встречаю весело мелькающие мимо
Березки голые, овраги, мост, ручей,
И грустно-серые, убогие избушки,
И мужичка без шапки, и плетень,
И леса синего чуть видные верушки. . .

Широко используя в своей «Сказке» темы и образы русских сказок, Пальм написал несколько пьес в духе народных песен, весьма близких по характеру и настроению к песням Кольцова («Много горя, много дум тяжелых. . .»). Некоторые другие вещи Пальма, в которых народная тема взята еще глубже, прямо предвосхищают Некрасова. Таковы «Русские картины», где тепло изображена доля женщины-крестьянки, и стихотворение «Обоз», подкупающее простотой воплощения крестьянского сюжета.

Органическое усвоение лермонтовских влияний и интерес Пальма к народной тематике позволяют отнести этого поэта-петрашевца к числу предшественников демократической поэзии 60-х годов, участвовавших в процессе формирования ее народного некрасовского стиля.

7

Петрашевцы С. Ф. Дуров и Д. Д. Ахшарумов как поэты совершенно прогивоположны друг другу. Стихи Ахшарумова не нуждаются в подробной характеристике. Их автор не был профессиональным поэтом; он был фурьеристом, мечтателем, энтузиастом идеи грядущего счастья человечества. Заключенный в крепость, он излагал в рифмованных строках свои мечты и надежды, записывая их гвоздем на стене каземата. Много позднее Ахшарумов включил эти стихи-документы в книгу своих воспоминаний о молодости.

Его стихи интересны как вполне точное воспроизведение фурьеристских идей, волновавших участников кружка петрашевцев. В них достаточно полно выражены и протест против социальной несправедливости, и обличение язв и пороков капиталистического города, и картины будущего счастья земли — в соответствии с учением Фурье. Одно из стихотворений Ахшарумова («Земля, несчастная земля. . .») является почти дословным рифмованным переложением его речи на обеде, данном петрашевцами в честь Фурье.

В стихах Ахшарумова, далеких от художественного совершенства,

мысли автора выражены в самой прямой форме, они декларированы, а не воплощены в живых образах; только в пьесе «Гора высокая, вершина чуть видна...» сделана попытка создать художественную картину.

Иной характер носит поэтическое наследие Дурова, впервые полностью собранное в первом издании книги «Поэты-петрашевцы». До сих пор мы не имели представления о творчестве Дурова-петрашевца, принадлежавшего к наиболее радикальной части кружка. Между тем по масштабу своего поэтического дарования он мало в чем уступает Плещееву.

На первый взгляд может показаться, что в его стихах социальная тема звучит приглушенно: у Дурова, в самом деле, почти нет ни бунтарских мотивов, ни политических деклараций. Известно, что его даже критиковали за некоторую идейную ограниченность.¹ И все же очевидно, что прогрессивная идеология 40-х годов нашла свое выражение во всей художественной ткани лирики поэта.

Большую часть поэтического наследия Дурова составляют переводы произведений французской политической поэзии. Мы видели, какое значение имели для кружка стихи Беранже, воспевавшие утопических социалистов. Плещеев обращался к «Ямбам» Барбье, черпая в них образы для своих произведений. Дуров же посвятил себя систематическому ознакомлению публики с творчеством Виктора Гюго, Огюста Барбье и других западноевропейских поэтов, находя у них идеи и образы, близкие и понятные русским читателям. Вот почему есть все основания рассматривать переводы Дурова как органическую часть его поэтической деятельности.

Дуров был первым в России переводчиком Барбье — поэта, пользовавшегося исключительной популярностью среди петрашевцев. Барбье, по определению А. П. Милюкова, — поэт, «выставляющий на позорище общества *гной душевных ран его*, с неумолимым проклятием к эгоизму золота, с железным словом грозной сатиры и энергическим, могучим стихом...»² Именно так понимал значение своего любимого поэта и Дуров.

В переводах Дурова нашли отражение и противоречия творчества Барбье, связанные с его политическими колебаниями после июльской революции 1830 года. Наступление и победа реакции обнаружили неустойчивость Барбье: в его стихах начинают звучать мотивы пес-

¹ См. Дело петрашевцев, т. 3, стр. 442.

² А. П. Милюков. Очерк истории русской поэзии, изд. 3-е. СПб., 1864, стр. 225.

символизма, разочарования в революции. Париж представляется Барбье мрачной бездной, средоточием зла («Есть бездна на земле...»); обличительная сатира начинает казаться ему «безобразной», разрушающей все прекрасное («Смех»). Впрочем, подлинный смысл идейной неустойчивости Барбье вряд ли был ясен Дурову. Он представлял себе его поэзию, всегда искреннюю и страстную, гораздо более монолитной, чем она была на самом деле.

Пламенные строфы Барбье, мужественная лирика Гюго с ее гуманным сочувствием обездоленным помогали Дурову выразить собственные демократические и оппозиционные настроения. Утверждая свой идеал высокого назначения поэта, он, вслед за Барбье, рисовал суровый облик Данте, поэта-гражданина и борца. Идея освобождения родины привлекала Дурова, когда он переводил «Киаию» Барбье — поэму, в которой с такой силой изображены страдания итальянского художника Сальватора Розы, изгнанного из родной страны «ненавидимыми пришельцами». Поэма представляет собой диалог между Розой и простым рыбаком, в котором художник видит воплощение неисчерпаемых сил, таящихся в народе («Народ всегда надежен...»).

Дуров читал перевод «Киаий» на собраниях своего кружка. Эти стихи пользовались там особенным успехом именно потому, что в них шла речь о необходимости единства с народом в борьбе за свободу. Многие другие вопросы, волновавшие передовое поколение той эпохи, также находили свое отражение в переводной лирике Дурова. Таков вопрос об ответственности общества за моральное падение женщины, таково обличение паразитизма аристократии («Не насмехайтесь над падшею женой!..», «Смерть сластолюбца» В. Гюго) и т. п.

Поэзия Дурова в целом окрашена в пессимистические тона. Эта черта особенно отличает его оригинальные стихи, по тематике и настроению примыкающие к переводам. Для понимания творчества Дурова существенно его стихотворение «Анакреон», в котором выражен взгляд на современную поэзию; ей противопоставлена — в образе Анакреона — счастливая поэзия «детства человечества». Было время, когда поэзия, молодая и светлая, воспевала радости жизни:

А ныне от певцов не те мы слышим звуки:
Их струны издают порывы тайной муки,
Негодование на жизнь и на судьбу,
Души расстроенной тяжелые болезни:
Для современников полезны эти песни...

Сам Дуров и был таким певцом, негодовавшим «на жизнь и на судьбу». Мрачная действительность крепостнической России, окружавшая поэта, не только его заставляла проливать слезы горечи и возмущения.

Не только Дуров был угнетен этой действительностью — «нет ни одного замечательного русского поэта последнего времени, который бы остался совершенно свободен от этого мрачного настроения, который бы не принялся заживо хоронить себя». Так писал в 1858 году Добролюбов в статье о Плещееве, находя, что мрачный тон всей русской поэзии — характерный факт, за которым большею частью скрывается «воплé энергической, действительно сильной природы, подавляемой гнетом враждебных обстоятельств».¹

Дуров сам рассказал о причинах своего пессимизма:

Куда ни подойдешь, куда ни кинешь взгляд,
Везде встречаются то нищих бледный ряд,
То лица желтые вернувшихся из ссылки,
То гроб с процессией, то бедные носилки. . .

Вот откуда эти ноты глубокой грусти, это разочарование в жизни, происходящее от любви к жизни и именно этим так сильно напоминающее Лермонтова (см., например, у Дурова «Сонет», «Что в жизни, если мы не любим никого. . .»); вот откуда эта искренняя скорбь о бренности человеческого существования, выраженная в прекрасном переводе «Осеано пох» Гюго. Гуманной любовью к человеку, обреченному на страдания в мире, где царствует несправедливость, продиктовано одно из лучших стихотворений Дурова «Когда трагический актер. . .», обошедшее все старые хрестоматии. Это стихотворение родилось из лермонтовского образа. Пьеса Лермонтова «Не верь себе. . .», трактующая тему одиночества поэта и, кстати, снабженная эпиграфом из Барбье, заканчивается необычайно сильным аккордом:

Поверь, для них смешон твой плач и твой укор
С своим напевом заученным,
Как разрумяненный трагический актер,
Махающий мечом картонным.

Образ трагического актера, только не с «мечом картонным», а в «мишурной мантии Гамлета», перешел в стихотворение Дурова и помог ему создать смелое обличение «толпы», льющей слезы «перед фигляром» и равнодушной к общественным бедствиям.

Лирические образы поэзии Дурова, типичные для поэзии гражданской, дополняют ее характеристику. Тема странника, бредущего по миру («Странник»), листка, гонимого бурей («Листок»; см. также конец стихотворения «Морлах в Венеции»), тучи, мчащейся подобно изгнаннику («Туча»), — все эти поэтические аллегории, непосред-

¹ Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. 1. М., 1934, стр. 454—456.

ственно навеянные лермонтовской лирикой, подчеркивают элегический колорит стихов Дурова, придают им задумчиво-грустный оттенок:

От родной семьи изгнанник,
Ты куда несешься, странник?
Где, скажи, в краю каком,
Колыбель твоя и дом?

Дожив до 60-х годов, Дуров не принял участия в поэтическом движении этой эпохи, хотя несколько его стихотворений и появилось в некрасовском «Современнике». В силу разных обстоятельств он остался в стороне от революционно-демократических течений, в то время как Плещеев сблизился даже с вождями революционной молодежи. Но тем более интересно, что именно в начале 60-х годов Дуров написал, пожалуй, единственное свое оптимистическое стихотворение («Н. Д. П—ой»), в котором звучит и вера в будущее торжество народных сил, и сознание пользы, принесенной его поколением — поколением петрашевцев, русских социалистов-утопистов 40-х годов.

Общественно-прогрессивное содержание революционного движения 40-х годов нашло разнообразное отражение в поэтическом творчестве членов кружка петрашевцев. Борьба с рутинной и обличение «света» у Баласогло, горячие призывы Плещеева в защиту угнетенных, социально-утопические мечтания Ахшарумова, отголоски народного творчества у Пальма, наконец гражданская скорбь и лирический пафос Дурова — из этих составных частей складывается довольно полное представление о своеобразном и интересном явлении демократической поэзии 40-х годов. Творчество поэтов-петрашевцев, несмотря на все присущие им недостатки и противоречия, занимает свое место в истории русской гражданской лирики; оно служит связующим звеном между двумя эпохами в развитии нашей литературы, объясняя и конкретизируя переход — в «большой поэзии» — от Лермонтова к Некрасову. В этом его историко-литературное значение.

Поэзия недаром занимала большое место в кружке первых русских социалистов: она облегчала выражение протеста против социального гнета, помогала выразить новые чувства, которые соответствовали новому типу человека-борца, вышедшего на арену большой общественной деятельности. И если, чувствуя Фурье, петрашевцы аплодировали стихам Беранже, если русский фурьерист, сидя в тюрьме, пел песни о будущем счастье земли, если петрашевцы, стоя на эшафоте, в ожидании смерти шептали про себя слова плещеевского гимна «Вперед! без страха и сомненья...», то, значит, были в этой поэзии и живая сила, способная увлекать сердца, и настоящее чувство.

В. Жданов

А. П. БАЛАСОГЛО

Александр Пантелеймонович Баласогло — один из первых посетителей «пятниц» Буташевича-Петрашевского и его личный друг. Начав посещать его в 1845 г., Баласогло на одном из собраний осенью 1848 г. выступил с речью о семейном счастье, в другой раз читал стрывки неоконченного своего сочинения «Об изложении наук».¹ В своих показаниях следственной комиссии 1849 г. он называет себя фурьеристом. Эти показания, названные самим Баласогло «Исповедью» и представляющие весьма ценный для историка русской общественности документ, служат также первоисточником его биографии, наравне с копией его «формулярного списка о службе».

Баласогло родился в Херсоне в 1813 г. (согласно формуляру — 1809-м). Отец его, обруселый грек, был тогда лейтенантом Черноморского флота, а позже — интендантским генералом; тоже во флот, гардемарин, зачислен был в 1826 г. и сын. В 1835 г. он выходит в отставку и поступает на штатскую службу, сперва — в министерство народного просвещения, потом — в комитет иностранной цензуры, и, наконец, с 1840 г. — в главный петербургский архив министерства иностранных дел, где и остается до самого разгрома петрашевцев. Еще до того, как оставить службу во флоте, Баласогло начал посещать университет, желая пройти курс восточных языков, к чему побуждала его постоянная жажда путешествий: «Все мои мысли были направлены на Восточный океан, — читаем в его «Исповеди», — к Сандвичевым и Маркизским островам, к Перу и Мехико, к Китаю и Японии».² Там мечтал он спастись от гнета российской действительности, ощущать который начал с детства, рано превратившись в типичного неудачника, «беспокойного» и «лишнего» человека, как он сам себя

¹ См. «Голос минувшего», 1913, № 4, стр. 99 и 110.

² Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953, стр. 572.

называет. Рассказанная им в «Исповеди» история служебных и житейских неудач, полная неподдельного драматизма, рисует те условия, в которых зарождалось тяготение к социальным утопиям.

Что касается литературных интересов Баласогло, то они начали проявляться еще в детстве. «Одна поэзия всегда была мне ясна и понятна,— читаем в «Исповеди»,— одна она составляла единственное утешение в моей горестной жизни. .»¹ Идейные искания вызвали интерес Баласогло к Д. В. Веневитинову и кружку так называемых «любомудров» (он с увлечением читал журнал «Московский вестник», бывший органом этого кружка), а позднее привели его в ряды петрашевцев. Попав в Петербург, Баласогло сближается с семьей Н. И. Греча, ведет дружбу с его сыновьями и, очевидно, от них усваивает стремление к литературно-издательской деятельности. В 1838 г. первые попавшие к нему в руки деньги Баласогло вкладывает в издание «Стихотворений Веронова». Далеко не все стихотворения, вошедшие в состав этой миниатюрной книжечки, принадлежат Баласогло: он сам в той же «Исповеди» упоминает своего друга, молодого архитектора П. П. Норева (1815—1858), замечая, что ему «принадлежит первая и лучшая половина «Стихотворений Веронова».² Отсюда видно, что стихотворения Баласогло надо искать во второй половине книги; поиски облегчает рецензия в «Библиотеке для чтения» О. И. Сенковского,— единственный отклик в печати на «Стихотворения Веронова»:

«Ни в одной еще из печатных книг гораздо большего объема,— писал Сенковский,— не удалось нам видеть так явственно образованных головы и хвоста,— благородной и неблагородной части ее тела,— как в этой. В голове видно дарование, в хвосте — бездарность, свойственная этому странному члену. Мы почти готовы думать, что вторая половина, хвост, есть произведение совершенно другой головы: только посредством этой смелой гипотезы и можно объяснить себе такую противоположность между первою и второю сотнею страниц «Стихотворений» господина Веронова».³

Согласно дальнейшим указаниям Сенковского, поэмой «Любовь» заканчивается «голова» сборника, т. е. стихи Норева; дальше же, начиная со стихотворения «Соловью» (стр. 117), содержание сборника действительно резко меняется, отличаясь от всего предыдущего, но разительно, с другой стороны, совпадая своими стилистическими признаками с единственным дошедшим до нас в рукописи стихотво-

¹ Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 561.

² Там же, стр. 584.

³ «Библиотека для чтения», 1839, т. 32, № 1, отд. VI, стр. 1.

рением Баласогло, посланием «А. Н. В<ульф>». Таким образом, вторая половина сборника «Стихотворений Веронова» состоит из произведений Баласогло.

Сближившись с семейством Вульфов, друзей Пушкина, и встретив в нем сочувствие своим поэтическим опытам, он пишет в феврале 1840 г. большое послание в стихах, обращенное к одному из членов этой семьи, где выражено чувство преклонения перед Пушкиным: Баласогло видит в нем национальную гордость России.

В августе 1840 г., переменяя службу, он с головой уходит в работу над «Памятником искусств»¹ — изданием, которое задумано было в виде «текущей энциклопедии искусств, в применении их, со включением и ремесел, ко всей жизни, ко всем народам, ко всем климатам и векам», и где не последнее место уделено было стихам: наряду с «Полководцем» Пушкина и «Ночным смотром» Жуковского есть тут немало анонимных стихотворений неизвестных поэтов; некоторые из них, возможно, принадлежат и Баласогло. Ему же, судя по всему, принадлежит ряд анонимных историко-этнографических очерков о странах Востока («Май-май-чен, китайский город близ Кяхты», «Мексика», «Рамазан и Байрамы в Константинополе» и т. п.). Эта «утопическая», как он сам назвал ее, деятельность скоро закончилась, втянув, однако, Баласогло в сферу научно-литературных интересов.

После прекращения издания он продолжает упорные, но тщетные поиски литературных занятий. Сохранилось свидетельство о том, что Баласогло считал себя «почитателем» натуральной школы.² Свои неудачи он объяснял засилием «торжествующей, или, лучше сказать, свирепствующей литературной партии», торгующей «человеческим смыслом не хуже того, как другие компании торгуют салом, пенькой и устрицами».³ Складывающиеся в России капиталистические отношения Баласогло расценивал как «новый наплыв варварства»; в литературе он видел оппозиционную силу. «Что же должен делать во всеобщей безурядице писатель?» — спрашивал перед лицом надвигающейся опасности Баласогло, и отвечал: «Он — гражданин, как и все;

¹ «Памятник искусств и вспомогательных знаний с множеством видов, портретов, рисунков и чертежей лучших художников, превосходно гравированных на стали, меди, цинке, дереве и камне; выходит тетрадами». Дата цензурного разрешения первой тетради — 27 декабря 1840 г., одиннадцатой, закончившей собою первый том, — 19 января 1842 г. Дата цензурного разрешения второго тома, которым закончилось все издание, — 5 июля 1843 г.

² В. Семеновский. Следствие и суд по делу петрашевцев. «Русские записки», 1916, № 10, стр. 44.

³ Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 583.

он на своём поприсе должен быть тот же воин и идти напролом, на приступ, в рукопашную схватку! ... идти и идти вперед... Но что же делать? что творить, идучи вперед?.. Смягчать нравы, образумливать, упрашивать, чтоб полюбили истину ... имея в виду уже не классы или звания, не лица или титулы, а одного человека...»¹ В духе этого литературного манифеста (под ним, конечно, подписались бы и Плещеев, и Дуров, и Достоевский и другие петрашевцы) Баласогло снова задумывает основать издание, в котором бы «всякая живая душа нашла себе отрадную мысль, приятную черту, пример доблести, отечественное воспоминание, бриллиант из науки, картину, смягчающую ожесточенное сердце...»² В бумагах Баласогло сохранилось объявление об этом издании, которое должно было называться «Листки искусств», с подробной, на двенадцати мелко написанных листах, программой. Осуществить издание Баласогло, однако же, не сумел, как не сумел осуществить и другую свою «утопическую затею»: учреждение ученого общества, с организацией при нем книжного склада, библиотеки и собственной типографии.³

Арестованный вместе с другими петрашевцами в ночь с 22 на 23 апреля 1849 г., Баласогло, по заключению военно-судной комиссии, был освобожден из крепости 11 ноября 1849 г.,⁴ с назначением на службу в Олонецкую губернию, где и был 3 апреля 1850 г. определен в штат олонецкого губернского правления. Там по поручению местного губернатора он занимался собиранием статистических и этнографических данных. Год его смерти остается невыясненным. Во всяком случае, в 1862 г. он был еще жив, а в 1869 г. один из его сыновей, Владимир, писал о нем А. Н. Майкову как о давно умершем.⁵

¹ Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 598.

² Там же.

³ См. «Голос минувшего», 1913, № 4, стр. 99.

⁴ Петрашевцы. Сборник материалов под ред. П. Е. Щеголева, т. 3. М.—Л., 1928, стр. 270—271.

⁵ Письмо от 6 июня 1869 г. Автограф письма — в Институте Русской литературы Академии наук СССР (в Ленинграде). О знакомстве А. Н. Майкова с Баласогло свидетельствует его записка к последнему, найденная при аресте у Баласогло (см. «Дело петрашевцев», т. 2. М.—Л., 1941, стр. 48).

ПРОРИЦАНИЕ

Однажды, зимнею порою,
Тянулась ночь по тишине
И очи сонной пеленою
Не покрывала только мне.
Я был бессонницей размучен,
Глаза смежал и открывал,—
Вдруг слышу: «Будь благополучен!» —
Мне дух невидимый сказал.
Кто здесь? — могильное молчанье.
Забилось сердце у меня;
Но я, свой ужас отжени,
Свое услышал восклицанье:
«Зачем ты здесь?» — я закричал,
Желая странность эту сведать.
«Твою судьбу тебе поведать,—
Мне дух уныло провещал.—
Ты будешь жить без наслажденья,
Чтоб приносить его другим;
Но и за то без сожаленья
Ты будешь ими же гоним.
Тебе стороннего участия
Не дан врачующий бальзам;
Но все малейшие несчастья
Ты живо вычувствуешь сам.
Ты будешь истину с укором
И петь и молвить там и тут,
И люди общим приговором
Тебя невеждой нарекут.

За ум насмешливый врагами
Тебя судьба обременит,
Но и с немногими друзьями
Она тебя разъединит.
Среди рассеяния света
Ты будешь думать об одном;
Попросишь помощи, совета —
Тебя попотчуют вином.
Ты для людского наученья
Все муки должен испытать;
Но, чтобы радость описать,
Тебе дано воображенье.
Ты станешь холоден и тверд,
Отвергнешь светские забавы,—
И скажут: «Он несносно горд,
Он ищет странностями славы!»
Любить ты будешь горячо —
Тебя отринут хладнокровно
За то, что юное плечо
Без знака доблести чиновной.
И будет жизнь твоя тобой
В уединеньи проводима,
И ты ж, растерзанный толпой,
В ней прослывешь за нелюдима.
Ты посмеянье обретешь,
Не обретая состраданья,
И в раннем возрасте умрешь,
Воспев глупцам свои страданья.
Вот всё, что ждет тебя вдали:
Так изрекли судьбы уставы;
Но ты все бедствия земли
Снесешь и вытерпишь — для славы!»

Умолк мой дух, и я спросил:
«Но где же слава, дух могучий?»
Он, улета, заключил:
«Твои дела и век грядущий! . . .»

<1838>

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ

Когда в восторге обожанья
Держу я гения труды
И дум и звуков сочетанья
И вдохновения следы
Глазами жадно пробегаю,
Тогда без следующих слов
Я мысль поэта постигаю,
Дивясь гармонии стихов.
Ни напряженного искусства
И ни труда не вижу в них,
Но будто собственные чувства
Мне выражает каждый стих.
Как будто эти ощущения
Я испытал в забытом сне,
И дар такого ж вдохновенья
Таился, кажется, во мне;
В воображение порою
Рвался неясною мечтою,
И вдруг в творении чужом
Предстал пред очи так неожиданно,
Как идеал мой, бывший сном,
В чертах лица моей желанной.
Я рад, но что-то в сердце... Пусть
Предаст, что в нем, мой вздох невольный:
Соревнованье или грусть
Души, собою недовольной.
И лишь пройдет восторга миг,
Я говорю: скажи мне, гений,
Как ты добился вдохновений,
Как выраженья ты достиг?
Я рвусь, я жажду знать, тоскуя,
Чем тайны собственной души,
В досуг отшельничьей тиши,
В сознании вымучить могу я?
Как цепкой мыслью их схватить,
Обрисовать в словах удачных,
И эту горечь истин мрачных
Гармонией слога усладить?
Скажи, скажи мне, жрец-учитель,

Какою силой ты мучитель
И ты ж лелеяешь сердце? ..

На вопль моления наконец
Ко мне слетает чуждый гений,
И я дрожу от наставлений.

●
Но если вялые стихи,
Живые чётки рифм и точек,
Пытают душу за грехи
Всей пустотой бессвязных строчек;
Когда в наборе грозных строф,
Фаланг бессильной уж идеи,
Литературные пигмеи
Громят мой ум всем громом слов;
Иль хочет добренький бездушник
Уверить всех, что он поет,
Когда лишь точит он, баклушник,
Истертым <образом> киот
И пялит в раму романтизма
Свои альбомные мечты,
Смесь откровений эгоизма
И фраз глубокой темноты,—
Я говорю тогда: тебе ли
Жезлом пророка жечь сердца!
Не зароятся в колыбели
Рои фантазий мудреца.
В твоей груди не клокотала
Геенна огненных страстей
И, истонавшаяся, в ней
Душа, варясь, не хохотала.
Ты не был горд самим собой,
Не испытал униженья;
Ни за какие наслажденья
Не шел бороться ты с судьбой.
Не выбрав цели ни малейшей,
Хоть низость ползала твоя,
Не тряс ты цепью бытия
Пред спесью низости знатнейшей.
Горячка чувств тебе смешна
И в сне ума непостижимо,
Как сердцу пылкому тошна

Холодность черни недвижимой.
Ты, так, не видишь, почему
Содом неправд не рай уму,
Содом с богатствами, честями
И с их наивными глупцами!
Ты не поймешь,— и где понять
Ушам бродящего арфиста
Ужасный грех — не чисто взять!
И раздражительность артиста.
А смеешь брать, простой раб нужд,
Шарманщик в пиршествах порока,
И тон идей, которых чужд,
И арфу вольного пророка! ..

Я негодую. Но едва
Иссякнет ток негодованья,
Во мне уж грусть самосознанья.
Куда я сам стремлюсь? — Молва
Грозит и мне перстом молчанья!
И, может быть, уже давно
Меня такую же тирадой
Убил другой иль — всё равно,—
Не тронув, сжег своей пощадой.
И я, творец простой чухи,
Я точно так же сам ничтожен,
Как тот, кому мои стихи
Придут по мысли — факт возможен! ..
Я вижу, вижу: я ль не прав?
Я ль пустозвучен в изложении? ..
Но горд и мнителен мой нрав —
И я грущу в уничижении.

<1838>

РАЗДЕЛ I

Вам жизнь, вам бал, о дети суеты:
Вам люстры свеч, вам яркие наряды,
Оркестр смычков, сиянье красоты,
И запах роз, и вальс, и галопады.
Вам до утра кружиться в вихре игр

И отдыхать в объятьях тихой неги,—
Мне — мысль и мир; я в вашей клетке тигр,
Я рвусь от вас в далекие набег!

Ваш слух в ногах; мне же слышен у окна
Унылый вой осенней непогоды,—
И я не там, где, ярая, она
Бунтует лес, бичует в пену воды? ..
Вы вечно все, где ваша суета,
Где сад иль зал, где весело и много,
Где тонет ум, щебечет острота,
Ханжит разврат, приличье смотрит строго.
А я — туда, где мир и нем и пуст,
Бреду один, под гулкий свод развалин,
Куда в окно заглядывает куст
И Феб то скрыт, то блещет из прогалин;
Туда, где спит мятежный океан
Под сенью туч, нависших балдахином;
Где, как пророк, бушует ураган
И стонет хлябь, как чернь под исполином;
Где я стыжусь, когда в ночной тиши
Всё небо звезд глядит в ручей со мною,
Что я искал для взора и души
Лазурь очей, звездащихся душою! ..

Я вам не друг; скорей я друг ручья:
Он не мирит ласкательством небрежным
С умом толпы, с задачей бытия;
Он сам журчит роптаньем безнадежным.
Я друг всему, что дышит и болит,
Меняя вид в однообразном ходе;
Что о былом безмолвно говорит,
Что знак уму, что мысль в живой природе.
Но вам — я чужд. Возьмите жизнь и бал! ..
Моя же мысль несется в глушь скитанья:
Ей душный гроб — набитый вами зал,
И вечный пир — в чертоге мирозданья.

<1838>

ИСПОВЕДЬ

Любил я страстно, что же? — мне
Платили гордым невниманьем.
Нося пожар в груди, извне
Я грелся северным сияньем.
Пав ниц, молил я. . . О! я знал:
Уничуженье — шаг к бесчестью.
Я вспрынул: «Боже, как я мал! . .
Но если так. . .» — Я клялся местию.

Умчавши ненависть, лета
Мне освежили сердце снова:
Любил я нежно, — красота
Влюбилась также в стан другого!
Я посмеялся над собой
И хладнокровно и с терпеньем
Стал увиваться за другой,
Смутив красавицу презреньем.

С тех пор — ни в сеть, ни от сетей,
И просто так, из любопытства,
Иль рад, что выжил из страстей, —
Прошел весь курс я волокитства.
Явились вы. Я не хотел
Быть вашей юности оселком:
Я избегал вас, как умел,
Вам изумляясь тихомолком.

Но вы заметили меня
И обнаружили мне сами:
Во мне душа не из кремня,
И вы алмазны лишь очами.
Я полюбил вас невзначай,
Люблю вас грустно и без зною:
Передо мной — нежданный рай,
Но — демон опыта за мною.

О, горько было мне теперь
Вам признаваться, как остыл я;
Но никогда, и до потерь,
Клянусь, так томно не любил я!

Склонив чело, я вновь и вновь
Молюсь пред вами в умиленьи,
Не попустите, чтоб любовь
Во мне загрызло сожаленье! . .

<1838>

ГЕНИЙ

Долго в стаде одичалом,
Без державной головы,
Бродит с новым идеалом
Новый двигатель молвы.
Долго дядьки-самозванцы,
Злясь с блажным учеником,
Давят ум в нем — иностранцы —
Иностранным клобуком.
Долго юношу-гиганта
Девы ловят в мишуру,
В рамки чопорного франта,
В скоморохи на пиру,
Долго страсти в нем щекочет
И, бессмыслием горда,
Долго свищет и хохочет
Косоглазая орда.

Но, воспитанник лишений,
Господин своих страстей,
Разорвет свободный гений
Паутину всех сетей.
Разобиженный ханжами,
Сбросил он с ума клобук;
Лавр, развитый врознь с цветами,
Сжег на светоче наук.
Проклял он мечты и факты,
Мир и всё, что в нем берег:
Прочь изъезженные тракты
Вдоль, и вкось, и поперек!
Степью, тундрой, океаном,
Дикой новью, целиком
Он промчится ураганом

И поставит мир вверх дном.
Он уймет негодованье
На забавный этот мир,
Где хаосу пресмыканье
Лепит — жалкое — кумир.
Он постиг порядок новый...
И — дрожа в душе своей —
Он, восторженник суровый,
Только там вздохнет вольней,
Где он станет полубогом
На всемирный пьедестал,
Водрузив в законе строгом
Свой нетленный идеал.

<1838>

ЛИШНИЙ

Блажен, кто мыслит головами
Поставщиков сентенций в свет,
Кто красоты всего глазами
Не раздевает сам в скелет,
Кому в груди, в тайницах чувства,
От света нечего таить,
Кто черств от искусов искусства
Рассудком для желудка жить,
И, горд, что взял лавированьем
Меж вех, — крушенищ правоты, —
Плюет на зависть нищеты
Самодовольным состраданьем.
Блажен, кто в пүтани следов,
Пред ним лежавших в поле жизни,
Избрал стезю, какой на лов
Ползут общественные слизи
В улитке дедовских дворцов.
Блажен, кто видит без волненья
С нагих пустынь уединенья
Сады общественных удобств,
В амфитеатре возвышенья —
Последовательность холопств,
И, может быть, не зная барства

Ни над собою, ни в себе,
Кто раб естественного царства,
Один с природою в борьбе.

Но тот несчастлив, тот безумен,
Кто не пошел, как идут все,
И сохнет грустно-вольнодумен,
В упрек Сатурновой косе.
Кто, заведенный любопытством
Из одиночества в толпу,
Нейдет в туманы за пиитством
По Вавилонскому столпу.
Кто, в общей чаше наслаждений
Удельных капель не считав,
Живет среди мирских сражений
Нейтральной жертвой злых орав,
И, бесполезно благороден,
Не ожидая мзды за ум,
Стоит в венце терновых дум,
Ни миру, ни себе не годен.

<1838>

ПРИМЕТЫ

Строго вес свой понимая,
Громовержец-великан,
Всем охотно всё прощая,
Гений сам себе тиран.
Мрачный пасынок природы,
Он заботливо щадит,
Проходя сквозь огонь и воды,
И безгласный зоофит;
И, неся уж крест спасенья
Детям мачехи своей,
Топит вихрь своих идей
В пустоте самосомненья.

Но посредственный умок,
Пресмыкающийся в стаде,
Век пирует под шумок

Гостем рая в общем аде.
И природа и судьба
Гладят деток по головке;
Вам открытья, вам борьба —
Он кобенится в обновке.
Вы несете мысль умам —
Вам ревет навстречу стадо;
Но возлюбленное чадо
Из-под пят, по головам,
От местечка до местечка
Продирается вперед.
Расступись, честной народ!
Пропусти мне человечка...

<1838>

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Русский дух

Родина, матушка! Бог с тобой, ты ли?
Здравствуй, кормилица Русь!
Что же мне дядьки да няньки твердили,
Будто я немцем вернусь?
Много гостинцев привез я, родимая!
Сказок-то, сказок-то!.. век не прочесть.
Русская мысль моя та ж, невредимая:
Дядьки же — немцы; так немцы и есть!
Понавидался я дикой их расплоди!
Многое множество перенял штук;
Понаметался я, слава те господи:
Разной их мудрости, всяких наук.
Но ни науки, ни хитрости разные
Сердца не сдвинули с места во мне.
Ум — весть уму; но инстинкты-то грязные
Больно противны в чужой стороне.

Видел я Францию — чудо чудовое! —
Наша губерния, много что две;
Славное племечко! Жаль, безголовое,
Есть ведь их братии в мати Москве!

Видел Неметчину — там, вместо кофий,
Дуют всё пиво, по-ихнему «Bier»,
А знаменитая их философия —
Просто из грецкой подкладки мундир.
Видел и Англию — оба парламента
Взял в руки — как бишь? — да, О'Коннель!
Там, вишь, политике нет департамента;
Там она всякому то же, что *Ale*,¹
Был и в Туретчине — что за оказия?
Турки-то, право-ну, то же, что мы!
Только там всё еще — сказано: Азия! —
Царство и чалм, и бород, и чумы.
Был я, — да где я, родная, не странствовал!
Только нигде не нашел я страны,
Где б ум был волен,

Где бы все совести были равны.
Люди повсюду ежи себялюбия,
Всюду безмозглые жертвы страстей;
Бьются из праздности все трудолюбия,
Все их нечестия из-за честей!
Все от востока до запада мнения —
Те же химеры бессонниц иль сна;
Вся философия — план заблуждения,
Лодочки в море без бухт и без дна.
Наша планета — престол человечества, —
Полно, не тартар ли высших планет?
Нашей душе далеко до отечества,
Мысли же нашей нигде его нет.
Страждем и ропщем мы все без изъятия,
Бьемся — и что же? — в итоге с нулем
Две-три гремушки да гомеопатия;
Впрочем, всё так же и мрем и живем.
Стонет весь шар наш; но много ли разности
В жизни его или звезд, например?
Мир есть гармония в разнообразности;
Жизнь — стон существ — атмосфера всех сфер.
Что же нам делать? — Не просто ль, по-нашему,
Жить на авось ли, спустя рукава?
Если живется вам, немцы, по-вашему —

¹ Пиво (англ.).— *Ред.*

С богом! А нам — лишь росла б трын-трава!
Ну, узнаешь ли меня ты, родимая?
Вот какой мудрости я понавез!
Всё ли здорова ты, богохранимая? ..

Русь

Много ли радости! Мало ли слез!

Дух

Знаю, всё знаю! — У нас, за границею,
Только и пишут, что всё про тебя,
Плачь да крепись! — А воздам я сторицею,
Если подымут меня из себя!

<1838>

А. Н. В.

Я был тогда еще ребенок,
И в городке глухих невежд
Вертел, угрюмый дикаренок,
Калейдоскоп своих надежд,
Когда, гуляя да мечтая,
Я вдруг подслушал у молвы,
Что есть поэт Бахчисарая,
Кавказ, Тригорское и вы.
О, как я бросился в расспросы,
Как стал просить, искать стихов!
И вот на жаркие упросы
Мне сдал журналы весь Тучков.
Тогда всходил «Московский вестник»
Витией славы на амвон
И «Телеграф», его совместник,
Еще был молод и учен.
Тогда еще жужжала скромно
Свои суждения «Пчела»,
Злой «Инвалид» хромал бездомно,
Сбираясь бить из-за угла,
И, вероятно, строя куры
Всему Парнасу наших муз,

Учил афишечный наш вкус
Ждать «Новостей литературы».
И много было всех имен
В ту благодатную годину:
О многих нет уж и помину,
Другие ждут иных времен.
Что до меня, в то время славы
Я привязался всей душой
К Москве и к «Вестнику»; но нравы
Уж там не те, и я другой.
Тогда не то: там был властитель
Всех дум России, всех сердец,
Мой дальний идол, мой учитель,
Он, незабвенный ваш певец!
Он, светозарный ум народа!
Несоблазнимый бич толпы,
Могучий гений перехода
С одной тропы на все тропы!
Он, дикий вопль, смягченный думой,
Высокий гимн в чаду пиров,
С душой то страстной, то угрюмой,
И с дивной музыкой стихов.
Каким обдуманым призывьем
Сияла мысль его чела!
Каким уверенным шаганьем
Он шел, сознав, что Русь пошла!
Как волновал он силой звуков
Всё поколение вперед,
И сколько нас и сколько внуков
Еще он двинет в новый ход!
Я упивался одиноко
Его Тиртеевским умом,
Когда безгранно и глубоко
Страдал и жил его стихом,
То умиление молитвы,
То необузданность любви,
То гвалт пиров, то клики битвы
Рождали жар в моей крови.
Я весь дрожал, не чуя сердца,
И замирала голова,
Когда объяли нововерца
Его волшебные слова.

В моих глазах рябило счастьем,
Приятно-сладостным вдали,
Мир цвел несбыточным участием,
Кивала другом чернь земли.
В ушах органно выли шумы,
Трещали трубы, я скакал...
И всё-то песни, всё-то думы
Я пел, и слушал, и слагал.
О, было время, гимн пророка
Творил пророка из меня,
Душа стонала без упрека,
И я, горя, молил огня.
Но что ж? — Влюбленный в этот «Вестник»,
Приют их всех, его родни,
Я стал их друг, их брат-ровесник,
И вот я здесь — а где они?
Где мой волшебник, мой Языков,
С разгульной чашей, с красотой,
С цевницей песен, с пиром кликов,
С своей тригорскою душой?
Где Веневитинов? — угрюмец,
Философ жизни в двадцать лет,
Он, сирый в мире вольнодумец,
Осиротивший мир и свет!
Где грустный демон Подолинский,
С глухим гудением стиха?..
Где Баратынский — Баратынский,
Ум, падший ангел без греха!
Где Хомяков, младенец веры,
С живой мелодиею строф?
Где русский Мур ирландской сферы,
Всегда задумчивый Козлов?
Где Ознобишин, мой восточник,
Игривый, страстный, полный сил?
Где этот Дельвиг, полуночник?..
Увы, как много уж могил!..

Давно ль они горели славой,
Гордились гением-вождем
И все рвались душою-лавой
«Промчатся с громом и огнем!»
Давно ли хлынул в мир широко

Их целый Нил — за валом вал,—
Животворя всю Русь далеко —
От финских и до крымских скал?
Давно ль, гремя в стране-равнине,
Их хор в ней поднял эхо-стон,
Еще стоящий и поныне,
Когда их песнь едва ль не сон? ..
И вот их нет. Учитель умер,
И школа тихо разошлась.
Журналы пали: каждый номер
Сбывает нагло желчь и грязь.
Литература стала рынок,
Где всё продажно — ум и яд,
Позор фигляров, гуд волюнок
И вой раздавленных ребят.
За тьмой возов не видно храмов,
А вместо гимнов и молитв
Стоит содом от буйных хамов
И сплошь азарт кулачных битв! ..

Теперь я понял превосходно
Ту раздражительную грусть,
Какой дышал он благородно,
Учимый Русью наизусть.
Вот он зачем, вплетаясь в братство
К паркетной черни, целый век
Ценил в душе аристократство,
Хоть был и русский человек.
Его рассудку было стыдно
Тонуть в ничтожестве певцов,
Ему убийственно-обидно
Казалось братство гаеров.
Он боязливо ненавидел
Нагое равенство людей,
И в мышцах гадов гений видел
Всю нищету своих идей.
Спасая честь своей особы
От пятен давки без борьбы,
Когда вокруг медузы злобы,—
Один эгид — свои рабы.
Но мог ли б он, дитя свободы,
Скликать готовых в кабалу? —

Он, воплощенный гнев природы
На скопы рабствующих злу!
И вот ему осталось средство —
Исчезть в толпу друзей на вы,
Чтоб сохранить и мысль и детство
Уже лавровой головы.
И выбрал он, брезгливый к стаду,
Сноснейший омут для души,
Где ум кружится до упаду,
Мотая жизнь и барыши.
И где, чтоб слыть за человека,
Должно, за скудостью ума,
Веществовать, по спросам века,
В гремушках общего ярма.
И тут, конечно, зверь на звере —
Везде один и тот же сброд!
Но тут не гурт, по крайней мере,
Не брот-гелертерский приход.
Он подчинится всем затеям
Семьи досужей и пустой,
Не даст стиха своим идеям,
Засыплет едких остротой;
Обманет праздность пированьем
В гурьбе изящных объедал,
И безотдушным прозябаньем
Сойдется с выскочками зал.
Он будет биться всем досугом
С ареной «тигров», спесь на спесь,
И победит врагом и другом
Их бесхарактерную смесь.
Он овладеет их хандрою
И, раб их вычур и одежд,
Восстанет думной головою
В высоком мнении невежд.
И если так, и план свершится,
Тогда — в то время — о, тогда
Ему вся масса подчинится,
Вся золотая их орда!
Он пробичует их жестоко
Одним властительным стихом,
И воспоеет тогда широко
И жизнь, и мир, и Русь с Петром.

Амвон гостиного вниманья
Обстанет Русь богатырей,
И прогремят его воззванья
До европейских дикарей...

Но он погиб. Борьба со светом —
Недолго чистая борьба...
Остался б просто он поэтом
Вдали, в глуши... Судьба! Судьба!
Какие жертвы ни приносит
Всеобщей жизни человек,
Его не ждет, его не просит,
Его отталкивает век.
Найти свой рок в простом повесе!..
Но это волки, это лес,
И есть всегда в подобном лесе
Свой Равальяк и свой Дантес.
Убийца был простой образчик
Тех отвратительных начал,
К которым трость и полуплащик
Так чудно идут в куклах зал.
Россия выставила гений,
Они — Европа на Руси,
Арена диких вожделений —
Слепили крест: возьми, неси!
Поэт поднял и нес достойно,
Пока мальчишка, в свой черед,
Не вздумал тешиться, спокойно
Ища над гением острот,
И он нашел. Поэт поддался,
Толпа захопала — ура!!
«Попался умник! Что? попался?»
Шабаш! пора шута с двора!»
Что оставалось тут поэту?
Просить, унизиться, снести?
Сойти со сцены? сдать свету
На мудро начатом пути?
Пропасть в толпу, в толкучий рынок,
На посмеяние рабам?..
Нет, поединок! поединок!
Стереть обидчика и срам!

Они стрелялись. Где? — в Европе!
Стал ярый гений — стал глупец.
Есть смерть в угаре, есть в утопе,
И есть надежда на свинец.
Судьба решит, кто ей дороже:
Глупец иль гений. — Раз-два-три! ..
Кого же нет? .. О боже, боже!
Он жив, но жив лишь до зари.
Зачем, зачем они хоронят
Его столь пышным большинством:
Его уж ниже не уронят
И не подымут торжеством.
Зачем идут в широких шляпах
Факелоносцы в два ряда?
К чему огни в презренных лапах?
Погашена его звезда.
Зачем так медленно ступает
Хор этих певчих? .. Ноты... флер...
О, как мне душу раздирает
Печальным воем этот хор!
Зачем идут они с крестами?
Не воскресить его, отцы!
«Молите господу сердцами!
Молитесь, братия-слепцы!»
Зачем под черные попоны
Впрягли так много лошадей?
Пусть ездят цугом на поклоны
Да давят таких людей.
К чему на этом катафалке
Стоит такой богатый гроб?
Его богатство было в палке,
Которой гений бил особ.
Зачем в мундирах, в звездах, в лентах
Идет пешком вся эта знать?
Ей ни в стихах, ни в монументах
Себя пред ним не оправдать.
На что в плерезах эти розы?
О лица женщин, это вы.
К чему, к чему все эти слезы!
Не переплакать вам молвы.
Зачем терзает так размерно
Глухая музыка толпу?

Всё переходно, всё неверно!
Мы все к могиле бьем тропу.
Зачем... Но тихо и прощально
Проходит шествие певца,
И сзади тянется печально
Ряд экипажей без конца.
Все тротуары, окна, крыши,
Вся мостовая — всё глаза;
И, мнится, в гнездах нет и мыши
И у жандармов есть слеза.

О, больно, больно. Сердце колет,
И давит душу вздох от слез.
Вот уж три года; но и сто лет
Не снимет Русь своих плерез.
Неужто он, наш гимн, наш гений,
Убит, отпет и схоронен?
Что скажут веки поколений?
Кем мог бы быть он заменен?
Неужто общая могила
Его, как землю, приняла?
И эта чернь не оживила
Его потухшего чела?
Когда с последним целованьем
Кидались тысячи на труп,
Зачем мольбой, зачем взываньем
Не отворили вещих губ!
Зачем дыханье, вопли, голос
И всемогущий взрыд жены
Не встрепонули хоть бы волос
На голове, забывшей сны!
Зачем ясины, розы, мирты
Не разбудили в теле дух!
И даже мускус, даже спирты
Не привели души в испуг?
Зачем не двинул он хоть бровью,
Не дрогнул жилкою руки,
Когда весь мир с такой любовью
Вкруг задыхался от тоски!
Зачем не встал он, ум бесценный,
И не сказал, смеясь, друзьям,

Что он для шутки, несравненный,
Был бледен, холоден и прям! . .

Увы, задержанные слезы
Не полились у всех ручьем.
Не расцвели зимою розы,
И не вздохнул он бытием!
Друзья стояли молчаливо,
Народ ходил, смотрел, шептал,
Студенты тискались ревниво,
А труп лежал, и всё лежал.

О, почему ж тогда природа
Не собрала всех лучших сил,
И этот вопль всего народа
Ее ума не умолил!
Зачем лежал он бездыханно,
Случайный гений этих душ,
Оставив всех, и так неожиданно,
Один поэт, боец и муж!
Его души не растревожил
Ни вздох, ни клик, ни плач людей:
Он умер,— умер и не ожил,
Не додал миру всех идей!
И вот печально и забвенно
Живет без гения страна:
Умы торгуются презренно,
И песнь с певцами попрана.
Его далекая гробница
Одна святыня для души,
И едет мыслить вся столица
В ее задумчивой глуши.
На белый мрамор каплют слезы,
Угрюмо ум вперяет взор,
И по челу мелькают грезы,
Как тень от облака меж гор.

И может быть, что Русь в печали
Нагрезит миру сонм голов,
Какие вряд существовали
Отрадной гордостью веков.
Восстанут, может быть, такие

Своенародные умы,
Которых гимнами впервые
Подыдем голову и мы.
Многоученная Европа,
Конечно, права между тем:
Мы прозябали вне окопа
Всех политических систем.
Ее искусства и науки
Цвели без нас и не для нас:
Рим передал не в наши руки
Останки свитков, вилл и ваз.
Не нам, не нам — ее народам
Да будет слава и позор,
Что, в торжестве чужим невзгодам,
Они валят к нам весь свой сор.
Но мы из этого же сора
Всё извлечем, всё разберем
И бурей, жаждущей простора,
Весь мир целебно обожжем.

Конечно, Русь и не вносила
Своих богов в их пантеон,
Одна ее крутая сила
Вставала пугалом племен.
Но, может быть, не так мы дики,
Как величает нас Париж,
И наши воинские клики
Не всё, чем бредит их вертиж.
Придет пора,— и я уверен,
Что после Пушкина уж нам
Не так отчаян и безмерен
Шаг к их всемирным образцам.
Что́ был он, в самом деле, в мире,
Который он же нам открыл,
Как не отзыв на русской лире
Тому, что Запад пел и выл?
Как не последний отголосок,
Которым русская душа
Сдалась, их «буйный недоносок»,
На песнь народа-торгаша?
Лорд Байрон был певец страданья
О том, что мир так зло нечист,

Глубокий вопль самосознания,
Что человек есть эгоист.
Но человек не англичанин:
Он и торгаш и людоед,
Однако ж был у них же Каннин,
У них же был и сам поэт.
Россия приняла стихии
Всей европейской кутерьмы.
И вот явился и в России
Такой же Байрон на умы.
Но он, высокий обожатель
Всемирно первого певца,
Не как невольный подражатель
Достиг народного венца.
Он тем велик, что, совпадая
С печалью английской души,
Постиг мечту родного края
И огласил ее в глуши.
Что пел Державин одиноко,
Что Ломоносов признавал,
То Пушкин выстрадал глубоко
И пред Европой отстоял.
Придет пора, и будут люди:
Он оправдается, зачем,
Едва раскрыв для песен груди,
Он чуть не смолк было совсем.
Никто не чувствовал в то время,
Когда он думал и не пел,
Какое тягостное бремя
Судьба дала ему в удел.
Его разрозненная школа
Едва ли знает и сама,
Что романтизм его раскола
Был гимн не русского ума.
Один Языков, может стать ся,
Как выраженье сам себя,
Учась, студентствуя, любя,
Умел по-русски выражаться;
И, может быть, еще досель
Не перестал в странах ученых
Учиться просто у мудреных,
Не льстясь на гниль и скороспель.

Они, сознав свои дороги,
Одни хотели и могли,
Ища в учении помощи,
Открыть, где клад родной земли.
И вот зачем умолкли оба,
И уж один, как Русь ни плачь,
Не запоет теперь из гроба,
Как пел меж бурь и неудач.
Ей остается лишь надежда,
Что он дал всем такой толчок,
Что и всеведа и невежда
Дадут грядущему оброк,
И, исполняя религиозно
Заветы гения, страна
Сознает рано или поздно
Идею собственного сна.

Я говорю, что мир восплещет,
Когда мы ринемся в него,
Когда в нем молнией заблещет
Штык примирителей всего.
Когда вторым Наполеоном
Мы их рассудим и уйдем,
И этот мир, объятый стоном,
Одушевим своим умом,—
Тогда опять замыслит здраво
Одной идеей целый свет,
И, оцененный величаво,
Восстанет в лаврах наш поэт.

Благословенно же то время,
Когда он жил и процветал!
Благословим же род и племя,
К которым он принадлежал!
Блажен тот взор, который видел
Его разумные черты,
Который светски не обидел
Его высокой простоты.
Блажен, кому еще сдается,
В уединеньи и в шуму,
Что будто голос раздается,
Знакомый чувству и уму.

Блажен, кто понял в человеке
Его достоинство и нрав,
И, полюбив в библиотеке,
Не разлюбил в пылу забав;
Чья, может статься, симпатія
Дышала розами певцу,
Иль чьих советов энергия
Крепила силы мудрецу.
Но — вы несказанно блаженней,
Ценя его нежнее всех:
Вам жить, что миг, благословенней,
Вам, что ни час, то сто утех!
Кто облегчал ему гоненье,
Кто говорил ему: живи!
Когда постигло заточенье
Любимца славы и любви,
Кто умирял его роптанья,
Пред кем он праздновал душой?
Ум одинокого страданья,
Не разумеемый толпой!
Кто извинял его ошибки,
Причуды гения в борьбе,
И всемогуществом улыбки
Мирил певца к его судьбе?
Кто приводил всё это в действие,
Не ждя ни лести, ни молвы?
Не ваше ль милое семейство,
Не вы ли сами? — Сто раз вы!

Примите ж вы за ваши чувства
Мой недостойный фимиам:
Когда б он жив был, жрец искусства,
Не я, а он кадил бы вам.
Но так как он уж нас оставил,
Примите жертву от меня:
И я пока живу для правил,
Для Прометеева огня.
Я не наискивался с лестью,
Я слишком дико горд умом, —
Но всей оказанной мне честью
Я сделан вашим должником.
И что скрывать: я рад глубоко,

Что мне судьба моя сама
Дает гордиться одиноко
Вниманьем вашего ума.
Приемом темного счастливец
В тот самый круг, где вхож был он,
Вы ободрили горделивца
На весь его душевный сон.
Мои ценители в особах,
Дававших гению приют!
Мой бедный дар, убитый в пробах,
Освистан всюду, но не тут!
Я тут, где лучшая оценка
Всегда была его трудам,—
И нет искусного оттенка
Моим презренным судиям!
И мог ли думать я, читая
Тринадцать лет тому назад,
Под говор мутного Дуная,
О силе соротских наяд,
О жаре в полдень, летней буре,
Закате солнца и о том,
Как воз <тот>, чудо по фигуре,
Считает бревна колесом,—
Что в захолустье черноморском,
Узнав про Сороть и Неву,
Сойдусь, мечтатель о Тригорском,
С его жильцами наяву!..

О, пусть слепая воля рока
Меня с певцами развела,
Пусть не увижу, как Востока,
Я меценатного села:
Но я узнал, кого там пели
Они, высокие,— и мне
Отрадно вторить на свирели
Их гимну, вечному вдвойне.
Я вижу вас в кругу всех ваших,
И, ум опальной головы,
Пою без лир их, пью без чаш их,
Да мирно здравствуете вы!
Да улыбается вам счастье,
Как ваша милая семья,

И да найдется беспристрастье,
Чтоб было строже к вам, чем я.
А я давно благословляю
Свою бесцветную судьбу,
Что я хоть изредка выдаю
Тех, кто постиг мою борьбу.
И что, гонявшись так напрасно
За тем, кого теперь — увы! —
Уж и оплакивать опасно,
Я очутился там, где вы:
Где есть ценящие в столице —
По виду русской — русский ум;
Где мнится мне, хоть он в гробнице,
Его приходом всякий шум;
Где мысль его авторитета
Цветет живей его письмен
И где бессмертный лавр поэта
Уж обнял буквы всех имен.

8 февраля 1840

А. И. ПАЛЬМ

Александр Иванович Пальм, сын лесничего, служившего потом чиновником в Вятке, родился в уездном городке Краснослободске, Пензенской губернии, в 1822 г. Мать его была крепостной. Воспитывался Пальм в Петербурге в Дворянском полку. Окончив курс в 1842 г., он выпущен был в гвардейский егерский полк, где в 1849 г. дослужился до чина поручика. С Петрашевским познакомился в августе 1847 г. и с тех пор стал посещать его «пятницы», ограничиваясь там, впрочем, пассивной ролью слушателя. На следствии Пальм заявил, что до знакомства с Петрашевским «не имел никакого понятия о социализме и либерализме... Понятиям о социализме обязан Петрашевскому, у которого брал читать книги, и социальные идеи, как новость... нравились».¹ Кроме Петрашевского, Пальм посещал также Н. А. Спешнева: присутствовал у него на том вечере, где петрашевцев Н. П. Григорьев читал свою «Солдатскую беседу». Это и было вменено ему в вину, как и присутствие при чтении «преступного письма литератора Белинского». Ближе всех Пальму из видных петрашевцев был С. Ф. Дуров. Позднее в романе «Алексей Слободин»² Пальм рассказал историю своего сближения с Рудковским-Дуровым, выведя себя под именем Андриюши Морица и отнеся первую встречу к 1845 г. (ч. IV, гл. 5). Мориц — «худенький, стройный офицер», с печатью «задумчивости, почти печали» на лице, «восторженный почитатель Жорж Занда»; он «посвящал даже свои стихотворения этой далекой звезде какого-то нового, чудного мира». В показаниях следственной комиссии Пальм признался, что «написал повесть «Против брака», но потом бросил ее».³ Кроме Морица с его жорж-зандизмом, есть несомненно автобиографические черты и в самом Алексее Сло-

¹ Петрашевцы. Сборник материалов под ред. П. Е. Щеголева, т. 3. М.—Л., 1928, стр. 188—189.

² «Вестник Европы», 1872, № 10—12 и 1873, № 2—3.

³ «Голос минувшего», 1915, № 11, стр. 16.

бодине, с его близостью к бунтарской народной стихии, к «воровскому» пути с «красным петухом». Безграмотная мать Алексея, с раскольничьей родней где-то в лесной глуши и с бессознательной симпатией к «Пугачу»,— мать самого Пальма, Анисья Алексеевна, урожденная Летносторонцева.

Помимо автобиографических черт в романе «Алексей Слободин», Пальм 40-х годов выведен еще в романе П. М. Ковалевского «Итоги жизни» под именем Сережи Камеева. Познакомившись с Федором Семеновичем Сорневым (С. Ф. Дуровым), Камеев «скоро и думал и смотрел на все, как Сорнев», а Сорнев «полюбил его, как любит старший брат меньшого...» Кроме Сорнева, восторг Камеева возбуждает также и Павлонеккий (т. е. Петрашевский).¹

Арестованный вместе с Дуровым и другими в ночь с 22 на 23 апреля 1849 г., Пальм был приговорен сперва к «смертной казни расстрелянием», но, в виду принесенного «в необдуманных поступках своих раскаяния», он присужден был, в конце концов, только к переводу «тем же чином» из гвардии в армию.² «Один Пальм прощен,— писал Достоевский брату через несколько часов после стояния на эшафоте,— его тем же чином в армию».³ Это, между прочим, подтверждает, что Пальм не отличался стойкостью убеждений и твердостью характера.

Поэзия не занимала большого места в деятельности Пальма. Начав печатать стихи тотчас же по выходе из корпуса под покровительством одного из корпусных преподавателей — Федора Кони, сочувственно отметившего в «Литературной газете» первые поэтические опыты бывшего своего ученика, Пальм после 1847 г. стихов уже не печатал (кроме одного стихотворения, включенного в роман «Алексей Слободин»), окончательно перейдя к прозе. Не вспомнил он о своих стихах и позже; все, что он успел напечатать в 1843—1847 годы, так и осталось затерянным в малоизвестных изданиях тех лет. В. Л. Комаровичем сделана первая попытка собрать поэтическую продукцию Пальма.

В 1869 г. Пальм растратил «вверенные ему по службе деньги», как гласило предъявленное ему обвинение. Дело слушалось в уголовном отделении харьковской судебной палаты 27 марта 1873 г. Защищал его В. Д. Спасович, речь которого является одним из источников биографии Пальма.⁴ По приговору суда Пальм провел три года в ссылке в Самарской губернии. Позже он всецело отдался литературной

¹ См. «Вестник Европы», 1883, № 1, стр. 198, 567.

² Петрашевцы, т. 3, стр. 337.

³ Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1. М.—Л., 1928, стр. 128.

⁴ В. Д. Спасович. Сочинения. СПб., 1913, т. 5.

и сценической деятельности: кроме повестей и романов, писал комедии, издавал газету «Театр» (1883), занимался антрепренерством, выступал сам на сцене. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. был военным корреспондентом «Нового времени». Умер Пальм 10 ноября 1885 г.

Два факта надо особо выделить в биографии Пальма: сохранившуюся на всю жизнь дружбу с С. Ф. Дуровым и написанный отчасти под ее влиянием автобиографический роман «Алексей Слободин. Семейная история», опубликованный в «Вестнике Европы» 1872—1873 гг. Первое отдельное издание его вышло в 1881 г. Как бы ни оценивать этот роман с художественной стороны, за ним несомненно остается значение мемуаров, правдиво освещающих историю кружка петрашевцев и живо характеризующих его виднейших представителей (кроме Рудковского — Дурова и самого Пальма — Морица, среди действующих лиц можно узнать Петрашевского, Ястржембского, Плещеева, может быть Достоевского). И недаром книга эта, выдержав, кроме журнального, два отдельных издания, все-таки оставалась до 1905 г. в числе полузапрещенных, не допускавшихся «к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях». Роман «Алексей Слободин» переиздавался и после Октябрьской революции.

Что касается личных отношений с Дуровым, то Пальм, как только друг его вернулся из Сибири, приютил его у себя — сперва в Одессе, потом в Полтаве, где он и оставался до конца жизни. Позже он сделал, что мог, в качестве литературного душеприказчика Дурова: издал несколько посмертных его стихотворений и попытался издать их все отдельной книгой.

Подобно другим петрашевцам, например Плещееву, Пальм до конца жизни чувствовал себя под особым полицейским и цензурным надзором: незадолго до смерти его повесть «Последний сон» «цензура не только запретила, но конфисковала рукопись...», как писал он сам об этом Г. Пальму.¹

¹ «Исторический вестник», 1911, № 3, стр. 1058.

ОПУСТЕЛЫЙ ДОМ

Плыву по взморию в часы безмолвной ночи,
Струистый след ладьи подернут серебром;
На темном берегу давно забытый дом
Всегда приветливо мои встречают очи.
Люблю беседовать с сим хладным мертвецом,
Любуюся его нестройною громадой,
Балконом, портиком, тяжелой колоннадой
И львами, спящими над рухнувшим крыльцом.
Когда-то дом роскошно красовался
Огнями, музыкой и говором речей.
Какой пловец тобою любовался,
Завидуя в душе уделу богачей?
В сих окнах легкие тогда мелькали тени,
И блесками ума, любезностью живой
Кого пленял тогда красавец молодой?
Не мучил ли кого насмешки злобный гений? . .
И что ж теперь, скажи, в далекие ль края
Судьбой заброшены безвестные нам лица,
Иль грустно прервана их повести страница?
И отчего, скажи, покинули тебя?
Погас ли ясный взор хозяйки благосклонной,
Очаровательной царицы прежних мод. . .
Но безответен ты; как сторож полусонный,
Задумчиво стоишь у лона тихих вод.
И на душе моей, утратами убитой,
Всё пусто, всё темно,— и не воскреснет вновь
Ни радость прежняя, ни прежняя любовь —
Порывы юности, так рано позабытой!

И ежели порой в истерзанную грудь
Невольно западут бывшие впечатленья,
Мне станет тяжело, я жажду отдохнуть,
И сердце просится в приют уединенья!
И молчалив я стал, и думами богат,
Как ты, пустынный дом, печальный мой собрат!

<1843>

ИЗ АНДРЕЯ ШЕНЬЕ

Я помню те года, я был еще дитёй —
Она тогда цвела роскошной красотой.
Бывало, я любил моей ручонкой смелой
Ей кудри развивать, касаться груди белой;
Она же, руку мне небрежно отклоня,
С притворной строгостью глядела на меня.
Бывало, пред толпой поклонников смущенной
Царица гордая привет свой благосклонный
Дарила нежно мне... и я не понимал,
Как сладко поцелуй волшебницы звучал!
И кто б не мучился в жару сердечной боли,
А я,— я не ценил моей счастливой доли...

<1843>

* * *

Много горя, много дум тяжелых
На моей душе лежит глубоко;
С малых лет спознался я с печалью
И побрел один путем-дорогой...
Да кому какое дело; всякий
От моей печали отвернется;
Любят люди ясную погоду,
А кому приглянется ненастье!

Как-то раз, весной, денек был теплый,
Зелень легкая поля одела.
Кто-то руку подал мне и взглядом
Братским отогрел мне сердце...

Он был сладок... скоро я проснулся,
И вокруг меня, как прежде, пусто!
Ах, забыть и сон пустой пора бы,
Только к сердцу привилось воспоминанье,

Словно пестрый мотылек к цветочку.
Крылышки его уж облетели,
Изнемог он, борется со смертью,
А цветка родного всё не кинет...

<1843>

ЭЛЕГИЯ

(Из Андрея Шенье)

Звезда вечерняя, люблю твой блеск печальный.
Он чист, как огонек любви первоначальной.
Блести, красавица, блести еще, пока
Диана бледная в прозрачных облаках
Великолепною не явится царицей,
Дай взору путника тобою насладиться.
Под сенью темных лип у шумного ручья
Порою поздною иду задумчив я;
Свети же мне, звезда, приветливей, светлее;
Не с тайным замыслом полночного злодея
Украдкой я брожу; в груди не месть кипит,
И под полой кинжал кровавый не блестит;
Нет, я люблю,— и разделить хочу я
Мечты моей души и сладость поцелуя;
И всё я думаю: в вечерней тишине,
Как нимфа легкая, она придет ко мне;
Как хороша она,— и взор ее чудесный
Блестит, как ты, звезда, между подруг небесных!

<1843>

ВОСПОМНЕНИЕ

Полон грустной думы,
С вами я расстался,
Может быть, надолго,

Навсегда, быть может.
Я был счастлив вами;
Вы меня любили;
В ваших ласках резвых
Забывал я горе...

С милой простотою
Вы под темным вязом
Робко мне вверяли
Сладкие надежды.
Но придет ли время
Счастья золотого?
Знать, не сбыться сказке,
Детской, простодушной!..
Полон грустной думы
Я брожу по свету;
Скучно мне; с друзьями
Не могу делить я
Молодых восторгов.
На привет веселый
Грустная улыбка —
Мой ответ безмолвный!..
Ваш прелестный образ,
Как в былое время,
Светит грустным взорам
Звездочкой попутной!
Может, жизнь вам — радость
В роскоши блестящей;
Вы довольны мужем,
Счастливы судьбою...
И погасла ль память
О далеком друге,
О былых минутах
Под зеленым вязом,
Неизменным небом?!
Навернется ль слезка
В светлых ваших глазках?
Встретите ли радость
Полным грусти взором?..

<1843>

СКАЗКА ПРО ЦАРЯ С ЦАРЕВНОЙ ДА ПРО ГУСЛЯРА С ЗАМОРСКИМ КОТОМ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Ты помнишь ли, мое прекрасное дитя,
Когда еще твои полуденные глазки
Не знали тайных дум, когда на всё шути
Глядела ты и старой няни сказки
С вниманьем слушала, покамест легкий сон
Тихонько не слетал на темные ресницы...
Тогда перед тобой, недвижим и смущен,
Как перед ангелом готов я был смириться!..
И мне казалось, в полупрозрачной мгле
Вокруг тебя вились туманные картины.
Они сбылись, дитя, и, с грустью на челе,
Перебираю я событий свиток длинный...
Ты, может, счастлива... кто знает?.. странен свет!
И под улыбкою так много мыслей черных...
Но полно...— видишь ли, я дал себе обет:
На память детских снов и сказок няньки вздорных
Тебе принести цветок моей больной мечты,
Цветок простой, и дикий, и ничтожный;
Но, верю,— на него хоть раз да взглянешь ты
В часы бессонницы мучительно-тревожной...

12 августа 1843

1

Близко моря-окияна,
На утесе на высоком
Высоко стоят палаты
С золочеными стенами
Да с чугунными столбами;
Зелен сад шумит на крыше,
А в саду, как стрелка, башня
В тучки серые впиался.
Утром, вечером на башню
Старый царь выходит часто;
И глядит он взором ясным
В море синее далеко.

В синем море за туманом
Два кораблика мелькают;
Паруса что грудь лебязья,
Флаги реют, словно птички;
Царь завидел, молвил слово;
Посылает слуг он верных,
Да наказ дает проведать:
«Из каких земель к нам гости,
Что несут нам на подарки,
Аль что вымолвить имеют?
Али, может, гость незваный
Захотел похвастать силой,
Наших стен отведать крепость,
Наших витязей отвагу?!»

Слуги низко поклонились;
Сели в лодочку резную,
Приударили по веслам.

Царь в палате разубранной
Ждет-пождет гостей нежданных.
Вот вошли, и все порядком
Бьют они челом; и смело
Первый держит речь такую:
«Семь нас братьев однокровных;
Королевского мы рода,
Из земли мы из заморской,
А к тебе пришли за делом:
За советом государским.
Дочь твоя лицом прекрасна,
Очи словно звезды блещут,
На щеках заря-румянец,
И морской белее пены
Грудь высокая царицы!
Крепко думали давно мы
И пришли к тебе с поклоном;
Наше царство всем богато,
Мы все молоды, и статны,
И с мечом давно знакомы;
По царице все мы тужим!
Молви доброе, царь, слово,
И тогда краса-царица

Выбирает пусть любого;
Кто приглянется по сердцу,
С тем и жить ей, веселиться
В бранных теремах высоких,
На шелках-парчах бесценных.
Остальные же мы, братья,
В страны дальние поедем
Поискать другого счастья!»
Царь безмолвен, сдвинул брови,
Дума очи осенила...
Выступает из приезжих
Молодец в собольей шапке
И ведет такие речи:
«Корабельщики мы гости,
Из восточного мы царства,
А пришли к тебе за делом:
За советом государским.
От царя мы от Гвидона
К тебе посланы с поклоном.
Широко его владенье,
И луга заповедные
Разбежались до моря.
Всем известно, в царстве нашем
Счету нет богатствам чудным:
Из сыты медовой реки
Плещут в берег изумрудный;
По жемчужному их ложу
Золотые ходят рыбки.
А в садах у нас цветистых
Много разных золотоперых
Птиц качается на ветках;
Там хрустальчаты палаты
Все с зеркальными полами,
С золотыми все верхами;
А у тех палат ли царских
Чудо-дерево большое;
С виду так оно, простое,
А лишь только царь выходит
Из палаты на крылечко,
Вдруг оно заводит песни
И поет про славу царску,
Про его шелковы кудри

Да про взгляд его соколий!
Царь велел просить,— как можно,
Что, дескать, в его палатах
Одного лишь нету чуда,
Нет царицы распрекрасной;
А молодой твоей бы дочке
Только там и потешаться
С королем Гвидоном славным
В теремах его чудесных;
Хочешь, царь,— возьми подарки,
Молви ласковое слово —
Сам Гвидон к тебе придет;
Коль не хочешь, не согласен,
Так готовь свои дружины:
Пир поднимется кровавый. . .»
Царь подарки принял честно,
А гостей своих приятных
Угостить велел по-царски;
А ответа ждать до завтра.

2

В светлом тереме высоком
У окна сидит царица
И глядит на сине море;
Ярко взор царицы блещет,
На устах ее улыбка;
Весела моя царица,
Словно вольная синичка!
Вдруг тяжелые затворы
Повернулись на петлях,
Повернулись, заскрипели —
И вошел в девичий терем
Государь, ее родитель.
Он приветливо к царице
С веселым лицом подходит,
Взговорил: «Моя утеха,
Долго в тереме далеком
Засиделась, заскучала;
Чай, тебе девичья доля
Опостылела? — Я знаю

Много витязей почетных,
Королей, царей могучих,
Все готовы в поле ратном
За тебя они сразиться;
От послов их нет отбоя;
Шлют подарки дорогие;
Всякий просит, дожидает
Веселым пирком скорее
Да за свадебку приняться.
Успокой мою ты старость...»—
«Нет, родитель, не крушися!
Весел мне родной мой терем;
В нем живу я беззаботно!
Много в небе звезд прекрасных,
В облаках орлов могучих!..
Всяк найдет себе подругу...
Да, я знаю, мой родитель,
Что ни с соколом залетным,
Ни с орлом-царем могучим
Не видать мово мне счастья!»
Старый царь подумал крепко:
Что за прихоть милой дочки?
Надо царством поплатиться.
Стал ее он прежде лаской
Уговаривать, да видит,
В ласках мало проку будет;
Он — угрозы, а царевна
Вся в слезах у ног отцовских
Просит милости единой:
«Государь ты, мой родитель,
Не губи свое рожденье;
Дай подумать, дай очнуться;
Как мою я брошу долю,
Расплету девичью косу!..»—
«Ну,— подумал царь,— что делать,—
Дам тебе я три дня сроку.
Там решай себе как знаешь;
А уж раз сказал я слово,
Так сдержу его я честно!»
И пошел от ней в раздумье:
«Что за притча, отчего бы
Ей замужества так бояться?..

Нет, не так тут что-то вышло! . . .»
И могучая десница
В бороде седой повисла. . .

3

Вот пришла ночь, и все люди добрые
Полеглися спать, на покой пошли,
Всяк по своему нраву и обычаю.
Ведь известно, на что нам и ночь дана!
И палаты царские приумолкнули,
Огоньки везде попритухнули,
Да одна лишь не спит дочка царская,
А сидит под окном одинешенька.
Звезды светятся одна краше другой;
В синем небе тучки не разгуливают;
Месяц в терем царевны заглядывает,
Да по морю струистому узоры расписывает.
Вдруг померкли ясны звездочки,
И неведомо куда месяц спрятался;
Словно треснуло небо дальнее,
Вьется молнией в нем змей огненный,
Сыплет искрами во все стороны;
Он летит, в клубок свивается,
На палаты царские змей спускается.
Он ударился о скалы прибрежные,
Повернулся и стал статным молодцом,
На царевну взглянул ясным соколом,
И резное окошечко опустилося,
Опустилося и пристукнуло. . .
И спешит царевна к своему милому,
Отворила ему двери потаенные
И ввела дружка в терем девичий.
Принимает он ее за ручки белые,
Прижимает к сердцу ретивому,
Целует долго в уста сахарны,
И пошли у них речи, всё как следует.
«Что ж ты, милая, призадумалась?»
Я встречал тебя всё веселенькой,
А теперь тебе словно свет постыл!
На устах твоих нет улыбочки,

А и глазки не играют и не радуются.
Обними ж меня, поцелуй скорей,
Да скажи-расскажи, о чем думушка?» —
«Ах, мой милый друг, знать, расстаться нам;
Не сидеть нам вдвоем ночью темною,
Не глядеть друг другу в очи жаркие,
Не бывать мне с тобой счастливою!
И недолог, знать, мой девичий век. . .
Понаехали к нам гости чужеземные,
И отдаст меня родной батюшка
На замужество в чужбинушку.
Что мне жизнь без тебя, жизнь постылая!
Я умру с тоски в злой неволюшке.
Мне нельзя никак и отказ сказать,
Что грозят они да войной идти,
Разорить и всё царство отцовское,
И палаты наши все огнем пожечь,
Да развеять прах по чисту полю,
А меня с родным во полон отвести;
Что тогда со мной будет, горемычною! . . .» —
«Не тужи, душа красна девица!
Что боишься ты: я ль люблю тебя?!
Али ты на меня не надеешься?»
И он стал ее утешать-миловать,
Имена ей все нежные причитывать.
«Ты скажи, скажи, дочка царская,
Уж ты хочешь ли быть всегда со мной,
Веки вечные жить играючи
В теремах моих далеко отсель,
Где заря горит, заря утренняя?
Будешь знать лишь одну ты заботушку,
Что ласкать, целовать твое милого.
Коль согласна ты, так послушайся,
Ото всех женихов откажися ты;
А как станет родитель принуждать тебя,
Ты взойди на крылечко тесовое
Да скажи: прости ты, мой батюшка!
И, не думая, не гадаючи,
Со крыльца того со тесового
Кинься прямо ты в море синее;
А уж я подхватчу, полечу с тобой
В страны дальние, мне подвластные,



Где ноге не быть человеческой;
Там не найдут нас очи вражие!»
Эх, царевна моя, ты родимая,
Уж зачем ты, царевна, согласилась!
Отдала ты злому духу свою душеньку.
Знать, опутал он тебя сетями лукавыми,
Обольстил он тебя речами льстивыми.
Да видала ль еще ты, дочка царская,
Как твой друг от тебя полетел, взвился
И погас за горой с зорькой утренней?
Ты заметила ль девку черную,
Из твоих сенных нелюбимую,
Что она, злодей, всё присматривала,
Речи тайные всё подслушивала
И пошла к твоему государю-батюшке
Обо всем рассказать — погубить тебя...

4

На широком, чистом поле
Ранней, утренней порою
Кони борзые гуляют,
Щиплют ярую пшеницу.
А на этом ли на поле,
Что не лебеди крылаты,
А шатры гостей приезжих
Вереницею белеют.
Во шатрах ли белоснежных
Храбры витязи готовят
Седла, бранные доспехи,
Копья, стрелы каленые;
Королевичи младые
Поспешают снарядиться
Да на царскую потеху
Показаться молодцами,
Силой-удалью похвастать:
Приглянуться дочке царской.
Вот урочный час приходит;
Громко в трубы затрубили,
Кличут клич во всем народе:
«Гей, народ ты православный!

Стар и млад сюда собирайся,
Дети малые, бегите,
Жены красные, девицы,
Всех зовет ваш царь могучий.
Да, кто сможет, похитрее
Пусть задаст гостям загадку;
И сама краса-царевна
Одарит того дарами!»

Что не ветры буйны подымались,
Не орлы по поднебесью разлетались,
А была потеха-удаль молодецкая.
Похвалялися то младые королевичи
Силой крепкою, молодечеством.
А простой народ не насмотрится,
Да замолкли все, рты разинули
И промеж себя тихо речь ведут:
«Не меньшей ли королевич-то получше всех,
Он хоть маленькой, да удаленькой,
А собой-то он такой красивенькой.
Что ж царевна не глядит на них,
А сидит она молчаливая,
Сама бледная, очи мутные.
Эй вы, братцы мои, уж вы слышали ль,
Она держится басурманщины
И ведет дружбу с силой-нехристью!
Ахти, жаль нам ее, голубушку,
Сизокрылую жаль лебедушку!..»

5

Будет день так уж в половину дня;
По домам пошел весь честной народ,
На коне иной, а ин сам о себе.
А услышали вдруг негаданно,
Что набат ли бьют в царском тереме,
Что зовет ли царь всех бояр своих,
Воевод седых, всё советчиков,
На широкий двор к золоту крыльцу —
Думать думушку, стало, крепкую.

Что не грозные тучи собиралися,
А сходилися, собиралися
На широкий двор к золоту крыльцу
Люди старые, люди умные.
И ни мало, и ни много их сбиралося —
Ровно сотенка без единого.
К ним выходит, словно солнышко,
Что не сотый ли боярин — сам могучий царь;
На крылечко он стал, приосанился,
На все стороны поклоняется;
И творят ему бояре челобитьице,
До земли бояре клонят головы.
И вскричал им царь громким голосом:
«Уж вы гой еси, люди мудрые,
Вы, бояре мои вековечные!
А созвал я вас на велик совет:
Как присудите, так и знаете;
Вы послушайте речи странные:
Что моя ли то дочь родимая,
А и ваша царевна любимая
Нейдет волею во замужество.
А вам ведомо, люди мудрые,
Что у нас теперь и зятя-то есть,
Женихи-то всё ведь почетные;
Люди храбрые, именитые,
А из роду они ведь королевского.
Вам еще теперь я поведаю,
Вы, бояре мои вековечные,
Что царевна-то им отказ чинит,
Им отказ чинит да обидливый;
А живет она еретичеством,
Не по нашему закону христианскому,
Не по обычаю православному!
И недобрые, звать, дела ведет
С змеем огненным, лютым чудищем.
А живет он, змей, где — неведомо,
И где царствует — не показано.
А что делать нам, люди мудрые,
Как тот змей на нас да войной пойдет?
Попалит он всю рать нашу храбрую,
Полонит, побьет наших витязей!
Пригадайте же да придумайте,

Что вы скажете, я послушаю».
Да и крепко бояре призадумались,
Смотрят в землю да помалчивают,
Седые бороды поглаживают.
И тут стали бояре меж собой шептать,
Да и учили бояре врознь толковать;
А всё не дали царю-батюшке
Ни совета, ни слова разумного.
День уж к вечеру, а совет стоит,
Да и царь стоит, дожидается,
Почитай, что царь осерчается.
И выходит тут воевода стар,
До земли царю бьет челом:
«Государь ты наш, красно солнышко,
Не вели казнить, вели миловать,
Да ответ держать, как придумали
Наши головы неразумные.
Женихи у нас есть почетные,
А меньшей из них и получше всех;
А товар у нас есть не купленный —
Что царевна ли наша ласкова;
Так вели скорей ты, наш батюшка,
Веселым пирком да за свадебку;
А разумный муж молоду жену
Станет сам учить уму-разуму
Да обычаю православному;
И покинет она еретичество.
А пойдет на нас тот поганый змей,
Станем мы стоять до последнего.
Отбывали беды встарь великие,
А уж эта ль беда — не беда по нас!
Мы отбудем ее грудью верною».
И, покончив речь, воевода стар
Челобитье царю клал великое.
Да на том совет все и поставили,
Порешили так бояре вековечные;
По домам своим расходилися,
А на завтра быть царской свадебке.

Как во славном царском городе
Весел праздник начинается,
С утра раннего поднимается.

Что по улицам, переулочкам
Не пола вода расстилалася;
Расстиляется, рассыпается
За толпой толпа люду всякого,
Тут и конного, тут и пешего;
Тут и гость-купец идет молодцом
С молодой своей со купчихою,
И посадской мужик напрямик бредет;
Дьяк горбатенькой пробирается;
Молодиц много разнаряженных;
Ребятишки бегут неразумные;
Много молодцов неповадчивых
И калек много перехожиих;
А идут-то все к палатам белокаменным,
К тем палатам, где царь-батюшка
На весь мир справляет свадьбу:
Выдает он свою дочь-красавицу
За царевича чужеземного.
Там в высоком, светлом тереме,
Изукрашенном златом, бархатом
И невесть каким богатством,
Начиналось пиrowанье — почетный пир,
Начиналось столованье — почетный стол,
Про бояр, князей, королевичей,
Про могучих храбрых витязей.
А чета сидит новобрачная
За столами белодубовыми
Да за скатертьми разубранными
И за яствами всё сахарными.
А промеж жениха с невестою,
Как орел сидит меж орлятами,
Сам ли старый наш и могучий царь;
Он берет стопу меду крепкого,
Омочил усы богатырские —
И чело его прояснилось,
Уста грозные улыгнулися.
А жених-то сидит, словно солнышко,
Как играет оно, поднимаючись;
А невеста сидит, словно зоренька,
Как пылает она перед солнышком.
В стороне брата-королевичи,
Дети княжие да боярские,

Всё почетные, именитые,
На скамьях сидят на решетчатых
И коврами крытых самотканными;
И ведут они речи скромные.
Рынды царские только бегают,
Угощают всех да и думают:
Не обнести кого, не обидеть бы.

А и был день так уж к вечеру,
А и был стол так уж в пол-столу;
Гости честные потешаются
Вполсыта они наедаются
Да вполупьяна напиваются;
В неисчетный раз чаши звонкие
Меж гостей идут, осушаются;
И везде пошли речи громкие.
А и в ту пору посересть двора
Весь простой народ потешается;
А поставлены посересть двора
Яства разные, сыты сладкие;
Да чаны стоят с зеленым вином,
А в чанах ковши чиста серебра;
И звенят ковши, круговой идут.
Распахнулся тут православный люд,
А отколь ни возьмишь — посересть двора
Молодой гусяр, добрый молодец;
На нем шапочка разнорядь с бобром,
А кафтан на нем дорогой камки.
И хорош-пригож молодой гусяр,
Лицо белое да румяное;
Из-под шапочки кудри сыплются;
А на поясе у него висят
Золоты гусли семиструнные.
И ведет в руках молодой гусяр
На златой цепи кота черного,
Баюна-кота лукоморского.
А как стал гусяр посересть двора,
Да вскричал гусяр громким голосом:
«Уж вы гой еси, слуги царские!
Весь житой народ, православный мир!
Вы поведайте царю вашему,
Что гусяр пришел из далеких стран,

А пришел гусяр к вам на свадьбу
Потешать гостей звонкой песенкой,
Жениха славить и с невестою!
У меня ль, гусяра, есть заморский кот
Да есть гусельцы семиструнные.
Хорошо гусяр поет песенки,
Хорошо гремят гусли звончаты,
А и лучше их не баюн ли кот —
Он припев поет, что ручей шумит,
Запеваёт кот, соловьем гремит!
А поет-то он не по-нашему,
А по-своему, по-заморскому.
Уж идите ж вы, слуги царские,
Да челом бейте царю вашему;
Пусть потешу я весь честной народ
И гостей царских именитых.
И не надо мне за те песенки
Ни златой казны, ни дареньица,
Ни камня самоцветного.
А доволен буду одной милостью:
От невесты-красы — словом ласковым,
От орла-жениха — чарой пенистой.

Гей, заморский кот!
Ты потешь народ —
Добрых молодцев,
Красных девушек,
Стариков, старух!
Молодец ли развернется,
Красна девка рассмеется,
А старухи, старики
Вспомнят старые грехи!
Уж ты, черный кот,
Распотешь народ!»

Выбегает отрок царский на широкий двор,
Принимает гусяра он за белые руки
И ведет в палаты златоверхие.
Вот вошел гусяр, скинул шапочку,
По плечам кудри мелкие рассыпались.
Он ударил челом во-первой царю,
А ударил в другой молодой чете,
Поклоняется на все стороны.
И несут стопы меду крепкого;

И поднес гусяру стопу тяжкую
Из своих ли рук сам жених-сокол:
«Ты гусяр лихой, спой нам песенку
Да взиграй в свои гусли звончаты!» —
«У девицы ль есть много думушек,
У меня ль-то есть много песенок;
Да одну я запомнил заветную,
Ту спою я вам, коль полюбится,
Не полюбится — не прогневайтесь!»
И белы персты по струнам разбегаются,
И звончей-громчей палаты оглашались;
Соловьём гусяр разливаётся,
А припевы ведёт сам заморский кот.

П Е С Н Я

С берегом шепчутся волны морские,
Вышла луна в небеса голубые;
Любоваться и небом и звучной волной
К берегам часто витязь ходил молодой.
Лейся, песенка, стройней,
Струнки, говорите!
Уж потешим мы гостей
На пиру веселом.
Витязь задумчиво ходит всю ночку;
Видит красавицу царскую дочку.
В нем забилося сердце сильней и жарчей...
Не сведет он с царевны сокольных очей!
С гор, позлащенных румяным закатом,
К ней на коне он несется крылатом,
И тайком в теремах, в тихом мраке ночей,
Чуть звучал поцелуй да журчанье речей...
Время в безмолвную даль уходило,
Скоро, царевна, ты друга забыла;
И другому с рукою любовь отдала
И, как радость, на брачном пиру весела!
В царстве неведомом, в царстве далеком
Витязь по милой тоскует глубоко;
Но тоски, но измены не в силах он снести,
И в груди закипела могучая месть.

Вот полетел он чрез горы, чрез доли;
Гостем явился на свадьбе веселой.

Что ж, невеста, ты скучна?

Аль не люби песни?

Аль узнала ты меня?

Я твой верный витязь! . .

Милый друг, я жених твой, ты будешь моей;

Ты царицею будешь холодных морей!

Вдруг раскат грохочет грома,
И во мраке полуночном
Вьются молнии змеями.
С треском рушатся палаты. . .
Царь, и гости, и бояре
Смотрят все в оцепененьи,
Как на облаке летучем
Высоко над синим морем
Змей с царевною несется;
И — исчез в дали туманной.
А над морем почернелым
Словно зарево зажглося,
И кровавым, чудным блеском
Море пенится и блещет.
Буря грозно закипела,
Вал девятый развернулся
И в холодные объятья
Принял новую царицу. . .

П Р И С К А З К А

Много лет с тех пор промчалось,
Много дел на свете деялось.
Старине глухой и помину нет,
Только разве что балагур какой
От бездельица сложит сказочку,
И немудрую и нескладную,
На забаву детям глупым,
На потеху красным девушкам.
Может, много было славных царств,
Городов стояло и побольше того;
А теперь не найти и погосту их!

Поле чистое там раскинулось;
Аль дремучий лес до небес стоит,
Аль над башнями разоренными
Ветерок летит с моря дального
И колышет траву пожелтелую,
Аль касаточка перелетная
Прошебечет там звонку песенку
И порхнет опять в теплу сторону...
Вы, красавицы, красны девушки,
Что давно про вас людьми старыми
Сложена была эта сказочка,
А теперь я вам скажу присказку;
Только, чур-одно, не перечить мне:
Скоро сказка лишь вам болтается,
Да не вдруг дела порешаются;
А конец придет своим чередом.

Солнце красное село за море,
Море тихое зарумянило:
Берег темною полосой лежит,
Не видать его за туманами;
А над берегом великан-утес
Головой седой поднимается,
В тучи серые упирается,
Не дворец стоит на утесе том,
А меж тучами, словно вороны,
Угнездились стены черные.
И погаснет лишь зорька алая,
Ночь темнехонька с неба спустится.
Всяк бежит того места страшного:
Корабельщик-гость едет в сторону,
Пешеход простой перекрестится,
Конный едет ли, конь пугается
И заржет-заржет, бьет копытами
И пойдет вперед смелой поступью.
Там в заветный миг, в полуночный час,
Совершается диво дивное:
Вдруг осветится море темное,
Берега блеснут ярким пламенем;
Зашумит, клубком извивается,
В искрах по небу рассыпается,
Из густых лесов, из-за синих гор

Богатырь летит, сам змей огненный.
Он ударился о седой утес
И рассыпался между черных стен...
На седой скале статным молодцем
Одинок сидит, пригорюнился,
Не сведет очей с моря темного,
Словно ждет кого, дожидается.
Подымается вихрь полуночный,
Разыгралось море буйное;
Удальцы-валы расступаются,
Тихо выплыла чудо-девица;
Косы русые в воду канули,
Очи чудные как огни горят...
И чуть слышатся речи тихие,
Речи тихие, непонятные...
И манит она рукой белою
Друга милого в волны синие
Отдохнуть с нею да понежиться...
Робко молодец озирается,
Сила тянет его чародейная —
И пустой стоит великан-утес!
И звучит волна, и шумит волна,
И плеснет волна в берег каменный!
Не видать в волнах морской девицы,
Не видать с нею добра молодца;
Лишь на месте том, где плыла она,
Чуть колышется пена белая...
Замирает шум моря бурного
Поцелуями сладкозвучными...

ОСВОБОЖДЕННЫЙ УЗНИК

Снова я на свободе; полнее вздохнуть,
Больше воздуха просит усталая грудь.

Я и весел и свеж,— а давно ли
В безотрадной томился неволе;

А давно ль я всё думал: вот идут за мной...
Да мурлыкал мне песни сосед за стеной...

После всё расскажу вам от скуки;
От цепей отдохнули бы руки.

Нет, не выдал я вас, и с неробким челом
Безответен стоял перед грозным судом!

Но, друзья мои, если б вы знали,
Как они меня тяжело пытали. . .

Я как камень молчал,— а сверху надо мной
Сквозь решетку окна яркий луч золотой

Проливала молодая денница —
И светила на мрачные лица. . .

Я взглянул на окно, я припомнил о вас,
Что друзья не забудут условленный час! . .

И теперь, на веселом просторе
Мы размыкаем старое горе!

Где мой конь? . . Полететь бы хотелось скорей,
Повидаться с одною знакомкой моей;

Что она — весела иль уныла,
Иль меня равнодушно забыла? . .

<1844>

ИЗ ШЕНЬЕ

Приди к ней поутру, когда, пробуждена,
Под легким пологом покоится она;
Ланиты жаркие играют алой кровью,
И грудь роскошная волнуется любовью,
А юное чело и полный неги взор
Еще ведут со сном неясный разговор. . .

<1844>

Не вверяйся, друг мой, счастью;
Счастье — ветер переменный.
Не вверяйся клятвам страстным,
Клятвы так обыкновенны.

Свежих чувств живые искры
Не растрачивай напрасно.
Верь, дается нам немного
Дней безоблачных и ясных.

В битве жизни ты увидишь
Мало витязей отважных:
Мы вперед идем беспечно,
Оглянуться только страшно...

<1844>

ЦЫГАНКЕ

1

Утомлен давно я скукой праздной;
Просит жизни дух тревожный мой,—
И в степи сухой, однообразной
Полюбил я табор кочевой.

2

Я люблю под серую палаткой
Разговор ленивый и прямой;
На траве до утра спится сладко,—
Тихо блещут звезды надо мной.

3

Ночь. Костры пылают прихотливо;
Осветились резкие черты —
Преодо мной так долго-молчаливо
Для чего остановилась ты? ..

Не гляди мне в очи так лукаво...
 Знаю всё, о чем гадаешь ты...
 Нестерпим твой взор, цыганка, право.
 Будит он все старые мечты!..

Нет, молчи; пророчества пустого
 Мне смешон ребяческий язык —
 Для меня грядущее не ново!
 Уж давно я веровать отвык... .

О былом рассказывать напрасно,—
 Этот вздор меня не веселит...
 Много бурь и много дней прекрасных
 Глубоко и вечно в сердце спит.

И страстей былых речам мятежным
 Я внимаю молча; — так порой
 Внемлет мать ребенка ласкам нежным
 И бог весть о чем скорбит душой.

1844

НАПУТНОЕ ЖЕЛАНИЕ

Ты еще молод; а, знаешь, дорогою трудной
 Долго скитаться тебе; много-много
 Встретится горя, тревог и тоски безрассудной...
 Будь непреклонен в борьбе непощадной и строгой.
 Видишь ли, черная туча по небу несется?
 Путник, послушай, ведь завтра иль ныне
 Черная туча отрадным дождем разольется.
 Легче вздохнешь ты под небом палящей пустыни... .

1844

НЯНЯ

«Здравствуй, родимый,— узнал ты старуху?
Помнишь ли няню твою? ..
Как же ты вырос,— высокий, пригожий! ..
Право, едва узнаю! ..

То-то, чай, как тебя любят, ласкают,
Ясный соколик ты мой! ..
Взял бы ты лучшую в свете невесту,—
Счастлива будет с тобой. . .

То-то, чай, все на тебя заглядятся,
Как на лихом ты коне
Выедешь в поле на царскую службу
В золоте весь, как в огне;

Кто ж тогда вспомнит, что молодец статный
Вырос у груди моей,
Слушать любил мои песенки, сказки,
Стоил бессонных ночей. . .

Что, одиноко мой век доживая,
Думать о нем я люблю;
Ставлю свечу пред святою иконой,
Божию мать молю? . . .»

И недомолвила старая няня;
Молча стоит предо мной,
Очи глядят, словно гаснут тихонько,—
И оживились слезой. . .

«Друг мой, о счастье моем ты гадала,
Что ж мне тебе говорить!
Теплую душу и чувство простое
Горько боюсь оскорбить. . .

Да, няня, видишь,— я счастлив и весел,
Нé о чем даже вздохнуть! ..
Только хотелось бы, слушая сказки,
Тихо и крепко заснуть. . .»

Посв. В. Г. Бенедиктову

Когда гляжу на городские зданья,
 Мечте одной тогда я отдан весь;
 Ведь здесь живут все страсти, все желанья —
 Добра и зла комическая смесь!..
 И сколько тут неведомых уроков,
 Как много драм с развязкой роковой,
 И мрачных дел под тайною немой,
 И прошлого болезненных упреков...
 И вместе всё — какой-то пестрый хлам
 Насмешливых и горьких эпитаграмм!..

И если кто перстом небес отмечен,
 Кто властелин могучих, полных дум,—
 Что ж, разве он в толпе людей замечен?
 Что ж, перед ним затихнет этот шум?..
 Как памятник когда-то громкой славы,
 Покойно-горд, как вековой гранит,
 Он на толпу с сознанием глядит,
 На почести у ней не просит права!..
 А между тем его золотые сны
 Не этой ли толпе посвящены!..

1844

* * *

Я сидел задумчив;
 Тишина кругом;
 Вечер догорает,
 Шелест за кустом...

Легче сновиденья
 Кто-то промелькнул,—
 И в зеленой чаше
 Взор мой потонул.

Долго развеялся
 Розовый покров;

Пробудилось в сердце
Много сладких снов...

Скрылся милый призрак,
Как мечта легок,—
Только по дорожке
Маленький следок...

<1845>

* * *

Гляжу я на твои глубокие морщины,
На взор полупотухший твой,—
И прежних лет твоих забытые кручины
Невольно оживают предо мной.

Быть может, всем за счастья миг единый
Ты поплатился с строгою судьбой...
И ты не сетуешь на ранние седины,
И с гордостью глядишь на век протекший твой...

А может быть, с душою очерствелой,
Чуждаясь теплых чувств, бояся думы смелой,
Рабом ничтожным шел ты с юношеских лет;

Добрел до гроба; что ж, зароят в яму тело,
И канет жизнь твоя, как жалкий пустицвет,
Как нищего в суде проигранное дело!..

<1845>

РУССКИЕ КАРТИНЫ

Зимней ночью в избушке лучина горит
Да жена молодая за пряжей сидит;
Запоет ли она — словно плачет о чем...
И вдруг смолкнет, сидит, подпершись кулаком.
А всё спит, только вьюга шумит на дворе,
Да лучина трещит, да петух запоет на заре,

Иль под разгул широкого веселья?
Иль с горя,— как в избе расплачется жена,
А голова болит с заботы да с похмелья?

Ты русской, бойкою задумана душой,—
Страдания, тоска, обида, плач разлуки,
Разгульной доле вечный упокой,
Насмешка над судьбой и жизнью... всё ты
в звуки

Перелила.— И мóлодец лихой,
Сдружася с ночью, один в глухую пору
Ту песню затянул назло судьбе самой,
Назло грозящему людскому приговору...
И в этот чудный миг ему всё решено!
Под шумным говором приветливой дубровы
Полегче на сердце,— а после всё равно...

. . . .

<1845>

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Сырое утро; дождь едва стучит в окно;
Дорога желтыми усыпана листьями.
Не видно неба,— всё кругом оно
Косматыми закрыто облаками...
И болен я с природой заодно.

Глядеть кругом и скучно и досадно,
И злоба странная тревожит, давит грудь:
Встречаешь всё насмешкой беспощадной,
В прошедшее не хочешь заглянуть,
А стало б хоть смешно, коль не отрадно...

Вот полка книг,— надежный, верный друг;
Но — хочешь ты труда, а дремлет ум ленивый,
А взор скользит — и книга выпала из рук.
И некуда лететь мечте нетерпеливой...
И непонятен мне родимой песни звук...
Так время тянется несносно до обеда:
Там щи горячие, вино согреют кровь,

Избавь лишь бог от глупого соседа;
Один — я вспомню всё, и песни и любовь,
И будет так тепла безмолвная беседа...

<1845>

ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА

Еще ребенком помнил он себя;
Года тянулись, и прошло их много,
И жажду дел бесславно погубя,

И осудив мечты его так строго...
А может быть — но сетовать смешно —
Идти б он мог иной дорогой!

Но воротить былого не дано;
Напрасно мысль горячая летала
В степях широких стороны родной;

Там перед ним всё грустно воскресало:
Деревня, барский дом и плут-француз,
Гостиная с портретом генерала,

Суровый взгляд отца, и хитрый трус
Дворецкий, барынь вид всегда жеманный
И ежедневных сплетней пошлый груз.

Потом отъезда час, давно желанный,
И встрепенулся робко детский ум,
И мучилась душа тревогой странной...

Но что ж ее могло встревожить? — Шум
Дорожных сборов, пыльные коляски
Иль вид отца? Но он всегда угрюм.

И темные задумывались глазки,
А к сердцу кралась тихая тоска.
И взор искал кругом приветной ласки...

Какой-то дух шептал ему, слегка
Касаясь темных жизни откровений;
Он говорил: «Взгляни, уж далека

Пора забав беспечных; словно тени,
Уходят дни; поверь, я разгадал
Неясный смысл ребяческих стремлений;

В глуши степной, дитя, ты выросал;
Никто, никто не тешился тобою;
Названий милых ты не повторял;

Никто, обняв заботливой рукою,
В глаза твои с любовью не глядел;
И детскою безгрешною мольбою

Ни за кого молиться ты не смел...
Но за тобою я слежу незримо;
И помню всё, как голос твой звенел

Речами смелыми, как в сад любимый
Ты убегал и, волю дав мечтам,
В тени густой ты засыпал... и мимо

Я пролетал, и долго по часам
Кудрявою головкой любовался,
Как по ланитам свежим, по устам

Румянец и пылал и разливался,
И светлый мир каких-то давних лет
На памяти печальной пробуждался...

Но — чу! тебя позвали: ждет обед,
И чинно ты явился с гувернером,
Гостям твердить подсказанный привет.

Всё лица важные, и разговором
Приличным заняты; отец подчас
Так зло острит с мелкопоместным сором;

Те улыбаются, низенько поклонясь.
Известный всем богатством и связями,
Меж них он был точь-в-точь удельный князь.

Заметил я меж прочими гостями,
Сидел в углу твой дядя, старый плут:
Он всё молчал, был очень занят щами.

Его давно майором все зовут;
Служил сперва в пехоте нижним чином;
Рассказывал, как крепости берут,

И вытянул, и стал он дворянином
Потомственным; и смолоду был хват,
Игрок — лишь не привык к гостиным!

На тетушке твоей он был женат;
Что ж, партия изрядная: и знаки
Отличия, солиден и богат!..

Вот через год, боясь какой-то справки
(Казна шутить не любит!), поскорей
Он чистой стал просить отставки,

И вышел чист. Потом, как зверь, в глухой норе
Забился, грабил мужичков; и вскоре
Жену похоронил в монастыре;

Исправно ел, пил, спал и плакал с горя;
И слыл у всех примерным добряком;
Но, о душевных качествах не споря

(По свету зло так смешано с добром,
Что толковать об этом стало глупо),
Недаром я остановил на нем

Отрадный взгляд: проглядывала скупю
Сухая жизнь сквозь черствые черты.
Глаза глядят бессмысленно и тупо...

Подумаешь, как пошл, как жалок ты,
О человек, и стоит ли родиться,
Чтобы в грязи житейской нищеты

Носить ярмо, наподличать, плодиться
И кануть без следа?.. Вопрос — зачем
Вам жизнь? — И думать не случится!..

Но светом я доволен между тем,
И проникать люблю в него глубоко;
И радуюсь — он вам закрыт и нем...»

И шепот замирал в тиши далекой.
Но мне кой-что позвольте пояснить,
Читатель мой, чтоб избежать упрека.

Я знаю, вам хотелось бы спросить,
Чей это шепот — светлого ли духа
Иль демона? И для чего вводить

В рассказ такие вздоры; сухо;
И черти надоели нам давно,
И к их речам уж так привыкло ухо,

Что клонит сон; и вяло и темно.
Вы правы; но, скажите, отчего же
(Случалось это с вами?) скучно, ни одной

Отрадной мысли; прошлое встревожа,
Напрасно ищешь яркого следа!
И радость и печаль равно похожи

На серый день осенний. И тогда
Не слышится ли безотвязный шепот
Больному слуху? — Лучшие года

Клеймит насмешкою безумный ропот
Измученной души... везде укор —
И в тине ежедневных хлопот

И в жажде благородной... всё позор!
Но что ж это? Постигнуть ум не смеет...
Последним ли порывам приговор?

Иль уж пора? Глухой могилой веет...
Или, пройдя годов тяжелый ряд,
Лишь злобу ты сберег? .. Иль это реет

Крылатый демон? Кинув грустный взгляд,
Он тешит нас рассказом ядовитым...
И жадно слушаешь, — и не слышать бы рад! ..

То было и с моим героем. Скрытый
Недуг в груди проснулся и сжигал
Его хандрой упорной; в мир забытый

(Как я рассказ мой начал) он вникал
Суровой думой, и не без волненья
Он многое теперь разоблачал;

Во всем искал он горького значенья.
И точно, им не в шутку овладел
Всегда печальный демон размышленья...

Быть может, это века нашего удел:
Мы всё хотим проникнуть иль разрушить.
Блажен, кто насладиться всем умел

Без дальних рассуждений!.. Но дослушать
Я вас прошу мой прерванный рассказ.
Мы перейдем, чтоб связи не нарушить,

Как наш герой припомнил грустный час
Тревожного и шумного отъезда.
Коляска желтая да тарантас

Весь день с утра стояли у подъезда.
В гостиной тьма народа — вся родня,
Соседи близкие, всего уезда

Диктаторы; кто, голову склоня,
Молчал, кто пил усердно на прощанье;
Ну, словом, шло как следует. Звеня

Бокалами, пошли на лобызанье
К отцу, все хором врали пустяки,
Твердя на путь приличные желанья.

Верны обрядам старым русаки —
Что похороны, свадьба, иль крестины,
Приезд, отъезд — нам всё равно с руки —

Попить, поесть, и к черту все кручины!..
Но кони тронулись, и зазвонил
Валдая дар напев свой скучно-длинный.

У церкви стой! — мы вышли; помню, был
Чудесен миг, — навертывались слезы...
Нас осенил крестом отец Панфил...

У церкви две старинные березы
На памятник шатром склонились,— миг
Еще чудесный!.. и — о проза, проза! —

Вдруг галки подняли ужасный крик;
И мы с могилой матери простились.
Кнутом лениво шевелил ящик;

До нас слова неясно доносились;
Вилась клубами по дороге пыль,
И мужички, зевая, расходились.

И так давно!.. О боже, не мечты ль
В расстроенном кипят воображеньи?..
Иль это, в самом деле, было!..

И много, много дум без выраженья
Его томило; сердце так полно
И пусто... Так просило раздраженья

И скоро так уж им утомлено!..
И он как будто вспомнил: неужели
Я прожил всё!.. Но чем же решено?..

Но я вам не сказал еще доселе,
Кто он, каков собой и как одет,
Военный, статский; верно б, вы хотели

Увидеть ярко схваченный портрет?
Я вам его представлю непременно,
Полюбите его,— иль, может, нет!

А впрочем, он герой обыкновенный,
Как, например, NN, и я, и вы.
Простимся же до будущей главы.

<1846>

Давно-давно я не писал стихов!
 Да и смешно в наш век утилитарный
 Для рифм, цезур и прочих пустяков
 Идти в толпе едва ли не бездарной
 Поэтов наших: стоит ли трудов
 Писать стихи — товар неблагодарный!
 Мечтать, бранить толпу и прочее — старо,
 И не к лицу, и, согласитесь,— скучно.
 К восторгам нынче стали равнодушны;
 А потому давно мое перо,
 Покинув мир поэзии бесплодной,
 Покорно стало прозе благородной.

Хоть о стихах поспорить бы я мог
 С разумным светом, но, увы, к чему же?
 Предмет пустой, а в споре что за прок.
 Не будет нам не лучше и не хуже...
 Итак-с, пишу.— В наш скучный уголок,

.
 Вы с юга милого судьбой занесены;
 Вы счастливы... дай бог вам много счастья!
 Пускай сквозь мглу житейского ненастья
 Вам чудятся святого детства сны...
 Пускай судьба вам светлый путь проложит...

.
 Из света нашего, где скучно, холодно...
 Переноситесь чаще, сердцем полным,
 Под кров приветный стороны родной,—
 К ее степям зеленым, вольным, ровным;
 Там так свежо; змеистой полосой
 Мелькает речка в камышах, безмолвно
 Глядит ночное небо, ветерок
 Приносит звуки песенки далекой,
 Цветут черешни — в зелени глубокой
 Весь потонул белёный хуторок,
 Где вы росли беспечно, где гуляли
 Задумчиво, где вы его узнали...

Да будет путеводною звездой
 Светить мне ваше счастье святое,

Как страннику, усталому душой,
Среди глупцов, где чувство молодое
Бойтся их насмешливости злой —
И замерло, и спит себе в покое...
О детство, детство! .. милая пора, —
Пора стихов, любви и увлечений! ..
Спросите, верно помнит друг Евгений
Те длинные, живые вечера;
Мы жили дружно, — я был весел и беспечен,
И опытом и роком не замечен...

Но, кажется, мой стих уж захромал, —
Не вывели неловкие октавы!
Что ж делать! Впрочем, я это писал
Не для потомства, денег или славы...
Я говорил от сердца... боже правый,
Ужели я с моим стихом простым
Смешон и странен, как дикарь угрюмый
На бале посреди веселья, шума,
Где всё блестит уменьем выказным,
Где всё смеется, хвастает искусно,
Где мне порой так тяжело, так грустно!

<1846>

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Облака толпой косматой
По небу летят,
Ниве юной, полосатой
Бурею грозят.

Ветер дремлет над травой,
Воздух душен стал;
Гром за синею горою
Глухо застонал.

Что ж, дитя, ты приуныла,
Что глядишь в окно?
Думы ль вещей тайной силой
Сердце смущено?

Молний блеск тебя пугает
В темных небесах,
От окошка отгоняет
Суеверный страх.

О, склонись головкой нежной
Ты к груди моей —
И в лицо грозе мятежной
Взглянем мы смелей. . .

Верь, гроза — не разрушенье. . .
И во всем живом
Будит силы обновленья
Благодатный гром. . .

Верь, что завтра утром рано
Заблестят поля;
Я с тобой вот так же стану —
Обниму тебя. . .

1846

ОБОЗ

Издалёка, дорогой большою
Потянулся обоз — всё с товаром;
Мужички — кто идет стороною,
А кто на воз прилег под рогожу.

На дворе стоит осень глухая;
Вишь ты, поле совсем пожелтело;
Уж езда на колесах плохая,
Колеи заковало морозом.

Ну, ты, пегой, плетись за другими!
Эх, долга будет нам путь-дорога!
Словно веник с сучками сухими
Встретишь липку,— и всё глушь такая!

А промчится почтовая тройка,
Как присвистнет осанистый парень,

Словно что-то припомнится горько...
Ну, ты, пегой, плетись помаленьку!

Налегке не езжали мы, что ли?
Аль коней не таких не видали?
Будет с нас — понатешились волей,
Прогулять мы сумели что было!

А как молодца взяли — женили,
Как женили да руки связали,
Да с заботой-нуждой породнили,—
Не взбредет и на ум эта удаль!

И плетись за другими ты следом
Да мурлычь себе глупую песню:
«Как жена поругалась с соседом»,
«Как солдатик пришел на побывку».

От села, от тяжелой неволи
Рад, куда б занесло тебя дальше...
Вот метель подымается в поле,
А ночлега еще и не видно.

Дай — приедем: хозяин знакомый;
Он ворота со скрипом отворит,
Поднесет да постелет соломы —
И так крепко проспидь до рассвета...

<1847>



Напрасно прозрачные глазки твои
Твердят о блаженстве любви.
Заглохшее сердце, молю, не тревожь —
В нем звуков былых не найдешь...

Пустые желанья и грезы страстей
Души не волнуют моей.
Испытан иною тяжелой борьбой
С моей безотрадной судьбой,

Забыл я порывы к немým небесам,
К воздушным и светлым мечтам. . .
Но память про вольную юность мою,
Как грустную тайну, люблю.

<1847>

* * *

И одного еще мы проводили. . .
И молча долго мы сидим; и очи
Потупили с каким-то страхом тайным . .
Все головы печальные поникли.
Как будто мы боимся перечесть
Оставшихся, как будто мы заране
Перебираем ряд прощаний горьких,—
И нашей мирной, молодой семье
Мы шепотом «отходную» читаем. . .
Ах, тяжело!— так тяжело, что слово,
В сию минуту сказанное громко,
Нам кажется нахальным святотатством. . .
Молчим. И это важное молчанье,
Как черная монашеская ряса,
Покрыло нас — и с миром разлучило. . .
А в комнате как будто кто-то ходит
И веют только что умолкнувшие речи. .

<1847>

Д. Д. АХШАРУМОВ

Дмитрий Дмитриевич Ахшарумов, сын военного историка и брат известного в свое время романиста, родился в Петербурге в 1823 г. В 1846 г. он окончил восточный факультет Петербургского университета со степенью кандидата. Любопытно, что выбор факультета совпал у него и у другого петрашевца — А. Н. Плещеева, а мотивы — с побуждениями, к тем же занятиям восточными языками у А. П. Баласогло. «В это время жизнь моя носилась в каких-то идеальных мечтаниях,— писал много лет спустя Ахшарумов в своих воспоминаниях,— отчего и избран был мною факультет восточных языков, чтобы уехать куда-то на дальний юго-восток».¹ В университете он сближается с Ипполитом Дебу.² «С ним вместе, я могу сказать, разрушены окончательно мои предрассудки: религиозные, нравственные и политические,— читаем в автобиографической записке Ахшарумова 1848 г., сохранившейся в его «деле».— Мы говорили часто, особенно он, о Франции, об ученых тамошних, о речах Тьера против Гизо; читали запрещенные книги, романы, «Революцию» Тьера, «Histoire de dix ans» Блана. В последнее время от него же получал я социальные книги, которые дали мне новый взгляд на жизнь».³ Дебу и познакомил Ахшарумова с Петрашевским, бывать у которого Ах-

¹ Д. Д. Ахшарумов. Из моих воспоминаний. СПб., 1905, стр. 14.

² Одно из стихотворений Ахшарумова, написанное позднее, в херсонском остроге, и обращенное к И. М. Дебу, кончалось следующим четверостишием:

Судьба с тобой нас разлучила:
Тебя загнала на Дунай,
Меня в Херсон похоронила,—
Прощай, мой милый друг, прощай!

(Из моих воспоминаний, стр. 46)

³ Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953, стр. 682.

Ахшарумов начал только в декабре 1848 г. Тогда же Ахшарумов сблизился с Н. С. Кашкиным, служившим, как и он (и оба брата Дебу), в азиатском департаменте министерства иностранных дел. В упомянутой рукописи Ахшарумова дана резкая критика монархического государства, подробно говорится о необходимости решительно изменить общественный строй, обрекающий людей на «невольническое жалкое состояние», и содержится призыв «говорить с народом», т. е. вести пропаганду в массах. «Я ничего наверное не знаю, знаю только то, что все зависит от народа, без них мы не подвинемся, не уйдем вперед; нам надо короче узнать наш народ и сблизиться с ним».¹

Примкнув к кружку «чистых» фурьеристов (по определению Н. А. Спешнева), собиравшихся с осени 1848 г. у Н. С. Кашкина, Ахшарумов оказался в числе самых активных членов этого кружка. В сохранившихся рукописях Ахшарумова и в показаниях следственной комиссии засвидетельствована его готовность пойти «на все», вплоть до «восстания против правительства», «для приведения в исполнение истины», т. е. «чтоб выстроить фаланстер Фурье». «Готов на все, даже если б потребовалась жизнь моя», — писал Ахшарумов.² Рукописи, отобранные у Ахшарумова при обыске и содержавшие высказывания о будущем социальном строе и необходимых для его осуществления преобразованиях, по мнению судившей петрашевцев комиссии, отличались «дерзостью и преступностью мыслей».

Арестованный вместе с другими в ночь с 22 на 23 апреля, Ахшарумов, не выдержав одиночного заключения, обратился к Николаю I с просьбой о помиловании, в чем всю жизнь потом раскаивался. Выведенный 22 декабря на эшафот, он выслушал сперва смертный приговор, затем окончательный: «на 4 года в военные арестанты, а потом в рядовые на Кавказ».³ Пробыв в арестантских ротах в Херсоне полтора года, Ахшарумов был переведен рядовым на Кавказ. В 1856 г. он выходит в отставку и поступает на медицинский факультет Дерптского университета, откуда в 1858 г. ему разрешено было перевестись в Медико-хирургическую академию в Петербурге. Окончив курс в 1862 г., Ахшарумов вступает на новое для него поприще: занимает разные врачебные должности, сотрудничает в медицинских (русских и немецких) журналах. Подав в 1882 г. в отставку, Ахшарумов с присущей ему энергией берется за свои воспоминания. По-

¹ Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 677.

² Дело петрашевцев, т. 3. М.—Л., 1951, стр. 142.

³ Петрашевцы. Сборник материалов под ред. П. Е. Щеголева, т. 3. М.—Л., 1928, стр. 335.

пытка напечатать первую часть их без имени автора в «Русской старине» за 1887 г. кончилась неудачей: книжка журнала была задержана и статья вырезана. Она увидела свет только в 1901 г. в «Вестнике Европы». В 1903 г. в Бреславле вышел немецкий ее перевод.¹ С сокращениями, в 200 экземплярах, без поступления в продажу, эта первая часть была издана в том же 1903 г. в г. Вольске по-русски. В 1904 г. в журнале «Мир божий» появилась вторая часть, и только в 1905 г. воспоминания появились наконец отдельной книгой. С литературной судьбой этих воспоминаний² тесно связана судьба стихотворных опытов Ахшарумова.

Писать стихи Ахшарумов начал еще студентом. Следы стихотворных опытов сохранились и в его «деле»; это — стихотворный набросок «Европа 1845» и упоминание об уничтоженных им произведениях: «Зимний дворец», стихотворение без заглавия, насмешливое и неприличное, в котором осуждался государь император».³ Но никогда, кажется, не уделяя Ахшарумов так много внимания своей музе, как в те восемь месяцев, которые он провел в 1849 г. в каземате Петропавловской крепости: «Я целый день почти говорил сам с собою вполголоса. Иногда посещал меня стихотворный бред, и я потешался им и выскабливал его гвоздем по стенам ... Иногда я был в возбужденном состоянии и говорил нараспев стихами, декламируя их... В этот период времени предавался я часто стихотворству, и оно меня по временам увлекало сильно. Я ходил по комнате взад и вперед то скоро, то тихо и бормотал сам с собою, а иногда громко декламировал и потом гвоздем писал на стенах или на полях книг сочиненное. Из таковых иные у меня сохранились отрывочно в памяти и были позднее, в 1856 г., воспроизведены».⁴

Стихотворения, написанные в Петропавловской крепости, и несколько других поэтических опытов более позднего времени Ахшарумов включил в свою книгу «Из моих воспоминаний». О тех его стихотворных произведениях, которые остались за пределами книги, имеются очень скудные сведения. Так, В. Семевский в своем вступительном очерке к книге воспоминаний Ахшарумова упоминает его «Поэму о рождении, жизни и смерти человека» (1898), приводя из нее восемь строк.⁵ Но никаких других сведений об этой поэме нет.

¹ Dr. Achscharumow. Memoiren. Breslau, 1903.

² Их третьей частью служат главы, появившиеся в «Современном мире» за 1908 г., №№ 4—5: «Из моих воспоминаний. Годы солдатской ссылки (1851—1857 гг.)».

³ Доклад генерал-аудиториата. Петрашевцы, т. 3, стр. 157, 163.

⁴ Д. Ахшарумов. Из моих воспоминаний, стр. 50, 56—58.

⁵ См. там же, стр. XIX.

До конца жизни Ахшарумов сохранил любовь к свободе. Характерно, что во время московского восстания в 1905 г. восьмидесятидвухлетний петрашевец порывался идти на баррикады. Обращаясь к своей жене, он взволнованно восклицал: «Эмилия, слышите? Там дерутся! Собирайтесь, я еду, я еду! Я хочу идти на баррикады!»¹ О политических настроениях Ахшарумова после 1905 г. свидетельствуют стихи, сохранившиеся в его письме к В. И. Семевскому от 23 октября 1907 года:

Министров глупых циркуляры
Летят в народ, как злые кары.
И губернаторам подчас
Не сдобровать от их проказ.
Всем трудно, тяжело живется,
Кто ждет чего, кто духом пал.
И каждый лишь кряхтит да жметя,
Как бы предсмертный час настал.
Но слышен гул, гул громовой,
И пахнет в воздухе грозой.
Стемнело всё, зарницы блещут,
Всё громче слышен грозный гул,
Под громом бури затрепещет,
Проснется всякий, кто заснул.

Ахшарумов умер в 1910 году, на восемьдесят восьмом году жизни.

¹ «Русское богатство», 1910, № 2, стр. 128.

* * *

Едва я на ногах — шатаюсь, как пьяный,
Мысль отуманена, и голова горит.
Ох! тяжело сидеть в тюрьме поганой —
В ее стенах один я, как живой, зарыт:
Томлюсь, переносу тяжелые лишенья
Свободы, воздуха и голоса людей,
Всё в одиночестве, в тюремном заключеньи,
При кликах часовых, шептаньях сторожей,
Иль шумной беготне со связками ключей.
И колокольный звон, всегда однообразный,
Переливаясь, и день и ночь звучит;
Куда ни поглядишь — тюрьмы вид безобразный,
Перед глазами всё шпиц крепостной торчит.
Ох, тяжко, тяжко мне, — мои воспоминанья
Влекут меня в былые счастья дни,
И плакать хочется: без слез мои рыданья —
Их заменяет смех, трепещущий в груди.
И злобой и тоской исполненный глубокой,
Я хохочу один здесь одинокой.
О боже праведный! Спаси и сохрани
Мой павший дух в тюрьме от истомленья.
Сибирь и каторга — мечты мои одни, —
В них счастье всё мое и радость избавленья.

1849

* * *

Позором века
Для человека
Стоит тюрьма.
Туда сажают
И запирают —
Там полутьма.

И, задыхаясь,
В грязи валяясь,
Там люди ждут,
Пока всё длится,
Пока свершится
Над ними суд.

Обитель страха,
Куда с размаха
Вдруг я попал;
Где одинокой
В тоске жестокой
Я духом пал!

И всё зеваю,
Без слез рыдаю —
Нет больше сил!
О боже, боже!
Что ж это, что же
Ты мне судил!

1849

* * *

Как длинны эти дни, как долго это время,
Не понимаю я, как я переношу,
Темницы тягостной мучительное бремя,
Как не задохнусь я и всё ещё живу,
Как в жилах моих кровь ещё бежит и льется,—
Испорченная кровь гонимого судьбой?

Как сердце у меня в груди не разобьется,
Замученное всё темничною тоской!
О жизнь свободная! вернешься ль ты ко мне?
Увижу ль снова вас, друзья, мои родные!
Или мне суждено погибнуть здесь, в тюрьме?
Ах! божий суд жесток, как и суды людские!

1849

* * *

Земля, несчастная земля,—
Мир стонов, жалоб и мученья!
На ней вся жизнь под гнетом зла
И всюду плач,— со дня рожденья;
В делах людских — раздор и крик,
И трубный звук, и гул орудий,
И вопль, и дикой славы клик;
Друг друга жгут и режут люди!
Но время лучшее придет:
Война кровавая пройдет,
Земля произрастет плодами,
И бедный мученик-народ
Свободу жизни обретет
С ее высокими страстями:
Обильный хлеб взрастет над взрытыми
полями,
И нищая земля покроется дворцами!

Тогда и для земной планеты
Настанет период иной.
Не будет ни зимы, ни лета,
Изменится наш шар земной:
Эклиптика с экватором сольется,
И будет вечная весна...
И для людей другая жизнь начнется —
Гармонией живой исполнится она.
Тогда изменятся и люди и природа,
И будут на земле — мир, счастье
и свобода!

1849

День за днем всё идет да идет,—
 Что прошло — не вернется обратно,
 Время месяцы, годы несет,
 И пройдет наша жизнь безвозвратно.

И пройдут все людские нелепости,
 Всё исчезнет — и тюрьмы и крепости,
 И не будут сажать в них людей,
 Как в железные клетки зверей.

И века за веками катятся,
 Застилает их мрак и туман,
 Не узнаешь, куда они мчатся...
 Там пустыня, где был океан!

Изменяется жизнь всей вселенной,
 В новых образах всё зацветет,
 Но закон, и закон неизменный —
 Всё пройдет, всё умрет, что живет.

Не умрет одна мысль лишь живая —
 В ней бессмертье и вечность лежит,
 В ней дыханье — весна молодая,
 И бесчислен ее чудный вид:

То в земле червячком обитает,
 То плывет в океане китом,
 Вольной птицей под небом летает,
 По земле мчится быстрым конем.

Ярким солнцем на небе сияет,
 Катит волны, гремит в облаках
 И в бесчисленных звездах блистает,
 Разносясь в разноцветных лучах;

Она в мире живет Аполлоном,
 Со глубокою думой в очах,
 С звонкой лирой, с челом вдохновенным
 И могучею песнью в устах.

Вы, горящие в небе светила!
Гор вершины, моря и леса!
Вы скажите мне, где эта сила,
Что такие творит чудеса?

Но ответа не дав, всё шумели
Океаны, моря и леса,
И светила на небе горели...
Одни горы ответом гласили —
По ущельям своим и скалам
Громким эхо вопрос раскатили
И подняли его к небесам!

1849

* * *

Гора высокая, вершина чуть видна,
Пустыня жаркая, нет ни дождя, ни тени;
Вся тернием густым обложена она
И знойным воздухом удушливых растений.
И мне, бессильному, досталось идти
По столь тяжелому пустынному пути!..
И я иду по нем, едва переступаю,
Шатаюсь, иду, иду, и за собой
Кровавые следы страданья оставляю,—
Судьба жестокая свершилась надо мной!
Со взором ищущим, палящими устами
Иду, от крутизны мне сердце в грудь стучит;
И солнце жжет и жжет меня лучами,
Грудь задыхается, и голова горит!
Куда ж ведет меня пустынный путь, мне новый?
На эту высь и даль — туда мне не взойти...
И с ужасом смотрел я на мой путь терновый,
И оглянулся я, нельзя ль назад сойти.
И вдруг глазам моим видение предстало —
Я женщину увидел пред собой:
Чудовище передо мной стояло
Ужасной вышины, с огромной головой,
И руки грязные с участием простирало:
Старуха мерзкая, отжившая свой век,
Не мытая со дня рожденья,

На ней болезнь, разврат и преступленье —
Всё, чем когда-либо был гадок человек;
Навешены на ней сокровища земли —
И жемчуг, и алмаз, и золота куски,
Но язвами покрыто ее тело
И из-под золотой блистающей парчи
Рубаха черная лохмотьями висела.
Глава лохматая покровом величавым
Покрыта вся, как твердою броней,
Кругом штыки, мечи, доспехи дикой славы,
И там же наверху лежал закон кровавый,
И эшафот стоял с отрубленной главой.
На раменах ее столицы возвышались,
И между ними был и наш шпиц крепостной,
И он не меньше всех блистал своей главой.
И там же близ церквей построены темницы,
И за решетками, едва просунув нос,
Виднелись в окнах всё замученные лица:
В глазах их не было ни капли больше слез,
И нечем было им ни плакать, ни молиться.
Глазам не веря, я, испуганный, стоял:
«Откуда предо мной ужасное виденье?
Откуда ты взялось, и кто тебя призвал,
Ужель и ты, творца великого творенье,
Имеешь право жить, живое существо?!
Ужель в груди твоей есть жизнь и сердце бьется,
И кровь, живая кровь, по жилам твоим льется?
Ужасен образ твой и страшно бытие!»
Я заслонил глаза, закрыл лицо руками,
Но образ предо мной стоял всё, как живой,
И звук пронзительный, и громкий и глухой,
Вдруг оглушил меня ужасными словами:
«Дитя мое! Со мной ведь ты давно знаком,
Чего ж боишься ты? приди в мои объятия!
Я отнесу тебя в родной твой край и дом,
Я возвращу тебе друзей, родных и братьев!»
Я бросился бежать — она за мной вослед:
«Тебя избавлю я от этих мук и бед;
Дитя мое! Ужель меня ты не узнал?
Я мать твоя,— она мне говорила,—
Вот у меня сосцы,— не ты ли их сосал?
Мой друг, мое дитя, не я ль тебя вскормила?»

От изумленья я чуть мертвый не упал,
Но страхом гибели мне сердце всё облило,
И легок стал мне путь, где я изнемогал:
Я в гору бросился бежать изо всей силы,
И долго, долго я, испуганный, бежал,
Ужасный образ тот из глаз моих пропал,
И я, измученный, на землю повалился...

:
В пустыне знойной я лежал без чувств, немой,
Но вот, очнувшись вновь, я к жизни пробудился
И вдруг почувствовал прохладу над собой,
Как будто целый лес шумел и шевелился,
И осыпаям был я пылью водяной;
Смотрю — густая сень, качаяся ветвями,
Широколиственно склонилась надо мной,
И, рассыпаяся журчащими струями,
Бил из земли фонтан; всё свежестью дышало
И ароматами цветов благоухало.
Откуда ты взялась, таинственная сень,
И кто тебя взрастил в пустыне в знойный день?!
Живой родник гремел, журчал, бежал ручьями,
И я прильнул к нему палящими устами
И жажду утолил...
О непостижная природа, жизни мать,
Иль бог, всесильный бог, святое провиденье!
Ты знаешь, что кому, когда и как подать,
Погибшему послать и отдых и спасенье!..

Меж тем стемнело всё,— я на горе стоял...
И, оглянувшись, увидел, изумленный,
Тот город, где я жил, томился и страдал,—
Там, в глубине внизу, огнями освещенный,
Он как бы в пропасти передо мной мерцал!

1849

* * *

Судьба жестокая свершилась надо мной.
От смертной казни я едва освобожденный
Стою среди снегов, один, в стране чужой,
В остроге, как в тюрьме, погибнуть осужденный.

Прощай, мой милый край, семья моя родная!
Всё лучшее, что в жизни я любил,
И родина моя, столица дорогая!
Я с вами счастлив был, но счастья не ценил.

Вас больше нет при мне, судьбы рукой суровой
В изгнание дальнее влекусь я,— скорбь в душе!
Так, вихрем сорванный от дерева родного,
Летит зеленый лист увянуть вдалеке!..

Свободы я лишен, и в бегстве нет спасенья;
В обители снегов один я здесь стою...
Кому я выскажу тяжелые мученья,
Которые теснят и давят грудь мою?

Услышьте ж вы меня, дремучие леса!
Одни свидетели и жалоб, и страданья,
И с жизнью моего последнего прощанья;
И вы, горящие святые небеса!

Декабрь 1849

* * *

Ах, сколько звезд на небесах,
И как они горят!
Есть жизнь вдали, в других мирах,
Они нам говорят:

«Земля — ничто, смотри кругом,
Как блещет всё живым огнем,
Тебя мы ждем, тебя мы ждем,
Тебя зовем, тебя зовем!»

Декабрь 1849

ХЕРСОНЬ

Степная глушь, Сибирь вторая,
Херсонь, далекая Херсонь,
Куда, российский снег бросая,
Меня завез курьерский конь.

Зима без снега, ветер, вьюга
Оледеневших средь равнин;
А летом солнца зной, недуги,—
Вот край, где я живу один!

Где я, тоску превозмогая,
Хожу и бледный и худой,
С обритой полуголовой —
Под тяжелой лапой <Николая>.

В неволе жизнь моя томится,
Среди убийц, среди воров,
Ах, лучше мне они сторицей,
Чем мир жиреющих рабов;

Здесь душно, грязно, вши заели,
Я худ и голоден всегда,
Но и они все похудели,
И их замучила беда!

Мое исполнилось желанье —
Из каземата вышел я
Во многолюдное собранье
Людей-страдальцев, как и я!

1850

Н. Е. РУДЫКОВСКОМУ

На жизнь я еду иль на смерть, кто знает,
На бранный наш воинственный Кавказ,
Надежда счастьем еще меня ласкает,
Но больше, может быть, я не увижу вас!
Я столько здесь страдал, меня здесь все
забыли,

Мне тяжело смотреть на эти все места,
Я проклял бы Херсон, когда б вы в нем
не жили,

Но вы меня навек с ним примирили,
И я б желал вернуться вновь сюда!

. . .

Теперь я пережил тоски однообразной,
Неволи дни и еду в дальний путь,
И скоро пред собой узрю Казбек алмазный
И Шата девственную грудь.
Кавказ! Солдата жизнь меня там ожидает;
Как воин, брошусь я в огонь, в опасный бой,
Где лезвие блестит и пуля пролетает.
И если выйду я из битв еще живой,
И если бог вернет еще мне жизнь былого,
И после долгих лет заеду сюда снова —
Взглянуть на те места, в которых я страдал,
И вас застану здесь, как вас теперь застал,
Тогда вас обниму, как друга, как родного,
Которого давно в разлуке не видал.

1851

* * *

Мои острожные друзья,
Мои товарищи былые!
Вас не забыть, вас помню я —
Вы предо мною как живые;
Мне слышны ваши голоса
И ваши песни, ваши сказки —
Их слушал я не полчаса. . .
И ваши топанье и пляски,
С бряцаньем на ногах цепей,
Под блеск лучин из камышей.

1898

С. Ф. ДУРОВ

Сергей Федорович Дуров родился в 1816 г. в Орловской губернии, в имении отца, полковника в отставке. Воспитывался в Петербурге, в Университетском благородном пансионе, преобразованном в 1830 г. в Первую гимназию (ныне 321-я средняя школа). Имя Сергея Дурова упомянуто в списках воспитанников, поступивших в пансион в 1828 г. и окончивших его в 1833 г.¹ Одно из первых тогда учебных заведений в России, Университетский благородный пансион в Петербурге насчитывал среди своих бывших воспитанников А. И. Подолинского, С. А. Соболевского, М. И. Глинку и др.; всего тем же годами ранее Дурова курс в нем окончил И. И. Панаев, в воспоминаниях которого говорится о литературных интересах воспитанников пансиона.² Преданиями и средой пансиона может до известной степени объясняться пушкинская традиция в поэзии самого Дурова.

По окончании пансиона Дуров вынужден был сразу же поступить на службу, сперва — помощником бухгалтера в государственный коммерческий банк, в 1840 г. — в канцелярию морского министерства. В 1847 г. он выходит в отставку³ и живет исключительно на литературные гонорары, кроме стихов печатая также и прозу: повести, «физиологические очерки» и критические статьи; пробует также писать для театра.⁴ Вместе с ним живут в это время два его друга: поэт

¹ «Пятидесятилетие С.-Петербургской Первой гимназии 1830—1880. Историческая записка, составленная по поручению педагогического совета Д. Н. Соловьевым». СПб., 1880, стр. 152, 382, 388.

² См. И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Л., 1950, стр. 7—20

³ В этом же году становится членом Вольного экономического общества.

⁴ Библиографию сочинений Дурова см. в статье Б. Л. Модзалевского в «Русском биографическом словаре», том «Дабелов — Дядьковский». СПб., 1905, стр. 727—729.

Пальм и музыкант-любитель, чиновник Щелков,¹ о чем первый рассказал позднее в своем автобиографическом романе «Алексей Слободин». Одно из главных действующих лиц романа, Григорий Васильевич Рудковский, по заявлению самого автора, и есть Сергей Федорович Дуров. Посвященные ему страницы написаны с большой теплотой и с полным знанием всех обстоятельств его жизни; они представляют поэтому ценный биографический материал. Вот как рисует Пальм в своем романе облик Дурова:

«В одном многоэтажном доме у Семеновского моста квартиру № 10 занимал Григорий Васильевич Рудковский.² .. Квартира была записана в домовый книгу на имя коллежского асессора Рудковского, а жили в ней постоянно двое-трое его приятелей, не считая случайных посетителей, гостивших иногда по нескольку дней. В 10-м номере часто раздавались звуки скрипки, виолончеля, фортепиано ... Пение слышалось постоянно, потому что жильцы были горячие поклонники Рубини, Виардо и Тамбурины ... В одной комнате набрасывались на бумагу бойкие эскизы будущих картин или меткие карикатуры на приятелей и на лиц, почему-либо известных всему Петербургу; в другом — дописывалась повесть, фельетон или скандировались звучные строфы новоиспеченного стихотворения ... Рудковскому в это время было лет за тридцать; смуглый, с заметною сединою на висках, без малейшего признака мускульной силы,—грудь впалая, движения осторожные, как будто изнеженные, неумеренное угощение носа из простой табакерки и скептическое, отчасти даже циничское отношение к сердечным делишкам молодежи,—он казался преждевременным старцем. Но, с другой стороны, нервная горячность в споре, энтузиазм перед смелым проявлением ума, таланта и воли, где бы и в чем бы они ни проявлялись, трогательная, почти женская сочувственность к чужому страданию и, наконец, непримиримая ненависть к лицемерию, защищавшему всякие житейские неправды,— всё это обличало в Рудковском «душу живу» и ставило на видное место среди окружавшей его молодежи...»³

¹ А. Д. Щелков был соседом по камере Д. Д. Ахшарумова во время заключения петрашевцев в Петропавловской крепости. О нем и о его песнях («он пел, как соловей поет в клетке») Ахшарумов рассказывает в книге «Из моих воспоминаний», СПб., 1905, стр. 30—31, 40.

² Ср. в воспоминаниях А. П. Милюкова: «Дуров жил тогда вместе с Пальмом и Алексеем Дмитриевичем Щелковым на Гороховой улице, за Семеновским мостом» (Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, стр. 175).

³ «Алексей Слободин. Семейная история из времен петрашевцев», ч. 4, гл. IV. «Вестник Европы», 1873, № 2, стр. 500—502.

Кроме «Алексея Слободина», литературный портрет Дурова сохранился в романе «Итоги жизни» П. М. Ковалевского, где Дуров выведен под именем Сорнева или просто Федора Семеновича, «с прямыми черными на длинной шее космами волос и тоже черными глазами, толстыми губами на желчном и худом лице; с насмешливым и вечно изумленным глупостью людей взглядом; с вечною иронией в движениях и словах; и отношении отрицательное к всему на свете... Надо было ему отдать справедливость: в качестве ли общего Мефистофеля или только ментора Камеева (Пальма) — он оставался неизменно юмористом и смешил до слез. Где был Сорнев, там и смех... Были у него, однако, полосы, когда от желчи все ему казалось желтым. И какими же тогда рассказами неправд, позорного порабощения, гнета, грубого самоуправства, кражи и насилий доводил он до негодования тех, кто доходил чуть не до истерики от смеха».¹

«Пятницы» Петрашевского Дуров начал посещать, как сам показал потом следственной комиссии, в 1847 г., а познакомился с Петрашевским в 1846 г. На собрании 25 марта 1849 г. «при рассуждении о том, каким образом должно восстанавливать подведомственные лица против власти», высказался за то, чтоб «показывать зло в его начале, т. е. в законе и государе».² На другом собрании (22 апреля) говорил о способах проведения в литературу своих идей; и, наконец, в третий раз говорил, при поддержке со стороны Баласогло, о семейных и родственных связях как о путях для человека, в чем можно усматривать отголосок соответствующих идей Фурье. Впрочем, фурьеристом Дуров во время следствия себя не признал.³

Гораздо заметнее роль Дурова в качестве одного из инициаторов самостоятельного «дуровского» кружка, отколовшегося от главного в конце 1848 г. Относительно его «фракционных» отличий высказано было в литературе о петрашевцах несколько разных мнений. Не было, однако, обращено должное внимание на существенную особенность его, в отличие от кружка Петрашевского: на связанную с ним попытку агитационного использования художественной литературы. О начале самостоятельных собраний у Дурова сохранилось несколько свидетельств в показаниях их участников: Спешнева, Пальма, Достоевского, Филиппова, Ламанского, Милюкова, самого Дурова и в позднейшем письме А. Н. Майкова к П. А. Висковатову. Везде

¹ «Вестник Европы», 1883, № 1, стр. 176—179.

² Петрашевцы. Сборник материалов под ред. П. Е. Щеголева, т. 3. М.—Л., 1928, стр. 179.

³ См. «Голос минувшего», 1915, № 11, стр. 9—11.

отмечается литературный уклон вновь образованного кружка как главное его отличие от кружка Петрашевского. Для Ламанского, например, дуровцы — «литературная партия»; а Пальм передает следующие слова Дурова: «Петрашевский, как бык, уперся в философию и полигику; он изящных искусств не понимает и будет только портить наши вечера».¹ Разумеется, речь шла не об «искусстве для искусства», а об агитационном использовании «изящных искусств». Это подтверждает позднейший рассказ А. Н. Майкова (в письме к П. А. Висковатову) о попытке Достоевского в январе 1849 г., т. е. как раз в то время, когда складывался кружок Дурова, привлечь и его, Майкова, к делу организации тайной типографии, которое задумано было, как говорил Достоевский, «людьми поделнее», чем Петрашевский, и куда Петрашевского решили не принимать.² Из перечня этих «людей поделнее» сразу же становится видно, что это и есть кружок Дурова, тем более что его самого можно было в то время, по словам Семенова-Тянь-Шанского, «считать революционером, т. е. человеком, желавшим провести либеральные реформы путем насилия».³

О политическом радикализме Дурова, напоминающем радикализм декабристов, говорит одно из последних его стихотворений (1863): «Н. Д. П—ой» (Н. Д. Пушкиной). В нем нетрудно обнаружить следы усвоенной под влиянием идей декабристов исторической оценки самодержавия. О русском народе здесь говорится:

Как крепко в нем свободное начало,
Как десяти столетий было мало,
Чтоб в нем убить его гражданский дух.

Об уважении Дурова к декабристам свидетельствует также его неудержимая ненависть к своему родственнику — Я. И. Ростовцеву, автору доноса Николаю I накануне 14 декабря. «Стоило, например, употребить при нем <Дурове>, хотя бы невзначай, в разговоре имя его родственника, генерала (впоследствии графа) Якова Ивановича Ростовцева,— и он забывал всякую меру сдержанности...»⁴ Слова Дурова на одном из собраний у Петрашевского о том, что начало зла коренится «в законе и государе», свидетельствуют о том же.

¹ «Голос минувшего», 1915, № 12, стр. 34.

² См. Петрашевцы в воспоминаниях современников. Сборник материалов. Составил П. Е. Щеголев. М.—Л., 1926, стр. 22—23.

³ П. П. Семенов-Тянь-Шанский. Детство и юность. СПб., 1917, стр. 255.

⁴ П. К. Мартынов. В переломе века. «Исторический вестник», 1895, № 11, стр. 451.

Литературные собрания у Дурова имели своей целью подготовку выступлений, рассчитанных и на более широкую аудиторию. Это видно хотя бы из того, что все материалы, читавшиеся на собраниях кружка («Солдатская беседа» Н. П. Григорьева, перевод из Ламеннэ А. П. Милюкова, письмо Белинского к Гоголю и т. д.), они тотчас пытались распространять нелегальным путем в списках.

Нравственный облик Дурова той поры сохранился в целом ряде следственных показаний 1849 г. Обязательность Дурова, не раз отмеченная в романах Пальма и Ковалевского, видна также из стихотворных к нему посланий. В одном провинциальном альбоме (с датой: «май 1844 г.») сохранилось посвященное Дурову стихотворение К. Доводчикова, печатавшего иногда свои стихи в «Литературной газете» 40-х годов и сблизившегося в один из своих приездов в Петербург с Пальмом и Дуровым:

...Ты сердцем добр, твой светел ум,
Пусть будет вечно осенять
Тебя святая благодать.
Заключенный враг приличий света,
Я образ милого поэта
И самый звук твоих речей,
Верь, сохрани в душе моей!¹

В том же 1844 г., рядом с одним из первых стихотворений самого Дурова, в альманахе «Молодик» помещены стихи другого сотрудника «Литературной газеты», Н. Третьякова:

С. Ф. Д.

Как раб, зарывший свой талант,
Скрываешь ты свой дар чудесный,
Ты чувством, мыслями богат,
Тебе знаком язык небесный.
Для друга расщедрись, скупец,
Прими мой вызов благородный,
Открой таинственный ларец,
Где скрыт талант твой самородный.
Взгляни: не одного тебя
Луч солнца греет во вселенной.
И ты рожден не для себя:
Ты жрец искусства вдохновенный.
О, помни притчу, друг-поэт!
Не будь рабом презренной лени
И чудным блеском вдохновений
Ты освети печальный свет.²

¹ Е. Опочинин. Рыдающие души. «Голос минувшего», 1916, № 12, стр. 223—224.

² «Молодик на 1844 год. Украинский литературный сборник, издаваемый И. Е. Бецким». СПб., 1844, стр. 31.

Достоевский так отзывался о Дурове в своих показаниях: «Я знаю Дурова как за самого незлобивого человека; но, вместе с тем, он болезненно раздражителен, раздражителен до припадков, горяч, не удерживается на слова, забывается и даже из противоречия говорит иногда против себя, против своих задушевных убеждений, когда раздражен на кого-нибудь. Близкие Дурова, Щелков и Пальм, еще лучше меня знают его несчастный характер...»¹

С. Яновский в своих воспоминаниях говорит, что в то время «Федор Михайлович, разговаривая... о лицах, составлявших кружок Петрашевского, любил с особенным сочувствием отзываться о Дурове, называя его постоянно человеком очень умным и с убеждениями...»² 22 декабря 1849 г. на Семеновском плацу Достоевский и Дуров, стоя рядом, выслушали смертный приговор. «Я успел ... обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними»,— в тот же день, несколько часов спустя, писал Достоевский брату.³ Второй приговор им обоим гласил: «лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в крепостях на 8 лет», с одинаковой для обоих поправкой Николая I: «на четыре года, а потом рядовым».⁴

Проститься с ссыльно-каторжными, перед самой их отправкой в Сибирь, допущены были в Петропавловскую крепость два другие, легко отделавшиеся «дуровца»: Милюков и Михаил Достоевский. «Мы ждали довольно долго,— рассказывает в своих воспоминаниях Милюков,— так что крепостные куранты раза два успели проиграть четверть на своих разнотонных колокольчиках. Но вот дверь отворилась, за нею брякнули приклады ружей, и в сопровождении офицера вошли Ф. М. Достоевский и С. Ф. Дуров. Горячо пожали мы друг другу руки. Несмотря на восьмимесячное заключение в казематах, они почти не переменялись: то же серьезное спокойствие на лице одного, та же приветливая улыбка у другого. Оба уже одеты были в дорожное арестантское платье — в полушубках и валенках... Ни малейшей жалобы не высказали ни тот, ни другой на строгость суда или суровость приговора. Перспектива каторжной жизни не страшала их,

¹ Н. Ф. Бельчиков. Достоевский в процессе петрашевцев. М.—Л., 1936, стр. 125.

² Петрашевцы в воспоминаниях современников, стр. 79.

³ Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1. Под ред. А. С. Долинина. М.—Л., 1928, стр. 128—129.

⁴ Петрашевцы, т. 3, стр. 335.

и, конечно, в это время они не предчувствовали, как она отзовется на их здоровье...»¹

В тот же день Дуров, вместе с Достоевским и Ястржембским, был в кандалах отправлен в Сибирь. Тяжелое путешествие на саних в сопровождении жандармов описано Достоевским в письме его к брату.² В «Дневнике писателя» за 1873 г. он рассказал о встрече, устроенной «путешественникам» в Тобольске женами декабристов.³ Согласно воспоминаниям М. Д. Францевой, одна из этих «великих страдалиц», Н. Д. Фонвизина-Пушина, особенно много сделавшая для Дурова, устроила, кроме встречи, также проводы.⁴ В Омск они прибыли через три дня. «Началось с того,— писал потом Достоевский брату,— что плац-майор Кривцов нас обоих, меня и Дурова, обругал дураками за наше дело и обещался при первом проступке наказывать нас телесно».⁵

Как отозвалась на Дурове четырехлетняя каторга? Об этом дают представление несколько строк седьмой главы «Записок из мертвого дома» Достоевского. «Я с ужасом смотрел на одного из моих товарищей (из дворян), как он гас в остроге, как свечка. Вошел он в него вместе со мною, еще молодой, красивый, бодрый, а вышел полуразрушенный, седой, без ног, с одышкой». Но болезнь не сломила Дурова. Сохранились любопытные воспоминания о нем, записанные со слов несших в омском остроге карательную службу так называемых «морячков», т. е. гардемаринов, разжалованных в 1849 г. в рядовые. С. Ф. Дуров «и под двухцветной курткой с тузом на спине казался баричем. Высокого роста, статный и красивый, он держал голову высоко, его большие, черные навывкате глаза, несмотря на их близорукость, смотрели ласково, и уста как бы улыбались всякому. Шапку он носил с заломом на затылке и имел вид весельчака даже в минуты тяжелых невзгод. С каждым арестантом он обходился ласково, и арестанты любили его. Но он был изнурен болезнью и зачастую едва мог ходить: Его ноги тряслись и с трудом носили хилое, ослабленное тело. Несмотря на это, он не падал духом, старался казаться веселым и заглушал боли тела остроумными шутками и смехом». С. Ф. Дуров «вызывал к себе всеобщее сочувствие. Несмотря

¹ А. П. Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, стр. 193—197.

² Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 133—135.

³ Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 9. СПб., 1891, стр. 170—171.

⁴ «Исторический вестник», 1888, № 6, стр. 628—630.

⁵ Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 135. Ср. с этим гл. VIII «Записок из мертвого дома».

на крайне болезненный и изнуренный вид, он всем интересовался, любил входить в соприкосновение с интересовавшею его общео, внеострожно, людскою жизнью и был сердечно благодарен за всякое посильное облегчение или материальную помощь. Говорил он обо всем охотно, даже вступал в споры и мог увлекать своим живым и горячим словом слушателя. В нем чувствовалась правдивая, искреннеубежденная и энергичная натура, которую не могло сломить несчастье, и за это он пользовался большей, чем Ф. М. Достоевский, симпатией. . . »¹

В «мертвом доме» Дуров остался не только революционером, но, если верить «морячкам», и поэтом. Однажды, когда местное начальство доискивалось, кто из арестантов пишет на него жалобы, и спрашивало каждого арестанта по очереди, не пишет ли он вообще что-нибудь, Дуров, будучи спрошен, ответил: «Зачем писать, когда мы, поэты, можем петь. . . петь приятней, чем писать. . . »²

«В зиму 1853—1854 годов,— продолжает свой рассказ Мартьянов,— С. Ф. Дуров и Ф. М. Достоевский окончили срок пребывания в крепости и выпущены рядовыми в сибирские линейные батальоны: первый — в 3-й (в Петропавловске), а последний — в 7-й (в Семипалатинске)».³ Но, прежде чем разлучиться, Дуров и Достоевский провели еще около месяца под одной крышей в Омске, уже на свободе, в гостеприимном доме К. И. Иванова, зятя декабриста Анненкова, о чем жене его П. Е. Анненковой Достоевский писал из Семипалатинска 18 октября 1855 г.: «Я всегда буду помнить, что с самого прибытия моего в Сибирь вы и все превосходное семейство ваше брали и во мне и в товарищах моих по несчастью полное и искреннее участие. . . Полтора года назад, когда я и Дуров вышли из каторги, мы провели почти целый месяц в их (Ивановых) доме». «Вы, вероятно, уже знаете,— прибавляет затем Достоевский,— что Дуров по слабости здоровья выпущен из военной службы и поступил в гражданскую, в Омске. . . Мы с ним не переписываемся, хотя, конечно, друг об друге хорошо помним».⁴ Пребывание Дурова в Петропавловске рядовым было, таким образом, непродолжительно. 22 марта 1855 г. Дурова переводят в Омск канцелярским служащим 4-го разряда в областном управлении сибирских киргизов. Оставаясь здесь до второй половины 1857 г., он сближается за это время с сослуживцем своим Чоканом Валихановым, известным этнографом, внушавшим

¹ П. К. Мартьянов. В переломе века. «Исторический вестник», 1895, № 11, стр. 448, 451.

² Там же. стр. 456.

³ Там же, стр. 460.

⁴ Ф. М. Достоевский. Письма, т. 1, стр. 162.

всем, кто знал его, интерес к себе и симпатию. В конце 1856 г. Дурову позволено было вернуться в Россию. В Омске, перед отъездом, Дурова встретил Г. Н. Потанин. Воспоминания его об этой встрече — лучшее, что написано о Дурове современниками.

Свой рассказ о Дурове Потанин заканчивает сравнением его с Рудковским в романе у Пальма. «Правда,— говорит он,— портрет Дурова и у Пальма написан в сочувственном тоне... Но все-таки портрет вышел бледным; вместо интересного проповедника тут описан либеральный департаментский чиновник. Речи, вставленные в уста Дурова (Рудковского), не зажигательны; главное, нет протестующей дуровской души... Пальмовский Дуров не тот, которого я слышал в Омске... Может быть, Дуров — мой фетиш, но вернее, я думаю, Пальм был не в состоянии одухотворить своего героя до уровня действительности».¹ Это в состоянии зато был сделать Достоевский: черты Дурова несомненно есть в образе Версилова из романа «Подорожник».

Фактические данные об окончании сибирской ссылки сообщает в биографической заметке о Дурове Пальм: «В 1856 г. дозволено Дурову вернуться из Сибири, в 1857 г. возвращено дворянство и только в 1863 г. разрешено жить в столицах. Из этого краткого перечня постепенных улучшений положения Дурова видно, что никакими особенными льготами он не пользовался — и терпеливо, покорно нес свой крест, не взывая ни к кому об участливом облегчении своей судьбы».² Переезд из Сибири в Россию совершился, надо думать, летом 1857 г., — в согласии с указанием Потанина. Стихотворение «С. Ф. Д...ву», которым Плещеев из Оренбурга напутствовал Дурова, отправлявшегося в Одессу к Пальму, датировано: 18 июля 1857 г. Около этого времени и состоялся переезд Дурова «на теплый юг», самое же возвращение из Сибири — месяцем или двумя раньше. Первым пристанищем по возвращении из Сибири послужило Дурову, вероятно, Марьино, подмосковное имение Н. Д. Фонвизиной-Пущиной. О встрече там с Дуровым рассказывает в своих неизданных воспоминаниях В. П. Буренин: «В Марьине, кроме меня и этой дамы <воспитанницы Пущиной> и старой-престарой нянюшки Н<атальи> Д<митриевны>, заведывавшей хозяйством, жил еще петрашевец С. Ф. Дуров. Он очень благоволил ко мне за то, что я в то время переводил «Ямбы» Огюста Барбье. Дуров высоко ценил этого поэта... Благодаря его указанию я перевел лучшие из «Ямбов» Барбье.

¹ Г. Н. Потанин. Встреча с С. Ф. Дуровым. «На славном посту», ч. 2. СПб., 1900, стр. 264.

² «Изящная литература», 1885, № 2, стр. 211—212.

С<ергей> Ф<едорович> очень хвалил мои переводы».¹ Описанную тут встречу Буренин относит к 1859 г.; можно предположить, что он ошибся на два года.²

С отъездом на юг, в июле 1857 г., начинается последний период в жизни Дурова, сведения о котором крайне скудны. «По возвращении из Сибири,— сообщает Пальм,— он поселился в Одессе у друга своей юности А. И. П. <т. е. у Пальма>, отогревая (как он выражался) все замороженное сибирской стужей под ласковым южным солнышком. Но здоровье его было вконец разрушено. При малейшей сырости он испытывал страшные ревматические страдания в ногах, носивших четыре года железные браслеты... С 1862 г. стихотворения Дурова снова стали встречаться в «Современнике», потом в «Отечественных записках»... Последние годы жизни Дуров неразумно жил с своим товарищем П., вел переписку с Ив. Ив. Пушкиным, женой его Натальей Дмитриевной (бывш. Фонвизиной), с Сергеем Петровичем Трубецким и некоторыми из своих товарищей по несчастью. Он ужасно много читал, наверстывая годы, потерянные в Сибири, вел свои заметки, которые частью уничтожил. После трехдневных тяжелых страданий (отек легких) Дуров скончался 6 декабря 1869 г. в Полтаве, на руках своего друга. На похоронах Дурова к небольшой группе провожавших гроб его знакомых присоединилось довольно много простого бедного народа, который знал хилого старичка, ежедневно бродившего по улицам, нюхавшего из берестовой тавлинки и охотно вступавшего в беседу с каждым нищим...»³

¹ Поэты «Искры». Вступительные статьи, подготовка текста и примечания И Ямпольского, т. 2. Л., 1955, стр. 707.

² Относительно напечатанных Дуровым в «Современнике» переводов Барбье Буренин ошибся чуть ли не на два десятилетия: в «Современнике» Дуров печатался только в 60-х годах. Влияние Дурова на Буренина отмечает еще Б. Глинский (Среди литераторов и ученых. СПб., 1914, стр. 65. 67).

³ «Изящная литература», 1885, № 2, стр. 211—213. Некролог Дурова см. в «Иллюстрированной газете», 1869, № 50, от 18 декабря, стр. 399.

ИЗ В. ГЮГО

Не насмехайтесь над падшею женой!
Кто знает, что она изведала душой,
Кто может разгадать ее страданий повесть
В те дни священные, как в ней боролась совесть.

Быть может, волею ума укреплена,
За честь, как за оплот, хваталась она,—
Так видим иногда, росинка дождевая,
К листку зеленому с любовью приникая,
Блестит, пока с него она не сорвалась:
Перл до падения, а по паденьи грязь.

А кто, скажите мне, виной ее разврата?
Мы сами: ты, богач,— твое серебро и золото.
Но как бы ни было, всему своя чреда:
В грязи заключена чистейшая вода.
Чтоб перлом заблестать упавшей капле снова —
Ей нужен луч любви, луч солнца золотого!..

<1843>

С ПОЛЬСКОГО

Когда *моя радость* начнет говорить,
Воркуя нежнее голубки,
Я, жадный, боюся слово проронить,
Слетевшее с розовой губки.

И, очи не смея поднять на нее,
Всё слушал бы, слушал да слушал ее.
Когда же, уставши, умолкнет она
И вспыхнет на щечках румянец,
Живей на челе молодом белизна
И ярче в очах ее глянец.
Тогда я отважно гляжу на нее
И всё целовал, целовал бы ее.

<1843>

ИЗ БАЙРОНА

Когда из глубины души моей больной
Печаль появится во взоре,
Не бойся за меня, бесценный ангел мой,
Не спрашивай меня о горе.
Мои страдания имеют свой приют,
Свое обычное жилище —
И скоро с моего лица они сойдут
В безмолвное души моей кладбище.

<1843>

СМЕРТЬ СЛАСТОЛЮБЦА

(Из Виктора Гюго)

Il n'avait pas vingt ans. Il avait abusé.¹

Он юношеских лет еще не пережил,
Но, жизни не щадя, не размеря сил,
Он наслаждался всем не вовремя, чрез меру,
И рано^{*} наконец во всё утратил веру.
Бывало, если он по улице идет,
На тень его одну выходит из ворот
Станица буйная безнравственных вакханок,
Чтоб обольстить его нахальностью приманок —
И он на лоне их, сок юности точка,
Ослабевал душой и таял как свеча.

¹ Ему не было двадцати лет. Он был обманут (франц.).— *Ред.*

Его и день и ночь преследовала скука;
Нередко в опере Моцарта или Глюка
Он, опершись рукой, безмысленно зевал.
Он головы своей в тот ключ не погружал,
Откуда черпал нам Шекспир живые волны.
Все радости ему казались неполны:
Он жизни не умел раскрашивать мечтой.
Желаний не было в груди его больной;
А ум, насмешливый и не согретый чувством,
Смеялся дерзостно над доблестным искусством
И всё великое с презреньем разрушал:
Он покупал любовь, а совесть продавал.
Природа — ясный свод, тенистые овраги,
Шумящие леса, струи лазурной влаги —
И всё, что тешит нас и радует в тиши,
Не трогало его бездейственной души.
В нем сердца не было; любил он равнодушно:
Быть с матерью вдвоем ему казалось скучно.
Не занятый ничем, испытанный во всем,
Заране он скучал своим грядущим днем.
Вот — раз, придя домой, больной и беспокойный,
Тревожимый в душе своею грустью знойной,
Он сел облокотясь, с раздумьем на челе,
Взял тихо пистолет, лежавший на столе,
Коснулся до замка... огонь блеснул из полки...
И череп, как стекло, рассыпался в осколки.
О юноша, ты был ничтожен, глуп и зол,
Не жалко нам тебя. Ты участь приобрел,
Достойную себя. Никто, никто на свете
Не вспомнит, не вздохнет о жалком пустоцвете.
Но если плачем мы, то жаль нам мать твою,
У сердца своего вскормившую змею,
Которая тебя любила всею силой,
А ты за колыбель ей заплатил могилой.
Не жалко нам тебя — о нет! но жаль нам ту,
Как ангел чистую, бедняжку-сироту,
К которой ты пришел, сжигаемый развратом,
И соблазнил ее приманками и золотом.
Она поверила. Склонясь к твоей груди,
Ей снилось счастье и радость впереди.
Но вот теперь она — увы! — упала с неба:
Без крова, без родства, нуждаясь в крошках хлеба,

С отчаяньем глядя на пагубную связь,
Она — букет цветов, с окна столкнутых в грязь!
Нет-нет, не будем мы жалеть о легкой тени:
Негодной цифрою ты был для исчислений;
Но жаль нам твоего достойного отца,
Непобедимого в сражениях бойца.
Встревожа тень его своей преступной тенью,
Ты имя славное его обрек презренью.
Не жалко нам тебя, но жаль твоих друзей,
Жаль старого слугу и жалко тех людей,
Чью участь злобный рок сковал с твоей судьбою,
Кто должен был идти с тобой одной стезею,
Жаль пса, лизавшего следы преступных ног,
Который за любовь любви найти не мог.
А ты, презренный червь, а ты, бедняк богатый,
Довольствуйся своей заслуженною платой.
Слагая жизнь с себя, ты думал, может быть,
Своею смертью кого-нибудь смутить —
Но нет! на пиршестве светильник не потухнул,
Без всякого следа ты камнем в бездну рухнул.
Наш век имеет мысль — и он стремится к ней,
Как к цели истинной. Ты смертью своей
Не уничтожил чувств, нам свыше вдохновенных,
Не совратил толпы с путей определенных:
Ты пал — и об тебе не думают теперь,
Без шума за тобой судьба закрыла дверь.
Ты пал — но что нашел, свершивши преступленье?
Распутный — ранний гроб, а суетный — забвенье.
Конечно, эта смерть для общества чужда:
Он свету не принес ни пользы, ни вреда —
И мы без горести, без страха и волненья
Глядим на падшего, достойного паденья.
Но если иногда подумаешь о том,
Что жизнь слабеет в нас заметно с каждым днем,
Когда встречаем мы, что юноша живой,
Какой-нибудь Робер, с талантом и душой,
Едва посеявший великой жатвы семя,
Слагает жизнь с себя, как тягостное бремя;
Когда историк Рабб, точа на раны яд,
С улыбкой навсегда смежает тусклый взгляд;
Когда ученый Грос, почти уже отживший,
До корня общество и нравы изучивший,

Как лань, испуганный внезапным лаем псов,
Кидается в реку от зависти врагов;
Когда тлетворный вихрь открытого злодейства
Отъемлет каждый день сочленов у семейства:
У сына мать его, у дочери отца,
У плачущих сестер их брата-первенца,
Когда старик седой, ценивший жизни сладость,
Насильной смертию свою позорит старость;
Когда мы, наконец, посмотрим на детей,
Созревших до поры за книгую своею,
Мечтавших о любви, свободе и искусствах,
И после, ошибась в своих заветных чувствах
И к истине нагой упав лицом к лицу,
На смерть стремящихся, как к брачному венцу,—
Тогда невольно в грудь сомненье проникает:
Смиранный — молится, а мудрый размышляет:
Не слишком скоро ли вперед шагнули мы?
Куда влечет нас век? к чему ведут умы?
Какие движут нас сокрытые пружины?
Чем излечиться нам? И где всему причины?
Быть может, что в душе безвременно у нас
Высокой истины святой огонь погас,
Что слишком на себя надеемся мы много,

.
Не время ль пожалеть о тех счастливых днях,
Когда мы видели учителей в отцах
И набожно несли свое ярмо земное,
Раскрыв перед собой Евангелье святое;
Для ока смертного — таинственная тьма!
Неразрешимые вопросы для ума!
Как часто иногда от них во время ночи
Поэт не может свести задумчивые очи,
И, преданный мечтам и мыслям роковым,
Один — блуждает он по улицам пустым,
Встречая изредка, кой-где, у переходов
Вернувшихся домой, с прогулки, пешеходов.

<1843>

ИЗ ХОЦЬКИ

Если хочешь видеть лето,
На себя взгляни, мой ангел:
Взор твой блещет ярче солнца,
Веет розою дыханье,
Очи светятся лазурью.

Если ж хочешь видеть осень,
Загляни ко мне на сердце:
В нем порывы — вихри бурны,
Степь заглохшая — надежды,
Мысли — тучи дождевые.

О, пусть только б взгляд твой нежный
Мне блеснул лучом надежды,—
Бурный вихрь повеет розой,
Степь раскинется цветами,
Мысль засветит жарким солнцем.

Но когда напрасно буду
На призыв искать ответа,—
Мрак падет ко мне на очи,
В сердце холод разольется,
Улетит душа во вздохах...

<1843>

ДАНТ

(Из *Августа Барбье*)

О, старый Гиббелин! когда передо мной
Случайно вижу я холодный образ твой,
Ваятеля рукой иссеченный искусно,—
Как на сердце моем и сладостно и грустно...
Поэт! В твоих чертах заметен явный след
Святого гения и многолетних бед!..
Под узкой шапочкой, скрывающей седины,
Не горе ль провело на лбу твоём морщины?
Скажи, не оттого ль ты губы крепко сжал,
Что граждан бичевать проклятых ты устал?



И жил он, и цвел он, и умер украдкой,
Никто на него не взглянул,—
Скажите, зачем же дышал он так сладко,
Зачем он в глуши промелькнул?

<1844>

ИЗ БАРЬБЕ

Как больно видеть мне повсюду свою горесть,
Читать, всегда читать одну и ту же повесть,
Глядеть на небеса и видеть тучи в них,
Морщины замечать на лицах молодых.
Блажен, кому дано на часть другое чувство,
Кто с лучшей стороны взирает на искусство!
Увы, я знаю сам, что если б на пути
Я музу светлую случайно мог найти,—
Дитя в шестнадцать лет, с кудрями

золотыми,

С очами влажными и ярко-голубыми,—
Тогда бы я любил цветущие долины,
Кудрявые леса, высоких гор вершины;
Тогда бы, кажется, живая песнь моя
Была светла, как день, игрива, как струя.
Но каждому своя назначена дорога,
Различные дары приемлем мы от бога:
Один несет цветы, другой несет ярмо,
На всяком существе лежит свое клеймо.
Покорность — наш удел. Неволей или волей,
Должны мы следовать за тайной нашей долей,
Должны, склонясь во прах, покорствоваться во всем,
Чего преодолеть не станет сил ни в ком.
От детства мой удел был горек. В вихре света
Я, словно врач, хожу по койкам лазарета,
Снимая с раненых покровы их долой,
Чтоб язвы гнойные ощупывать рукой...

<1844>

Нежданно настает день горький для поэта,
 Когда он чувствует, что опытность и лета
 Тяжелым бременем лежат уже на нем.
 Проснувшись поутру, он думает о том:
 Где вы, весны моей мгновенья золотые?
 Вас нет! Вы пронеслись, как призраки ночные,
 И я, как невзначай окраденный скупец,
 Гляжу с отчаяньем на жизненный ларец!
 И точно — он в душе горюет поневоле,
 Бледнея каждый день, как цвет осенний в поле.
 Когда же видит он, что путь его порой
 Нежданно окроплен живительной струей,
 Он, плача, говорит, припоминая дни былые:
 «Нет, это не роса, а капли дождевые!»
 Отныне, может быть, испытанный во всем,
 Скорее истину постигнет он умом;
 Проникнет в глубину таинственного легче,
 Обнимет всё скорей, обдумает всё крепче,
 Рассудку подчинит свободную мечту —
 Разгонит дым густой, рассеет темноту.
 Но в нем погиб навек тот огонь животворящий,
 Который дан ему был в юности блестящей,—
 И тщетно б он хотел в создания свои,
 Богатые умом и пламенем любви,
 Излить ту легкую и девственную сладость,
 Которую дает созданьям... только младость!
 И этого ему ничто не возвратит!..
 Один ли, у себя, в раздумье он сидит
 И, полный снов живых и сладкого призванья,
 Обдумывает план любимого созданья;
 Идет ли, утомясь, бродить в зеленый лес,
 Захочет ли дышать прохладою небес,
 Иль, увлекаемый вослед толпы свободной,
 Без цели ходит он по площади народной,—
 Увы, во всем почти, всегда почти, везде,
 За книгою своею, в прогулке и труде,
 Невольно сердце в нем той мыслию томимо,
 Что молодость его прошла невозвратно!

<1844>

ИЗ В. ГЮГО

Судьбу великого героя иногда
Одно мгновение решает навсегда.
В пылу кровавых сеч, раздоров
и смятений
Он может потерять порфиру и венец,
И славу громкую, и имя, наконец,—
Но всё при нем его творящий гений.

Так знамя иногда, в убийственном бою,
Теряет красоту блестящую свою;
Священную хоругвь сожгло живое пламя,
Златистые тесьмы, бахромки и шнуры —
Всё, всё разметано, разорвано в клочки,
Но цел орел вверху, на древке знамя.

<1844>

НЕЭРА

(Из А. Шенье)

Любовью страстную горит во мне душа.
Прийди ко мне, Хромис, взгляни —
я хороша:
И прелестью лица и легкостью стана
Равняться я могу с воздушною Дианой.
Нередко селянин, вечернею порой,
Случайно где-нибудь увидевшись со мной,
Бывает поражен какою-то святыней,
И я ему кажусь не смертной, а богиней. . .
Он шепчет издали: «Неэра, подожди,
На взморье синее купаться не ходи:
Пловцы, увидевши твое чело и шею,
Сочтут, красавица, тебя за Галатею».

<1844>

ГОРЕ И РАДОСТЬ

(Из Мильвуа)

В светлой обители
Вместе родилися —
Горе тяжелое
С легкою радостью.
Боги им не дали
Равного жребия.
Радость взяла себе
Яркие крылышки;
Горе без них пошло
По свету мыкаться.

«Кто-то поможет мне? —
Горе подумало.—
Боги на долю мне
Не дали крылышек.
Разве сойтиться мне
С резвой подругою,
Да попросить у ней
Места на крылышках:
Где опечалю я,
Пусть она радует!»

Вздумано — сделано:
Словно как брат с сестрой,
Горе пустилось в путь
С ветреной радостью.
Скрывши лицо свое
Радужным крылышком
Милой сопутницы,
Горе летит себе:
Выжмет слезу оно,
Радость сотрет ее...

Скоро, однако же,
Горю наскучило
Вместе с товарищем
Резвым и ветреным.
Горе пошло одно
По свету мыкаться.

Что же случилось с ним?
Радости настужь дверь
Каждый открыть готов,—
Горю же места нет!..

«Плохо без радости»,—
Горе подумало —
И снова в спутницы
Радость берет себе...
С той поры по свету
Неразлучаемо,
Дружно и весело
Всюду летят они:
Где радость явится,
Там ждите горести!

<1844>

ПРИСКАЗКИ

Есть люди в памяти моей,
Которых видел я когда-то;
Судьба меня и тех людей
Ничем не связывала свято.
Любви не мог я ждать от них,
Бояться их едва ли можно;
Труда не стоит помнить их,
А позабыть их невозможно.

<1845>

СОНЕТ

Нигде, ни в ком любви не обретая,
Мучительным сомнением томим,
Я умолял, чтоб истина святая
Представилась хоть раз очам моим.

И вечером, как сходит тень ночная
И по полю клубится влажный дым,

Явилась мне жилища неземная
И голосом сказала неземным:

«Ты звал меня — и я твой зов приемлю,
Лицом к лицу стою перед тобой
И холодом мечты твои объемлю.

Живи теперь в обители земной;
Тот не смущен ни счастьем, ни бедой,
Кто истину умел призвать на землю!»

<1845>

* * *

Вечер был светел, как день; небо сияло лазурью; поля
Ярко-зеленым ковром расстилались далеко-далеко;
Звонко журчащий ручей, ниспадая с горы у подножья,
Радужной пеной сверкал, а в лесу, из-за кущи ветвистой,
Слышалась песнь соловья. И подумал тогда я невольно:
«О, для чего не дано человеческой жизни под вечер
Светлого неба любви, упований широкого поля,
Быстрых желаний ручья и надежд соловьиных напевов!..»

<1845>

МЕЛОДИЯ

(Из Байрона)

1

Да будет вечный мир с тобой!..
Еще в небесное жилище
Не возлетала над землей
Душа возвышенной и чище.
Существованья твоего
Ничто людское не смущало:
Бессмертья только одного
Тебе у нас не доставало.

Пускай же твой могильный холм
 Не веет горькою утратой,
 Да разрастаются на нем
 Цветы грядкою полосатой...
 Не над тобою зеленеть
 Ветвям плакучим грустной ивы:
 Зачем, скажите, сожалеть
 О тех, которые счастливы?..

<1845>

* * *

Люблю тебя за то, что в вихре светских
 бурь
 Ты сохранил ума и сердца живость,
 Улыбку на устах, в очах своих лазурь,
 В движеньях детскую стыдливость.

Люблю тебя за то, что, юность расцветая
 Приманками надежды и мечтанья,
 Ты жизнью тешишься, как резвое дитя,
 Еще не знавшее страданья.

Люблю тебя за то, что, волю сердцу
 дав,
 Не заразясь пустым предубежденьем,
 Ты дружбы не лишил ее заветных прав,
 Любви не оскорбил сомненьем.

Люблю тебя за то, что в ветреной
 толпе,
 Волнуемой безумными страстями,
 Один лишь ты идешь по розовой тропе,
 Довольный жребием и нами.

<1845>

Мы встретились — и тотчас разошлись.
 Ни он, ни я не высказали мыслей
 И чувств своих друг другу; будто сон,
 Свиданье с ним мелькнуло и исчезло;
 Но сердце мне твердит: не знаю где,
 Здесь или там, сегодня или завтра
 Сольетесь вы душа с душой, как небо
 Сливается вдали с лазурным морем.

<1845>

•

ИЗ В. ГЮГО

Ты видишь эту ветвь; побитая грозой,
 Она безжизненна. Но подожди, с весною,
 Как только к нам придет июньская пора,
 Ее засохшая и черная кора,
 Согретая весны живительным дыханьем,
 Замшится зеленью, дохнет благоуханьем.

Спроси же у меня, бесценный ангел мой,
 Зачем, наедине увидевшись с тобой,
 Я забываю всё — и горе и страданье,
 Зачем в душе моей живею воспоминанье,
 Зачем ярчей огонь горит в глазах моих,
 Зачем светлее мысль и звонче каждый
 стих?

Ах, это оттого, что здесь ничто не вечно:
 Всё переменчиво, легко и скоротечно;
 Что вслед за ярким днем идет ночная

тьма,

За жаркою весной — холодная зима,
 За радостью — печаль, за горем — снова
 радость,

А за разлукою — твоей улыбки сладость.

<1845>

ГОМЕР-НИЩИЙ

«Сладко-пленительный край, орошенный волною
гермесской,
Град, на златистых холмах возвышающий зданья, любимец
Гордой Юноны, где всё тайной и древностью дышит,—
Кумы,— приветствую вас! В ваших пределах трикраты
Снился мне сладостный сон (а сны от богов нам даются).
Верно, сам мощный Зевес, руководствуя свыше скитальцев,
Нас удостоил узреть стены священного града.
Вот уж двенадцатый раз солнце восходит и гаснет,
Я же с ребенком вдвоем, без защиты и верного крова,
В дебрях лесистых блуждал и скитался по берегу моря.
Пищею были у нас — плод, отвергаемый зверем,
Ил да гнилая трава, выносимая горькой волною.
Боги! ужели дитя, мой единый спутник в несчастьи,
Сгибнет в глазах у меня, призывая напрасно на помощь?
Я ли и сам, наконец, как ладья без руля и ветрила,
Буду весь век свой блуждать, со скалы на скалу
набегая? ..

Нет! Мы пришли к очагу, где богатство и доблесть
Манят невольно к себе. Именем ветви лавровой,
Зыблемой в нашей руке,— отворите нам двери! .. за это
Юный мой спутник нарвет вам цветов из долины соседней
И, заплетя их в венки, увенчает чело ваше ими. ..»
Так говорил удрученный судьбою и временем старец,
С взором, потухшим давно от печалей и слез

бесконечных,—

Этот был старец — Гомер! .. А палаты, к которым
пришел он,
Лукуса было жилье (не жилье, а великое чудо):
Орден дорийский блистал, но как будто бы спорил
с коринфским,
Мрамор белее снегов, иссеченный в прямые колонны;
Сто упоительных дев, индианок живых, сладострастных,
С ранней до поздней зари здесь подносят богатые
яства,

Цедят в амфоры вино из гроздей наксосских и кипрских,
Оргия вечно кипит, и усталый хозяин с гостями
Здесь засыпает под звук флейт и тимпанов фригийских.
Старец вошел на порог. И во имя седин и несчастий,
Именем девственных Лар, покровительниц нашего крова,

Просит приюта себе и спутнику. Лукус суровый
 Встретил гневно его. Но Гомер, сохраняя обычай,
 К платью его приложась, говорит ему: «Счастливым
смертный,
 Равный по счастью богам! Случай нас свел (а ты знаешь,
 Нищий — посланник небес!). Приюти же нас дружно
и мирно:
 Просьба — любимая дочь обладателя неба, Зевеса;
 К ней приклоня свой слух, раздели со скитальцем
трапезу;
 Я заплачу тебе всё: не золотом, — этою лирой...
 Знаешь ли, я посетил берега плодоносного Нила,
 Странствовал в дальних странах, переплыл все моря,
океаны.
 Всюду дивил я людей — и за песни мои получал я
 Золоторунных овнов и треножки. Веришь ли, часто,
 Слушая песни мои, Меония в душе сомневалась,
 Я ли их пел или бог Аполлон, покровитель искусства;
 Пел я когда-то богам, а теперь для тебя петь я буду.
 О, да взлетит к небесам песня моя! Да услышит
 Зевс-громовержец меня... и воздаст тебе в жизни
сторицей!
 Пусть на пиру у тебя амбра и нард благовонный
 Сладостный запах свой льют. Пусть удовольствия вечно
 В доме живут у тебя, ускоряя летящее время;
 Пусть собираемый хлеб с нивы твоей утомляет
 Крепких и сильных волов; да широко шумящие ивы,
 Дружно в садах у тебя разрастаясь с дня на день,
столько
 Гибких ветвей принесут для сплетенья кошниц, <сколько
надо>
 К сбору янтарных гроздей в вертограде твоём. Я же
буду
 С каждую новую весной прилетать к тебе легкою
птичкой,
 Своды богатых палат оглашать сладкозвучною песнью.
 Звонкие гимны слагать в честь богам и богиням
домашним».
 «Странник, — отвечает тот, — мне не надобно песен
подобных;
 Пой их другим, а не мне (богу Плутону, быть может,
 Будут по сердцу они!). Мне же они ненавистны:

Вид злополучья один вводит меня в беспокойство,
Яд разливает кругом». И старец, с душою,
Сдавленной едкой тоской, подымает потухшие очи
К небу, которого он уж издавна, издавна не видит...
Юный сопутник его, верный в несчастьи как прежде,
Руку Гомера берет и ведет его к берегу моря,
Где он садится — и вот песня последняя сладко
Веет из уст у него, сочетавшись согласно с далеким
Плеском бегущих валов на золотистый песок побережья.
«О родимый приют! О благодатные стены Мелеса,
Где Критенеа, как мать истинно добрая, с жаром,
Детство хранила мое, а Зевес допускал меня видеть
Лиц благородных черты и лазурно-прекрасное небо.
Златошелковы поля! Полные таинств дубравы!
Вышлите ваших богинь, чтоб они эту скорбную песню,
Эху в уста передав, донесли до пределов отчизны.
Вам же, о дщери небес, благодатные музы, за звуки,
Давшие лавр мне во мзду (подаянье ничтожное в жизни!),
Ныне я шлю мой привет, но последний привет

на прощанье!

Больше не буду я петь ни богинь, ни богов, ни героев;
Ни илионских бойниц, греческой ратью стесненных;
Ни Андрوماхи в слезах, Гектора нежной супруги;
Ни Ахиллесову месть; ни сына Лаэрта, который
К дальним брегам занесен бурной волною. Мой голос
Силу утратил свою, как кузнечика голос под осень.
Вещая лира моя от невзгоды разбилась. Прощайте ж,
Музы, прощайте навек!» И умолкнул божественный

старец.

Бог Аполлон, услышав лебединую песню Гомера,
Тотчас с Олимпа слетел в подземельное царство

Плутона

И сладкогласно воззвал: «Не касайтесь, парки,

до нити

Жизни того, кто, как мы, Зевсу любезен и дорог:
Воля сия от него». И, окончив, к Гомеру летит он,
Тучей объемлет его и уносит далеко-далеко...
Юный сопутник его из Самоса один у побережья

остался.

С тех пор поверье идет, что сирены, богини морские,
Взяли Гомера к себе, в водяное, прохладное царство.
Там он когда запоет, то сирены, заслушавшись песней,

Всё забывают окрест — и пловцы ускользают сетей их;
Даже Фетида сама, из глубоких пучин океана,
Слушает песни его, а Ахиллова мать и доселе
Внемлет о сыне своем, воспеваемом дивным Гомером.

<1845>

АТЛАС

(Из Виктора Гюго)

Однажды Атласу сказали долины:
«Взгляни на цветущие наши равнины,
Куда ранним утром и поздней зарей
Девы приходят играть меж собой.
К ногам нашим нежно ласкается море,
Шумя и блистая на вечном просторе,
А грудь, оживленная свежей росой,
Покрыта цветами и мягкой травой.
А ты Расскажи нам, гигант одинокой,
Зачем наклонился главою высокой?
Зачем на кремнистых вершинах твоих
Рассеяны гнезды орлят молодых? ..
Зачем ты, как тучи, чернеешь в лазури
И борешься вечно с громами и бурей?
Скажи, отчего ты белеешь в снегах?» —
«Затем, что весь мир несу на плечах!».

<1845>

МЕТАФОРА

(Из В. Гюго)

Как на поверхности лазурного пруда,
В душевной глубине мы видим иногда
И небо, полное блистательных сокровищ,
И тинистое дно, где вьется рой чудовищ.

<1845>

Когда трагический актер,
 Увлечшись гением поэта,
 Выходит дерзко на позор
 В мишурной мантии Гамлета,—

Толпа, любя обман пустой,
 Гордясь мнимым состраданьем,
 Готова ложь почтить слезой
 И даровым рукоплесканьем.

Но если, выйдя за порог,
 Нас со слезами встретит нищий
 И, прах целуя наших ног,
 Попросит крова или пищи,—

Глухие к бедствиям чужим,
 Чужой нужды не понимая,
 Мы на несчастного глядим,
 Как на лжеца иль негодяя!

И речь правдивая его,
 Не подслащенная искусством,
 Не вырвет слез ни у кого
 И не взволнует сердца чувством...

О род людской, как жалок ты!
 Кичась своим поддельным жаром,
 Ты глух на голос нищеты,
 И слезы льешь — перед фигляром!

<1845>

КРУЧИНЫ

Есть непонятные кручины:
 Они рождаются без причины
 И, словно ржава на меди,
 Ложатся едко на груди...

Не надо им несчастий близких;
Они, как сосны гор альпийских,
На голом камне могут цвести:
Всегда, во всем им пища есть...

Из сердца вырвать их нет средства,
Они пускают корень с детства;
Но если б даже вырвать их —
Нам горько стало бы без них...

<1845>

ШЕКСПИР

Не гляди на солнце
Летом, в яркий полдень,
Если богом не дан
Оку взор орлиный,
Если ты заране
Знаешь, что от блеска
Пламенного солнца
Потеряешь зренье.

Не читай Шекспира,
Если ты боишься
Глубоко проникнуть
В тайны роковые
Бытия земного,
Если ты не хочешь
Разгадать движений
Сердца человека...

<1845>

* * *

Ложным приманкам не верь и вослед не ходи за толпою;
Сам себе путь избери, сообразный с влечением сердца;
Если на нем ты не сыщешь желанного счастья, то всё же...
Тем усладишь свое горе, что выбрал его произвольно.

23 февраля 1845

КНАЙЯ

Посвящено Павлу Александровичу Мартынову

Сальвадор

Завидую тебе, счастливый рыболов!
Хотел бы я закидывать тенета
И, к берегу причалив, сеть мою
Просушивать на солнце. В час вечерний,
Когда уже за дальнею Капреей
Пурпурный луч заката догорает,
Я бы хотел, как ты, носиться в море
И видеть ночь, сходящую с небес.
О, пожалей меня, товарищ, в людях
От горести я вяну, потому
Что край родной мне сделался противен;
В моих глазах Неаполь златоверхий
Не тот, чем был. Сады благоуханны,
Лазурь небес, целебно-сладкий воздух,
Вливающий отраду, бледность утра,
Румянец вечера, краса залива,
По коему крылатые ладьи,
Как лебеди, ныряют, словом, всё,
Поля в цветах и огненный Везувий,
И самое воспоминанье детства
По старине не могут разогнать
Над головой моей тумана... Краски
В моих руках теперь теряют свежесть;
Печальный тон ложится на картинах.
Я бросил кисть, разбил мою палитру,
И по земле, облитой жаркой лавой,
В полдневный зной скитаюсь как изгнанник.

Рыбак

О милый брат! я понимаю вздох,
Из уст твоих слетевший; понимаю,
Зачем твои кудрявые волосы
Бросают тень, сбегая на плечо,
Покрытое разорванной одеждой;
Зачем лицо так бледно, а глаза,
Насупившись, сверкают исподлобья.
Ты не один, поверь, страдаешь втайне:
Хоть грудь моя черна, но не из камня.

Я чувствую, как ты, что солнце наше
Моей души уже не греет боле.
Ах, кто из нас нарядится? Кто в силах
Надеть венок из листьев виноградных?
Кому на мысль придет под сенью лавра
Протанцевать живую тарантеллу?
Кто музыкой прогнать сумеет горе,
Когда оно, как червь, нам гложет сердце?
Друг, наша жизнь — прогоркнувший лимон,
Которого ничто не усладит. Мы дети
Прекрасные прекраснейшей земли,
Но, как воны, осуждены судьбою
Нести ярмо тяжелого рабства;
Нам надо лбом ломиться, тратить силы,
Потеть в трудах и, к довершенью мук,
Переносить побои иноземца.

С а л ь в а т о р

О рыболов, тебе, по крайней мере,
Осталось в отраду это море,
Обширное и светлое, как небо.
Ты, как орел, которому земля
Прискучила, слетаешь с гор кремнистых
И в челноке плывешь в открытом море,
Смывая гной с душевных ран своих:
Удар весла, и ты, вольнолюбивый,
Становишься властителем вселенной.
Там можешь ты поднять свое чело,
Как человек глядеть на небо прямо
И песни петь... а если моря шум
Издалека примчит к тебе случайно
Отзвучия земные и на сердце
Навеет грусть, ты смело можешь плакать
И ропот свой сливать с роптаньем волн.
А мы, увы! жильцы земли печальной,
Осуждены в безмолвии страдать,
Нести ярмо пришельцев ненавистных
И грудь позор свой защищать;
Должны глядеть на зло холоднокровно,
От коего б с досады лопнул камень;
И, наконец, волненья затаив,
Искать угла, в котором было б можно

Об участи своей поплакать. Ныне
Нам жалоба вменяется в проступок.
Земля, мой друг, на коей мы родились,
И воздух тот, которым дышим мы,
Заразою язвительною веет:
Из двух друзей, беседующих вместе,
Всегда один безнравственный доносчик.

Рыбак

Не вечно же противный ветер будет
В наш парус дуть. Припомни, добрый Роза,
Над нами есть святое провиденье,
Которое воззрит на нашу участь:
Оно не даст в обиду бедняка
Скупцу богатому. Оно нам облегчит
Путь к счастью. Мы, спящие на камне
И целый день трудящиеся в поте,
Когда-нибудь узнаем лучший жребий.
Из нас теперь немного легковых:
Придет пора, и явятся меж нас
Мыслители, в устах с железным словом.
Объевши кость, захочется нам мяса,
За осенью для нас наступит лето...
Я этою надеждой успокоен
И весело мои кидаю сети
У берега и в безднах недоступных:
Когда-нибудь в заливе голубом,
На золотом песке берегов Киаи,
Я уловлю в сетях моих — свободу...

Сальватор

О рыболов, ужель ногою белой
На палубу к тебе свобода станет?
Ужель она рукой твоих собратий
Введется к нам в Неаполь? Я боюсь,
Чтоб речь твоя напрасно не погибла,
Как звук пустой и лживый. Эта гостья,
Которую свободой мы зовем,
Нисходит к тем, которые достойны
Ее любви; а мы погрязли в лени;
Лицо ее и поступь для народа,
Убившего в разврате мощь свою,

Понравиться не могут. Сибариты,
Обросшие кудрявой, черной шерстью,
Расползшие от неги и еды,—
У них душа в мамоне, и мамон
В их голове; безмысленно зевать,
Пить, есть да спать — для них одно блаженство!
По улицам валяясь на спине,
Они глядят по целым дням на небо
И от него даров съедобных ждут;
Единый бог для них могуч и силен,
И этот бог — обжорство. Все другие
Высокие и пламенные чувства
Для сердца их не внятны. Боязливо
Они глядят на меч...

Рыбак

О добрый Роза!

Не обвиняй народа. Горе сердца
Наполнило твой ум мертвящим хладом
И гордостью. Ты смотришь на отчизну
Ошибочно. Народ всегда надежен,
Народ всегда — хорошая земля,
Удобная к богатой разработке;
Земля, внутри которой вечно бродит
Могучий сок, всему дающий жизнь
И действующий вечно с равной силой.
Он — сильный дуб, возводит к небесам
И, возродя, питает человека.
Добром платя за зло и оскорбленье,
Сторицею под плугом и сохой,
Он нам дает обилие и жатвы.
Кидай навоз на землю, всё она
Переродит в золотистые колосья;
Она всему дает живую силу,
На ней одной великое родится...

Сальватор

Не знаешь ты, как тягостна для сердца
Живая мысль, не вылитая явно.
Ты плакал бы, как я, когда бы то же
Мог испытать; но, человек простой
И добрый, ты не можешь разгадать.

Моей тоски, моих страданий едких,
Отчаянья, которое рождает
Та мысль, что я, рожденный быть на солнце,
Во мраке дни мои окончить должен.
Не знаешь ты, как больно для души
Иметь крыло и быть в позорной клетке.
А между тем что день, то смерть к нам ближе,
Что день, то меч, врученный нам от бога,
Снедается обыкновенной ржавой.
Мы чувствуем, что в нас, от недостатка
Возвышенной и благородной пищи,
С дня на день огонь душевный тратит силу,
Что тело в нас живет на счет души,
И гений наш, затерянный в пустыне,
Гниет, как кладь в закрытом сундуке.
Для гения, мой друг, нужна свобода,
Как пьянице бокал широкодонный.
И мне простор необходим. Ты видишь,
Я утомлен бесплодным ожиданием...
Устал вздыхать и плакать, как скопец
Над девою в бессильной страсти плачет...
Когда народ, имея столько силы,
Бездейственно у нас коснеет ныне,
То я иду искать других людей.

Рыбак

О истинно-возвышенное сердце,
Горячая и жаркая душа!
Ужели ты не можешь подождать
День.. два?.. а там... когда негодование
Правдивое на свет и на людей
Тебе велит бежать от нас в пустыню,
Друг, берегись другой ужасной бездны,
В которую мы впали нынче все:
Не сделайся бездушным себялюбом,
Не забывай, что есть над нами промысл;
И если он обогатил нам душу
Влечением к прекрасному, то это
Не для пустой себялюбивой цели,
Но к общему благополучью. Каждый
Из нас отдать отчет обязан богу
В своих делах: я за мои слова

Отвечу там, а ты, Сальватор Роза,
За кисть свою и краски. Дай мне руку,
Возьмем себе в жогаго терпенье:
С ним самое страданье как-то легче,
И каждая высокая душа
В нем мирное прибежище находит...

С а л ь в а т о р

Ты искренно и сладко говоришь;
Но вспомни то, что на родимой почве
Пшено теперь становится крапивой,
Что семена у нас теряют силу
И не дают полезных прозябаний.
От родины не жду я ничего
И навсегда с Неаполем прощаюсь.
Привет тебе, калабрская земля,
Где выси гор туманами дымятся
И вал морской всегда о берег плещет!
Я кланяюсь тебе, гигант Гаргано,
Окутанный косматыми лесами
И спорящий с грозой!.. о, прими
Меня теперь под сень свою! Позволь
С кочующим и девственным народом
Соединить навек мой горький жребий,
Упитья их веселую свободой
И с ними хлеб насущный разломить...
Там, только там величье человека
Во всей красе еще досель осталось
И девственна земля еще доселе;
Там снова я для счастья оживу,
И, как орел, я буду долго-долго
И жизнь и счастьем упиваться...
А если смерть придет ко мне чредой,
Не саван я надену гробовой,
Не меж досок истлеть придется телу;
Я скроюсь в объятиях Сибеллы,
Как легкий дым на небе голубом,
Как тихий ключ на черном дне морском,
Не кинув по себе для суетного света
Ни имени, ни пыльного скелета...

8 мая 1845

ОРУЖИЕ

(Ребенку)

Сынок отважного бойца,
Малютка милый, шаловливый,
Не тронь оружие отца:
Оно опасно, хоть красиво.

Пускай блестит, пускай звенит —
Не обращай на то вниманья.
Оно, как друг, к себе манит,
Но даст потом, как враг, страданья.

Не тронь его до Дальних дней...
Ты будешь сильный и проворный,
И загремит в руке твоей
Оно игрушкою покорной.

13 сентября 1845

ОСЕАНО НОХ¹

(Из В. Гюго)

1

О, сколько моряков и сколько капитанов,
Уплывших некогда в далекие страны,
Погибло без вести, среди морских туманов,
Немыми жертвами изменницы-волны:
Сойдясь безвременно с безвременной кончиной,
Они погребены неведомой пучиной.

2

Их нет! .. и нам не знать их смерти роковой,
Не знать истории их страшного крушенья,
Не выведать от них с проклятьем иль мольбой,
Что вынесли они в последние мгновенья.
Волна ревнивая всё рушила вконец:
От ней разбит корабль, и в ней погиб пловец.

¹ Ночь на океане (лат.).— Ред.

3

К кому-то, бедные, они приплыли в гости?
 Где их тела теперь найдут себе приют?
 Где успокоятся разрозненные кости? ..
 А между тем давно на родине их ждут,
 К ним каждый день отцов моления несутся;
 Но их отцы умрут, а милых не дождутся. . .

4

Заветные друзья, кидая тихий взор
 В минуты сладкие вечернего досуга,
 Об них ведут теперь веселый разговор,
 И каждый ждет к себе потерянного друга;
 Меж тем уже давно их участь решена:
 Волна их привлекла, сгубила их волна.

5

«Где вы,— твердят они,— где вы живете ныне?
 Конечно, позабыв о милых и друзьях,
 Вы поселились в какой-нибудь пустыне,
 Иль царство обрели на дальних островах. . .»
 Но есть всему череда: пройдут за годом годы,
 И время память их умчит, как тело воды. . .

6

Об них со временем устанут говорить,
 Из памяти они исчезнут, словно тени;
 И только жены их случайно, может быть,
 В часы вечерние печальных размышлений,
 Сидя у очага, в кругу детей своих,
 Припомнят в тишине невольню образ их!

7

Когда же и они сойдут под сень могилы,
 Об вас забудут все. Без всякого следа
 Навек вы сгинете. Ни надписи унылой
 На каменной плите не будет никогда,

Ни в песне жалобной у сельского кладбища
Об ваших именах не вспомнит бедный нищий.

8

Пловцы отважные, куда сокрылись вы?
Где смерть вы встретили с надеждою
во взоре?

Об этом не узнать от ветреной молвы:
Бог это ведаёт, да знает это море.
Но не от этого ль вечерний ропот волн
Какой-то тайною и горестию полн. . .

2 ноября 1845

* * *

Я как сокровище на памяти моей
Сберег прошедшее: надежды прежних дней,
Желанья, радости, мелькавшие когда-то,
Всё, всё мне дорого и всё доселе свято.
Я памятью живу: и как не жить? Я был
Для счастья рожден. Я с детства полюбил
Уединение, природу, кров домашний
И лень беспечную. Мечтой моей всегдашней
Был тихий уголок в родном моем селе,
Хозяйка умная, щи-каша на столе,
Да полка добрых книг, да лес густой, да поле,
Где мог бы я порой размыкать грусть на воле. . .
Не то сбылось со мной. Мой юношеский сон
Развеян случаем. Я в жертву принесен
Тщеславья, чуждого душе моей (в угоду
Чужого мнения). Я потерял свободу,
Которая была любимую мечтой
Души восторженной. Теперь в толпе людской
Вполне затерянный — без цели, без участия
И без надежд иду по скользкому пути.
Как мало, кажется, нам надобно для счастья.
Как много надобно, чтоб нам его найти! . .

<1846>

Когда порой дитя появится меж нами
 С своими светлыми, как ясный день, очами
 И с милою усмешкой на устах,
 Невольно на челе расходятся морщины,
 Мы забываем всё, заботы и кручины,
 Волнения и страх.

Светлеет ли кругом весенняя природа,
 Иль бурной осени глухая непогода
 Стучится в дверь и бьет дождем в окно —
 Дитя приблизилось, и в сердце нашем радость,
 Его присутствие во всё вливает сладость,
 Им всё озарено.

Беседуем ли мы, обмениваясь в чувствах,
 О громких подвигах, свободе и искусствах —
 Дитя пришло, и гаснет разговор:
 Прощай поэзия, отечество и слава!
 Малютки резвого веселая забава
 К себе влечет наш взор...

В часы полночные печальна повсеместность:
 Безмолвных призраков исполнена окрестность,
 Туманна даль, бесцветны небеса;
 Но только луч зари осветит неба своды,—
 Долины, пажити, леса, пригорки, воды —
 Всё звуки, всё краса!

Я ночь; а ты, дитя, денницы луч рассветный.
 Глазами светлыми, улыбкою приветной
 И лепетом прерывистых речей
 Ты разгоняешь грусть в моем потухшем взоре:
 И горе при тебе становится — не горе,
 И как-то веселей...

А это оттого, что взгляд твой полон ласки,
 Что на щеках твоих играют жизнь и краски,
 Что мысль твоя, как божий день, светла,
 Что на челе твоём нет ни единой тучки,
 Что белые твои, как снег нагорный, ручки
 Не прикасались зла.

Да, это оттого, что ты, по воле бога,
Идешь пока от нас отдельною дорогой,
Невинностью младенческой дыша;
Что ты, не зная нас, во всем нам веришь смело,
Что всё небесное в тебе осталось цело,
Всё — сердце и душа.

Господь! Я шлю к тебе моление живое,
Чтоб я, чтоб даже враг не знал мой, что такое
Без тени сад, поляна без цветов,
Деревья без плода, поля без всходов хлеба,
Без солнца майский день, без звезд ночное небо
И кровля без птенцов.

<1846>

* * *

С тайной, тяжелой тоской я гляжу на тебя, мое сердце!
Что тебя ждет впереди? — Кукла, которая будет
Тешить сначала тебя, а потом эта кукла наскутит...
После, когда подрастешь, ты сама будешь куклой для
взрослых:
Вырядят в бархат тебя, напоказ вывозить тебя будут,
Строго тебе запретят обнаруживать чувства и мысли;
Волю твою окуют (воля всего им опасней!);
Позже, как время придет, по расчету (конечно,
не сердца)
Выдадут замуж тебя. За кого? Не твое это дело:
Муж твой хорош для других, для тебя и подавно,
не правда ль?
Замужем будешь ты жить; наживешь себе деток; но детки,
Может быть, выдут в отца; а отца ты едва ли любила...
Время не ждет никого... поглядишь, неожиданной гостьей
Старость нагрянет к тебе (тяжела эта гостья не в пору!).
Ты, не живя, отцветешь и брюзгливой старухой будешь.
Люди при жизни тебя похоронят на сердце, а после,
Бросивши камень на гроб, никогда не придут на могилу
Вспомнить про ту, кто была, без признанья, страдальца
в жизни... .

<1846>

И плакать хочется, и хочется смеяться,
Как вспомнишь о былом;
Как можно было мне так горько ошибаться
В самом себе, и в людях, и во всем...

И плакать хочется, и хочется смеяться,
Когда заглянешь в даль:
Всё манит, кажется, любить и наслаждаться,
А между тем везде грозит печаль.

<1846>

РОЗА И КИПАРИС

Сказала весенняя Роза:
«Скажи, Кипарис молодой,
Зачем ты зеленой верхушкой
Печально повис надо мной?» —
«Затем,— отвечал он,— чтоб солнце
Тебя опалить не могло
И лучше в тени очертилось
Твое молодое чело...»

<1846>

МОРЛАХ В ВЕНЕЦИИ

Когда я последний цехин промотал
И мне изменила невеста —
Лукавый далмат мне с усмешкой сказал:
«Пойдем-ка в приморское место,
Там много красавиц в высоких стенах
И более денег, чем камней в горах.

Кафтан на солдате из бархата шит;
Не жизнь там солдату, а чудо:
Поверь мне, товарищ, и весел и сыт
Вернешься ты в горы оттуда...
Долиман на тебе серебром заблестит,
Кинжал на цепи золотой зазвенит.

Как только мы в город с тобою войдем,
Нас встретят приветные глазки,
А если под окнами песню споем,
От всех нам посыплются ласки...
Пойдем же скорее, товарищ, пойдем!
Мы с деньгами в горы оттуда придем».

И вот за безумцем безумец побрел
Под кров отдаленного неба;
Но воздух чужбины для сердца тяжел,
Но вчуже — нет вкусного хлеба;
В толпе незнакомцев я словно в степи —
И плачу и вою, как пес на цепи...

Тут не с кем размыкать печали своей
И некому в горе признаться;
Пришельцы из милой отчизны моей
Родимых привычек стыдятся;
И я, как былинка под небом чужим,
То холодом сдавлен, то зноем палим.

Ах, любо мне было средь отческих гор,
В кругу моих добрых собратий;
Там всюду встречал я приветливый взор
И дружеский жар рукожатий;
А здесь я как с ветки отпавший листок,
Заброшенный ветром в сердитый поток.

<1846>

* * *

When we two parted.¹

1

Когда прощались мы с тобой,
Вздыхая горячо,
Ко мне кудрявой головой
Ты пала на плечо...

¹ Когда мы расстались (англ.).— Ред.

В твоих глазах была печаль.
Молчанье на устах...
А мне неведомая даль
Внушала тайный страх...

2

Росы холодная струя
Упала с высоты —
И угадал заранее я,
Что мне изменишь ты...
Сбылось пророчество: молва
Разносит всюду весть,
Что ты священные права
Утратила на честь...

3

И каждый раз, как слышу я
Об участи твоей,
На части рвется грудь моя
Сильнее и сильней...
Толпа не знает, может быть,
Про тайный наш союз —
И смело рвет святую нить
Сердечных наших уз...

Как быть!.. знать, есть всему
пора...

Но плачу я о том,
Что сердцу льстившее вчера
Промчалось легким сном.
Ах, если где-нибудь опять
Увижусь я с тобой,
Скажи, как мне тебя встречать? —
Молчаньем и слезой...

<1846>

МЕЛОДИЯ

(Из Байрона)

О, плачьте над судьбой отверженных племен,
Блуждающих в пустынях Вавилона:
Их храм лежит в пыли, их край порабощен,
Унижено величие Сиона:
Где бог присутствовал, там идол вознесен...

И где теперь Израиль злополучный
Омоет пот с лица и кровь с усталых ног?
Чем усладит часы неволи скучной?
В какой стране его опять допустит бог
Утешить слух Сиона песнью звучной?..

Народ затерянный, разбросанный судьбой,
Где ты найдешь надежное жилище?
У птицы есть гнездо, у зверя лес густой,
Тебе ж одно осталось кладбище
Прибежищем от бурь и горести земной...

<1846>

АЮДАГ

(С польского)

Люблю, облокотясь на скалу Аюдага,
Глядеть, как борется волна с седой волной,
Как, вдребезги летя, бунтующая влага
Горит алмазами и радугой живой,

Как с илистого дна встает китов ватага
И силится разбить оплот береговой;
Но после, уходя, роняет, вместо стяга,
Кораллы яркие и жемчуг дорогой.

Не так ли в грудь твою горячую, певец,
Невзгоды тайные и бури набегают,
Но арфу ты берешь — и горестям конец.

Они, тревожные, мгновенно исчезают
И песни дивные в побеге оставляют,
Из коих для тебя века плетут венец.

<1846>

ТУЧА

Небо чисто после бури,—
Только там, на дне лазури,
Чуть заметна и бледна,
Тучка легкая видна...

От родной семьи изгнанник,
Ты куда несешься, странник?
Где, скажи, в краю каком
Колыбель твоя и дом?

Разольешься ль ты туманом
Над бездонным океаном?
Или мелкою росой
Ты забрызжешь над травой?...

Иль в лазури неба чистой
Ляжешь радугой огнистой
И обхватишь, как венец,
Целый мир с конца в конец?..

Или вновь в степях лазури
Ты сзовешь и дождь и бури
И, вернувшись к нам, потом
Принесешь грозу и гром?

<1846>

АНАКРЕОН

Жил в древней Греции певец Анакреон;
Он с юношеских лет был музам обречен,
И после, в старости, изведав всё земное,

Умел он сохранить и сердце молодое,
И ум возвышенный, и юношеский пыл,
И крепость здравия, и бодрость прежних
сил.
Бывало, к молодым вмешавшись в вихорь
пляски,
Он пел им про любовь, вино, восторг
и ласки,
И звучный стих его, катясь, как река,
Был дорог юноше и свят для старика.
А ныне от певцов не те мы слышим звуки:
Их струны издают порывы тайной муки,
Негодование на жизнь и на судьбу —
Сомненья с истиной тяжелую борьбу,
Души расстроенной тяжелые болезни:
Для современников полезны эти песни!.

<1846>

СОНЕТ

Я думаю: на что облокотиться?
На что теперь осталось взглянуть?
К чему душой и сердцем приютиться?
Чем вылечить мою больную грудь?

Над головой золотое небо тмится,
В безвестности теряется мой путь,
Густой туман вокруг меня ложится:
Нет пристани, где б мог я отдохнуть.

Любить — нет сил; надеяться — нет мочи;
Желать — теперь мне кажется смешно:
Желаниям не верю я давно...

Так пешеход, во время поздней ночи,
В неведомую даль стремится напрасно очи:
Вокруг него всё смутно, всё темно...

<1846>

Я был на берегу во время ночи звездной.
 Ни тучки на небе, ни паруса над бездной...
 Мой взор, по прихоти, летел бог весть куда.
 И кажется, мне слышалось тогда,
 Что горы и леса прибрежные шептали
 И что-то у небес и моря вопрошали...
 И звезды яркие на небе безграничном,
 Роскошно шествуя своим путем обычным,
 И волны шумные, в раздолье водяном,
 Играя и журча на море голубом,
 Твердили, сочетав свой голос воедино:
 «Всё это бог, всё бог — Начало и Причина!»

<1846>

ЛИСТОК

Où va tu? — Je n'en sais rien...¹

С родного дерева отпавший,
 На волю преданный грозам,
 Скажи, листок полуувядший,
 Куда летишь? — Не знаю сам!

С тех пор как дуб упал от бури,
 От дружной ветки отлучась,
 То я ношусь в степях лазури,
 То снова падаю я в грязь.

Я мчусь по прихоти суровой,
 Куда влечет меня мой рок,
 Куда несется лист лавровый
 И легкий розовый листок.

<1846>

¹ Куда летишь? — Не знаю я... (франц.). — *Ред.*

Бывают дни недуга рокового:
 Напрасно я гляжу кругом —
 Среди тревог волнения земного
 Услады сердцу нет ни в чем.
 Мне тяжело цветов благоуханье,
 Докучен свет роскошный дня,
 И звуков сладостных живое сочетанье
 Не трогает меня.

Но есть часы отрадного безумства:
 Печаль минувшую забыв,
 Я всё готов почтить приветом чувства,
 Платя отзывом на призыв, —
 И грустные дотоле впечатленья
 Мне кажутся так дивно хороши,
 Что я б хотел иметь в подобные мгновенья
 Два сердца, две души.

<1846>

ИЗ В. ГЮГО

Есть существа, которые от детства
 Мечты свои, надежды и желанья
 Кидают на ветер. Ничтожный случай
 Владеет их судьбой. Они стремятся
 Куда глаза глядят, не думая о цели,
 От истины не отличая лжи;
 Они летят, куда подует ветер,
 Гостят, где им открыта настежь дверь.
 Для них вся жизнь в мгновеньи настоящем,
 Затем, что прошлое для них погребло,
 А в будущем они читать не могут.
 Они живут — и только. Ум их праздный
 Не действует, а сердцем правит случай:
 За радостью у них идут печали,
 За верою безверье, за любовью
 Холодная насмешка и презренье;
 Они живут, как бог пошлет, с дня на день,
 И думают, как бог пошлет на мысли...

В них воли нет,— одна пустая прихоть
Владеет их поступками; и если
Они подчас погружены в раздумье,
Ничто далекое их мыслей не тревожит:
Любовь у них без муки, страсть без жара
И ненависть без злобы и гоненья...

Но ты на них нисколько не похожа —
Ты женщина и вместе с этим гений:
Здесь, на земле, ты горе мне врачуешь,
А в небеса указываешь путь.
В твоих речах, движеньях и во взоре,
Как в зеркале, отражены все тайны
Души твоей: в задумчивости виден
Глубокий ум, от опыта созревший;
В веселости — кипенье чувств сердечных,
А в красоте чарующей улыбки —
Души твоей божественные свойства...
В те дни, как мы кипим в заботах трудных,
Волнуемся общественным волнением,—
Ты, в тишине, идешь своей дорогой
И, чуждая забот и суеты,
Верна своим душевным убеждениям,
Как хоры звезд своим путям обычным,
Которые назначил им всевышний.
Ничто в тебе не резко. Всё спокойно,
Во всем видна твоя живая совесть,—
И если ты порою даже плачешь
И сетуешь на жизнь и на людей,
То слезы те так сладостны и тихи,
Как ручеек, текущий по долине,
А вздохи те как музыка, в которой
Всё дышит пламенем любви высокой,
Надеждой, верою и чистотой небесной.

Мне кажется при взгляде на тебя,
Что каждый взор, что даже каждый шаг твой
Гармонией какой-то дивной веет,
Что люди все, в сравнении с тобой,
Так суетны, ничтожны, бледны, жалки,
Как дикий вопль в сравнении с звучной песнью.

<1846>

* * *

Я не приду на праздник шумный
К вам, сердцу милые друзья,—
Делиться чувствами безумно
Уже давно не в силах я.
Со мной повсюду неразлучны
Противуречащие сны.
Все ваши радости — мне скучны,
Все ваши горести — смешны. . .

<1846>

В АЛЬБОМ ГРАФИНИ С—КОЙ

Жизнь наша — книга. Много в ней
Найдется сцен разнообразных:
Смешных, нелепых, скучных, грязных,
Тяжелых, вялых и бессвязных,
Как на страницах повестей.
Читать ее — нести вериги,
Прочтя — не выдержишь сказать:
Блажен, кому житейской книги
Не довелось прочитать. . .

<1846>

* * *

Il est, il est sur terre une infernale cuve,
On la nomme Paris. . .

A. Barbier¹

Есть бездна на земле, есть бездна роковая,
Ее зовут: Париж. В три раза обвивая
Бойницы, храмины и царские дворцы,

¹ Есть, есть на земле адская бездна, Ее называют Парижем. . .
А. Барбье (франц.).— *Ред.*

Река прожелкшая бежит во все концы. . .
Та бездна день и ночь клокочет и дымится. . .
Там вечно человек страдает и томится,—
Лохань, в которую стекает с давних пор
Со всех концов земли навозный хлам и сор,
Который наконец, всё высясь постепенно,
Волной крушительной течет по всей вселенной. . .

Там только изредка мелькает из-за туч
Зари румяной блеск и солнца яркий луч,
Там с утра до утра на стогнах шум тревожный,
Сну благотворному предаться невозможно;
И там никто не спит. . . а мысль и голова
Натянуты у всех, как в луке тетива,
Там каждый жмет других. Без всякого сознанья
Нисходят люди в гроб, смеясь над покаяньем;
Там храмы, кажется, остались для того,
Чтоб молвить: был здесь бог, но ныне нет его!

Там столько алтарей погибло в быстром ходе,
Там столько ярких звезд затмилось на восходе,
Там столько юных жатв погибло без плода
И столько гениев, поборников труда,
Исчезло без вести в чаду людских волнений,
Пустых сует земных и горьких убеждений,
Что нынче ничего не любит человек;
Не зная, как убить и в чем убить свой век,
Он прилепляется к одним предубеждениям:
Всё, кроме золота, унижено презреньем. . .

Увы! . . и после всех бесчисленных толчков,
И после опыта сурового веков,
И после стольких слав и стольких унижений —
И царственных начал и царственных падений,—
Старик, которого мы временем зовем,
Сметающий с земли весь сор своим крылом,

Всё рушащий вконец рукой неумолимой,
Разбивший вдребезги разврат и стены Рима,—
Находит в наши дни такую же лохань,
Куда, как прежде в Рим, течет отвсюду дрянь...

В Париже тот же шум и та же жажда власти,
Готовая дробить отечество на части,
И та же жалкая толпа клеветников,
Глухих сенаторов и ветреных льстецов,
И та ж насмешливость над голосом пророков,
Исполненным любви, надежды и уроков;
И та же суетность в поступках; цель для них:
Жизнь как-нибудь убить на зрелищах пустых,
И, словом, Рим воскрес у нас в Париже снова,
За исключением форм и неба голубова...

О ты, мятежное семейство парижан!
Ты словно человек, который вечно пьян,
Иль блудное дитя, отверженец семейства,
Готовый каждый день на новое злодейство;
Идя по улице, ты хлещешь заодно
Собаку тощую и звонкое стекло...
В вас, детях суетных, нет признака рассудка:
Вы плюете на всё, считая веру шуткой,
И всё, что кажется нам чистым и святым,
Вы называете ничтожным и пустым.

А между тем ты храбр, отважен в бранных спорах;
Как старый гренадер, ты ешь, глотаешь порох;
И, в сердце затая к отечеству любовь,
На пулю и на штык ты кинуться готов;
Но только что мятеж у двери запылает —
Тебя призыв ко злу невольно увлекает.
Бежа из дома в дом трепещущих граждан,
Ты, словно гибельный и страшный ураган,
Всё рушишь на пути, всё мечешь в ярый пламень
И даже дерзостно кидаешь в небо камень...

Французы, ветреный и гибельный народ!
Ты — море бурное, живой водоворот!
Чей голос иногда вселенную тревожит
И всё перевернуть в одно мгновенье может!
Волна, которая, до неба возлетя,
Внезапно падает на землю, как дитя,
Народ единственный, в котором вместе слиты
Пороки юности и старости маститой;
Народ, который всех сызмлада увлекал,
Но свет которого еще не разгадал!

Есть бездна на земле, есть бездна роковая,
Ее зовут: Париж. В три раза обвивая
Бойницы, храмины и царские дворцы,
Река прожелкшая бежит во все концы...
Та бездна день и ночь клоочет и дымится...
Там вечно человек страдает и томится,—
Лохань, в которую стекает с давних пор
Со всех концов земли навозный хлам и сор,
Который наконец, всё высясь постепенно,
Волной крушительной течет по всей вселенной.

<1846>

ИЗ А. ШЕНЬЕ

У каждого есть горе; но от братьев
Мы скрыть его стараемся улыбкой,
Притянутой нарочно. Мы жалеем
Одних себя,— и с завистью глядим
На тех людей, которые, быть может,
Не меньше нас горюют втихомолку...
Никто своей бедой — чужой не мерит,
А между тем едва ль из нас не каждый,
С разорванным на части сердцем, мыслит:
«Все счастливы... а я один несчастлив!...»
Мы все равно несчастливы! — Молитва

В нас воля разума слаба,
 Желанья наши своевольны;
 Что б ни сулила нам судьба,
 Всегда мы ею недовольны.
 Нам новизны давай для глаз,
 Давай для сердца нам обновы;
 И если счастье ловит нас,
 Мы горе выдумать готовы.

<1846>

СОН

(Из Байрона)

A dream which is not all a dream.
 «Darkness»¹

1

Жизнь двойственна: наш сон, как жизнь, имеет
 Свой дивный мир. Его напрасно люди
 Зовут чертой граничной бытия
 С небытием. Сон — тоже жизнь. Во сне мы,
 Как наяву, окружены мечтами,
 Исполненными жизни; мы горюем;
 Мы слезы льем и радуемся часто.
 Сон иногда, пригрезившийся нам,
 Волнует нас и после пробужденья,
 А иногда он улаждает горе,
 Которое нас грызло наяву.
 Летучие и явственные грезы,
 Как призраки прошедшего, летят,
 Пророчествуя часто, как Сивиллы.
 Сны чудную имеют силу... В нас
 Они то грусть, то радость пробуждают,
 Они творят из нас других людей

¹ Сон, который не только сон.
 «Тьма» (англ.).— *Ред.*

По прихоти. Они пугают нас
Минутными виденьями и тенью,
Встающею и гибнущею тотчас...
Но боже мой! прошедшее — не сон ли?
А что же сон такое? Сила духа,
Способная воссоздавать. — Душа
Творит миры несущие и может
Их населить такими существами,
Которые стократно выше нас —
По времени, и красоте, и целям.

2

Я видел два прелестных существа
Во цвете лет. Они гуляли вместе
По зелени пригорка: этот холм,
Казалось, был кольцом последним цепи
Других холмов и выдавался мысом.
Вокруг него не расстилалось море,
Но вместо волн смеялись луг и пашни;
А дальше лес, а по опушке леса
Крестьянские избушки, из которых
Клубами дым взвивался... Здесь-то были
И юноша и девушка; она
С любовью глядела на картины,
Кругом ее раскинутые... Он же
Ее одну, казалось, только видел.
Они цвели красой и жизнью оба,
Но разница заметная в летах
Была видна меж ними. Как луна,
Прорезавшись на крае небосклона,
Она была к развитию близка
И полному цветению жизни. Он же
Хотя отстал годами, но зато
Опередил ее развитием сердца...
Все чудеса и прелести вселенной
Слилися в ней для юноши, и он
Вгляделся так в черты лица, что память
Ее одну ему изображала...
Он весь был в ней. Дышал ее дыханьем,
Он видел всё ее глазами, думал
Ее умом... Отрывистое слово,

Звук, брошенный на ветер ею часто,
Рождали в нем какой-то знойный трепет...
Он не жил сам: в ее существовании
Всё бытие его сливалось. Мысли,
Как бы ключи, стекались в океан
Ее души. Пожатие руки,
Звук голоса в нем разливали тотчас
Озноб и жар: то он бледнел, то яркий
Румянец жег лицо его. Едва ли
Он понимал, что было с ним... Меж тем
Она была чужда его волнениям,
И вздох ее летел к другому... Братом
Она могла назвать его — и только...

Но юноше и этого довольно
От существа, которое от сердца
Звало его сим именем.
Она была единственною ветвью
Угаснувшей и доблестной семьи.

Быть братом той, которую любил он,
Он и хотел и не хотел... Зачем же?
Года ему потом глаза открыли
И грустную повысказали повесть...

»

Мой сон теперь внезапно изменился...
Я видел дом старинный. У ворот
Ржал конь уже оседланный. В обширной
Готической молельне с беспокойством
Взад и вперед тот юноша ходил...
Но вот он сел, схватил перо и что-то
На лоскутке бумаги написал...
Потом, склонясь печально головою,
Он оперся и судорожно вздрогнул;
Там, снова он встал с места — и письмо
Вдруг разорвал, но слез над ним не пролил...
Минуты две прошло — и он утих;
Какое-то спокойствие святое
Во всех чертах его заметно стало.
Вдруг настежь дверь — и в комнату вошла,

С улыбкою и кротостью во взгляде,
Та девушка, с которой он гулял.
Она была чиста как ангел божий,
Но видела любовь его, но знала,
Что тень она кидает на него,
Что он страдал... а как страдал? едва ли
Она могла понять его печали...
Он подошел; взял руку у нее
И дружески пожал ее; в сей миг
В его чертах, движеньях, в каждом взгляде
Роилась тьма каких-то дум; но скоро
С его лица всё сгладилось. Руку
Он выпустил из рук своих и вышел
Из комнаты. Грозящая разлука,
Казалось, их нисколько не смутила:
С улыбкою они расстались... Двери
Старинные со скрыпом отворились...
Он вышел вон, вскочил на скакуна —
И был таков... Уж только после
Он не входил в те двери — никогда...

4

Из юноши он мужем стал... Отчизной
Он избрал край далекий и пустынный,
Где солнце жгло окрестность: это солнце
С его душой согласовалось. Платье
И весь наряд его был как-то странен,
И сам он был не тем, чем был он прежде.
Он жизнь свою обрек волненьям: море,
Леса и степь ему отчизной стали...
Тьма образов, видений и картин
Мне виделась... и всюду был он. После
Явился он в полдневный зной, ища
Прохладного покоя: меж колонн,
Под тенью стен, кругом обросших мохом,
Своих творцов, однако, переживших,
Он лег, заснул. Невдалеке
От спящего паслись верблюды... дальше
У звонкого потока ржали кони —
И человек, одетый в плащ широкий,
На страже был... кругом его лежала

Толпа иноплеменцев. Кров над ними
Был свод небес — и этот свод небес
Был так хорош, лазурен и прекрасен,
Что только бог на нем бы мог явиться...

5

Мой сон опять внезапно изменился...
А девушка, которую любил он,
Была уже другому отдана...
Она жила в отечестве... далеко
От странника, блуждавшего в чужбине.
Вокруг нее, резвясь, играли дети,
Прелестные собою, как она;
Но на лице у ней виднелась горечь,
Тень внутренней борьбы; а на ресницах
Слезинки пробивались... Боже мой!
О чем бы ей печалиться, казалось?
Тот близок к ней, кого она любила,
А тот, кто сам ее любил безумно,
Был далеко... он не взволнует боле
Ее мечты преступною надеждой
И горестью своею не навевает
Ей на сердце тревожного волнения...
О чем же бы, казалось, горевать?
Она любви его не отвечала,
Она надежд ему не подавала...
В ее тоске он — призрак отдаленный,
Едва-едва очам мелькнувший сон...

6

Мой сон опять внезапно изменился...
Изгнанник вновь на родине... Мне снится,
Что в храме он стоит у алтаря
С невестою... Она собой прекрасна,
Но всё не та, звезда любви начальной!...
А между тем, когда идет обряд,
Его лицо покрыто тою ж тенью,
Как некогда в молельне... Тот же трепет
Заметен был в груди его... как прежде,
В глазах его роилась бездна дум

Загадочных... но вот он как-то тише,
Спокойней стал — и произнес обет.
Но мнится мне, что в клятве нет сознанья...
Что всё идет кругом в глазах его,
Что он совсем почти не помнит, где он
И близ кого... В уме его проходят
Старинный дом... ряд комнат... утро...
вечер...

И те места, где был он с ней когда-то.
Прошедшее явилось, словно призрак,
Текущий миг закрыло перед ним...
Бог весть зачем пришли воспоминанья
Незванные... зачем они пришли?..

7

Мой сон опять внезапно изменился.
Та женщина, которую любил он,
Была не той, чем некогда. Болезни
Душевные убили душу. Разум
Затерян был. Глаза померкли. Взоры
Оторвались от дальнего. Как фея,
Она жила в воздушном царстве. Мысли,
Несродные одна с другой, теснились
В ее уме. Невидимые нами
Видения летали вокруг нее...
И назвал свет ее — безумной. Но безумье —
Печальный дар! Оно способно видеть
Незримое для мудрости. Оно
Яснее нас читает книгу жизни,
Сближая нас, как телескоп, с природой;
Убив мечты, безумье нас знакомит
С той истиной, которую рассудок
В цветистые одежды облекает...

8

Мой сон опять внезапно изменился.
Скиталец мой опять один. Те люди,
Которые теснились вокруг него, —
Одни его оставили, другие
К нему пришли с открытою враждой.
Преследуем обидами и злобой,

Он жертвой стал несчастий. Тяжким горем
Отравлено всё было для него;
Как Митридат, он стал питаться ядом,
И этот яд, над ним утратив силу,
Стал наконец его любимой пищей:
Он жизнь нашёл, где видят смерть другие...
И сделались его друзьями горы,
И звезды с ним беседу повели,
Незримые владыки мира, духи
Ему в тиши рассказывали повесть
О чудесах вселенной. Ночь ему
Открыла грудь. Из бездн, стремнин глубоких
Ему шептал какой-то дивный голос
О чудесах и таинствах подземных...

<1846>

ИЗ ДАНТЕ

На полпути моей земной дороги
Забрел я в лес и заблудился в нем.
Лес был глубок; звериные берлоги

Окрест меня зияли. В лесе том
То тигр мелькал, то пантер полосатый,
То змей у ног, шипя, вился кольцом.

Душа моя была печалью сжата;
Я трепетал. Но вот передо мной
Явился муж, в очах с любовью брата,

И мне сказал: «В вожатого судьбой
Я дан тебе! Без страха, без усилий
Я в черный ад готов идти с тобой».

Слова его дышали слаще лилий
И вешних роз; но я ему в ответ:
«Скажи, кто ты?..» Он отвечал: «Виргилий».

А я ему: «Так это ты, поэт,
Пленительный, живой и сладкогласный!
Ты, в коем я, от юношеских лет,

Нашел родник поэзии прекрасной!
Учитель мой — подумай — у меня
Довольно ль сил на этот путь опасный?»

Он мне: «Иди! Душевного огня
Не трать в пылу минутного сомненья».
И я пошел... Уже светило дня

Потухнуло. В тумане отдаленья
Тропа едва виднелась между скал...
Но наконец вот — адские владенья.

На воротах Егова начертал:
«Через меня проходят в ту долину,
Где вечный плач и скрежет. Кто упал

Единожды в греховную пучину,
Тот не живи надеждой! Впереди
Он встретит зло, стенанья и кручину».

Почувствовал я страх в моей груди —
И говорю: «Мне страшно здесь, учитель».
А он в ответ: «Мужайся и иди...»

И мы вошли в подземную обитель.
Вокруг меня раздался вопль и стон,
И треск, и шум, и говор-оглушитель...

Я обомлел... «Куда я занесен?—
Подумал я. — Не сон ли это черный?»
Виргилий мне: «Нет, это, Дант, не сон!

Здесь черный ад. Сонм грешных непокорный,
Как облако, летит перед тобой,
В обители мучения просторной...»

А я ему: «За что, учитель мой,
Они в аду?» — «За то, что в жизни мало
Они пеклись о жизни неземной.

В них светлых чувств и мыслей доставало,
Чтоб проникать в надзвездные края;
Но воля в них от лености дремала...

В обители загробной бытия
От них и бог и демон отступился;
Они ничьи теперь, их жизнь теперь ничья...»

Я замолчал — и далее пустился,
А между тем бесчисленной толпой
Сонм грешников вокруг меня носился,

За ним вослед летел тяжелый рой
Шмелей и ос — они вонзили жало
В лицо и грудь несчастных. Кровь рекой,

С слезами их смешавшись, упала
На жаркий прах, а гадины земли
И кровь, и пот, и слезы их глотали...

Мы в сторону от грешных отошли
И с тайною сердечною тоскою
Пустились в путь — и к берегу пришли,

Склоненному над сонною рекою.
Тут встретил нас полуразбитый челн,
И в нем старик с сребристой бородою.

Сей старец был бесчувственный Харон,
Всех грешников на злую казнь везущий;
Вглядысь в меня, ко мне промолвил он:

«Зачем ты здесь, в несущем царстве — сущий?
В моей ладье тебе приюта нет:
С усопшими не должен быть живущий!»

Виргилий же на то ему в ответ:
«Мы с ним идем по тайной воле бога!
Свершай его божественный завет!»

Харон умолк. Мы сели в челн убогий.
И поплыли. Еще с золотых небес
Лились огонь и пурпур. Кормчий строгий

Причалил. Вот мы вышли в темный лес:
Ах, что за лес! Он весь сплелся корнями,
И черен был, как уголь, лист древес.

В нем цвет не цвел. Колючими шипами
Росла трава. Не воздух — смрадный яд
Точил окрест и помавал ветвями...

<1846>

ОТЧАЯНИЕ

(Из Н. Жильбера)

Безжалостный отец, безжалостная мать!
Затем ли вы мое вскормили детство,
Чтоб сыну вашему по смерти передать
Один позор и нищету в наследство...
О, если б вы оставили мой ум
В невежестве коснеть, по крайней мере;
Но нет! легко, случайно, наобум
Вы дали ход своей безумной вере...
Вы сами мне открыли настежь дверь,
Толкнули в свет из мирной вашей кельи;
И умерли... вы счастливы теперь,
Вам, может быть, тепло на новосельи,
А я? — а я, подавленный судьбой,
Вотще зову на помощь — все безмолвны:
Нет отзыва в друзьях на голос мой,
Молчат поля, леса, холмы и волны.

<1846>

ИЗ А. ШЕНЬЕ

И легче и вольней вздыхает как-то грудь,
Когда тоску свою разделишь с кем-нибудь.
Так сахарный тростник смягчает горь растенья.
Измена, кажется, сносней от разделенья.
И, это всё равно — услышит ли нас друг,
Изведавший, как мы, сердечный наш недуг,
Или одни идя, томясь волнением жгучим,
Вверяем грудь свою волнам, лесам дремучим.

<1846>

* * *

Сердце исчахло у нас от науки холодной. В ребенке,
Только что снявшем с себя пелены и оставившем куклы,
Вы не найдете теперь ни надежд увлекательно-милых,
Ни сладко-пленительных слов, ни веры в грядущее
счастье.

В нем, как в поддельном цветке, нет ни жизни, ни красок
тех ярких,
Кои встречаются вам на питомцах долин благодатных,
Вскормленных вешней росой и раскрашенных солнцем
полудня.

<1846>

* * *

Музыка — то же, что вздох, излетевший внезапно
из сердца...
Многое чувствуешь в нем, но понятного мало рассудку.

<1846>

КРУЖКА

(Восточное предание)

Подвигнутый верой, в пример развращенному веку,
Дервиш вдохновенный пошел в отдаленную Мекку,
Чтоб там поклониться священному гробу пророка
И глубже проникнуть в глубокие тайны Востока.

Взяв посох и кружку, оставя всех по сердцу близких,
Пошел и достиг он бесплодных степей аравийских,
Где, промыслом свыше на доблестный подвиг хранимый,
Сносил он и голод, и жажду, и зной нестерпимый.

Раз, в полдень, под пальмовой сенью зеленой,
Он видит источник, журчащий волною студеной;
Припав на колено, он жадно пьет чистую влагу,
Впивая с ней вместе и новую жизнь и отвагу...

Напившись, он кружку наполнил прозрачной водою
И дальше пустился песчаной дорогой степною,
В душе прославляя великую благодать аллаха
И ключ животворный, рожденный из жгучего праха.

Идет он... но в полдень мучительно-знойный, однажды,
Он снова, усталый, томится от пламенной жажды —
И кружку к устам он подносит с отрадой в пустыне:
Но влага прогоркла и стала противней полыни...

Дервиш поневоле и думой и сердцем смутился —
И к кружке своей он с упреком тогда обратился:
«Скажи, отчего ты напиток живой отравила
И едкую горечь студеной воде сообщила?»

Отвечает кружка: «Когда-то... спустя целым
веком —

Была я таким же, дервиш, как и ты, человеком,
И тоже любила, и тою же грустью терзалась,
И так же, как ты, я в себе и в других ошибалась.

Я верила в счастье и вечную благодать пророка,
Но вера и твердость погибли на сердце до срока.
Томясь, я погибла... и сделалась горстью пыли:
Из ней эту кружку смышленные люди слепили.

И вот почему я доселе в себе сохраняю
Всю прежнюю горечь и горечью той отравляю
Не только студеной и дышащей жизнью напитков,
Но даже надежду и веры священный избыток».

<1846>

* * *

Кого любить? Кому доверить
Святыню сердца своего?
Чьим нежным ласкам можно верить
И положиться на кого?

Где друг прямой и беспристрастный,
Который руку нам подаст
И не осудит нас напрасно,
И осудить другим не даст?..

Где? Как подумаешь об этом,
Так как-то сердцу тяжелей,
И, право, хочется со светом
Расчет окончить поскорей..

<1846>

К ***

(При отсылке стихов А. Барбье)

Вот вам Барбье,— его стихи
Облиты желчью непритворной,
Он современные грехи
Рисует краской самой черной;
Он не умеет так, как мы,
Льстецы слепые мнений века,
Хвалить развратные умы
И заблужденья человека.
Богобоязненный пророк,

Не подкупной ничем свидетель,
Он как палач разит порок,
Как гений ценит добродетель.

Вот вам Барбье! Его тоска,
Его железная суровость,
Неосторожность языка
Сначала, может быть, как новость,
Вам не понравятся. Но там,
Вникая в смысл его глубокой,
По сердцу он придется вам:
Вы правду цените высоко...
Нагая истина в наш век
Умы болезненно тревожит.
И вдохновенный человек
Не многим тронуть сердце может...

<1846>

* * *

Иные дни — мечты иные:
Нельзя ребенком вечно быть...
Пришлось мне годы молодые
Для настоящего забыть.

Но всё ж, какой-то волей тайной,
Простая песня мужика,
Взгляд, часто кинутый случайно,
Благоухание цветка —

Вся эта ветошь жизни пошлой
Невольно грудь волнует мне
И говорит о жизни прошлой
И о недавней старине!

Толпа живых воспоминаний
Чудесно вьется надо мной:
Вот я дитя... вот сказки няни...
Вот колыбель... вот лес густой...

Тот лес, где я любил когда-то,
В траве, как заяц, притаюсь,
Глядеть, как рыщет бес косматый,
За черной ведьмою гонясь;

Как в куще леса чьи-то очи
Огнем горят издалика,
И тени сумрачные ночи
Меня касаются слегка.

Любил я слушать звонкий лепет
Вблизи бегущего ручья,
Жужжанье мошки, листьев трепет
И вздох далекий соловья.

Виски горели, билось темя;
Я весь сгорал в живом огне:
Чего не слышал я в то время,
Чего тогда не снилось мне!

Но этот сон недолго длится,
Недолго им согрета грудь;
Передо мной опять ложится
Однообразный жизни путь...

4 февраля 1846

ЧЕРДАК

Je viens revoir l'asile où ma jeunesse
De la misère a subi les leçons.

*P.-J. Béranger*¹

Вот я опять под кровлей незабвенной,
Где молодость в нужде я закалил,
Где в грудь мою проник огонь священный,
Где дружбой я, любовью встречен был.

¹ Я снова увижу приют, где моя юность
Несчастливая получала уроки.

П.-Ж. Беранже (франц.).— *Ред.*

Душа моя, приличьем не гнетом,
В самой себе вмещала целый свет;
Легко я мог взбежать под кровлю дома:
На чердаке нам любо в двадцать лет.
Пусть знают все, что жил я там когда-то!..
Вот здесь кровать моя была... вот стол...
Вот та стена, где песни стих начатый
Я до конца случайно не довел...
Восстаньте вновь, видения святые!
Откликнитесь на мой живой привет!
Для вас в те дни закладывал часы я...
На чердаке нам любо в двадцать лет.

Явись и ты, скрываемая далью!..
И вот она мерещится опять...
Окно мое завешиваешь шалью
И кофточку кладешь мне на кровать...
Храни, амур, ее цветное платье
И свежесть щёк лелей и свежий цвет.
Любовников ее не мог не знать я...
На чердаке нам любо в двадцать лет.

Мои друзья устроили пирушку
В честь подвигов народных наших сил.
Их громкий клик достиг в мою лачужку:
Под Маренго я знал, кто победил...
Гремит пальба... из сердца песня льется...
Среди торжеств забот и страха нет...
В Париже быть врагу не доведется...
На чердаке нам любо в двадцать лет.

Но полно мне! Прощай, жильё родное!
За миг один увянувшей весны
Я отдал бы всё время остальное,
И опытность, и сны — пустые сны!
Надеждами и славой увлекаться,
На каждый звук в душе искать ответ,
Любить, страдать, молиться, наслаждаться:
На чердаке нам любо в двадцать лет,

10 мая 1846

ПОРТРЕТ

Он неприветлив, но ему
Ты можешь верить сердца тайны,
Он их не выдаст никому,
Не кинет на ветер случайно...

Он неприветлив, но когда
Заметит след тоски во взоре,
Он первый встретит вас тогда,
И первый он разделит горе.

Он неприветлив, но зато
Когда полюбит он однажды,
Он не разлюбит — ни за что,
А это сделает не каждый.

<1847>

* * *

Жаркое чувство любви ненадолго в душе остается:
Только что вспыхнет оно и угаснет сейчас же.

Но пепел

Этого чувства души возрождает в нас новое чувство:
Дружбу, которая нам никогда и ни в чем не изменит.
Так из простого цветка образуется осенью поздней
Плод, услаждающий вкус, обонянье и взгляд человека.

<1847>

* * *

Смотришь порой на нее, а мечтается — смотришь на небо:
Так у ней ясно чело, и так очи на звезды похожи!

<1847>

ИЗ ПРОПЕРЦИЯ

(Посвящено А. Д. Шелкову)

Magnum iter ad doctas proficisci cogor Athenas...¹

Я принужден наконец удалиться надолго в Афины:
Время и дальний предел исцелят мое сердце,

быть может...

С Цинтией видясь, что день, я что день накликаю мученья:
Верная пища любви есть присутствие той, кого любим...
Боги! Уж я ль не хотел, и уж я ль не старался вседневно
В сердце любовь потушить? Но она в нем упорно осталась;
Часто, на тысячи просьб, миллионы отказов я слышал.
Если ж случайно она, по неведомой прихоти сердца,
Ночью ко мне залетит, то садится лукаво поодаль,
С плеч не снимая одежд, облакающих стан ее гибкий...
Да! мне осталось одно: убежать под афинское небо;
Там далеко от очей, и от сердца она будет дальше...
Спустимте в море корабль; поскорее, товарищи, в руки
Весла возьмите на взмах; привяжите ветрила на мачты!
Вот уж и ветер подул, унося нас по влажной пустыне.
Рим златоверхий, прости! До свиданья, друзья!

Забывая

Все оскорбленья любви, и с тобой я заочно прощаюсь,
Цинтия, сердце мое! Новичок, я предался на волю
Адриатических волн. В первый раз мне теперь доведется
Шумно-бурливым богам океана молиться... Как только
Легкий корабль наш пройдет Ионийское море и вступит,
Чтоб отдохнуть от пути, на Лехейские тихие волны,—
Ноги мои, в свой черед, понесут меня дальше

и дальше...

Там, до Пирея дойдя, я пушусь по дороге Тезейской,
Дружно с обеих сторон обнесенной стенами. В Афинах
Буду стараться себя переиначить сердцем и мыслью,
С жаром души молодой изучая науки Платона
Или твою, Эпикур! С возрастающей жаждой я стану
Глубже вникать в красоты языка, на котором когда-то
Громы метал Демосфен, а Менандр щекотал все пороки...
Там услажу я мой взгляд чудесами искусства: ваянье,
Живопись, музыка вдруг окружают меня чарами. После

¹ В долгий путь я собираюсь в ученые ехать Афины... (лат.).—Ред.

Время и дальний предел понемногу и тихо затянут
Тайные язвы души; и умру я не слабою жертвой
Жалкого чувства любви, а по воле судьбы

неизбежной:

Станет день смерти моей днем торжества моей жизни.

<1847>

В. В. ТОЛБИНУ

Бывают дни в году, когда в душе у нас
Печали новые рождаются каждый час;
Когда нога скользит; когда нам всё на свете
Является глазам в каком-то черном цвете;
Когда в природе всё так дико и мертво,
Что видеть, кажется, не хочешь ничего. . .
Бурливо и темно в реке катятся волны,
Густые облака дождливым мраком полны,
Осенний воздух сыр и резок, как зимой,
Деревья зыблются печально головой. . .
Куда ни подойдешь, куда ни кинешь взгляд —
Везде встречаются то нищих бледный ряд,
То лица желтые вернувшихся из ссылки,
То гроб с процессией, то бедные носилки. . .
И если наконец, растерзанную грудь
Желая от тоски рассеять чем-нибудь,
Ты за город уйдешь, в приют уединенный,
Чтоб с уст любовницы сорвать залог

священный

Любви и верности. . . Увы! печаль-змея
Туда прокрадется вослед, как тень твоя.
И тщетно б ты хотел на лоне сладострастья
Искать забвения, надежды и участия.
Сквозь пурпурных ланит красавицы твоей,
Сквозь милые уста и чудный блеск очей,
Сквозь кожу тонкую пленительного цвета
Тебе почудится костлявый вид скелета.

<1847>

* * *

С невыразимым наслаждением,
С невыразимою тоской
Слежу за речью, за движеньем,
За взглядом, кинутым тобой.

Мне сладко верить, что судьбою
Тебе проложен светлый путь,
Что радость встретится с тобою
Когда-нибудь и где-нибудь. . .

Но грустно то, что, может статься,
Идя с тобой путем иным,
Мне поневоле не удастся
Упитья счастьем твоим.

Так иногда под небо юга,
В благословенный теплый край
Нам проводить приятно друга,
Но горько вымолвить: прощай!

<1847>

* * *

Ваш жребий пал! Счастливая пора
Для вас прошла. . . Вы кинули игрушки. . .
Не тешат вас пустые погремушки,
Которые с утра и до утра
Вас тешили не дальше, как вчера.
Вы нехотя на жизнь открыли глазки,
И что ж нашли? — Несбыточность мечты,
Гонения лукавой клеветы,
В друзьях своих — предательские ласки. . .

А прежде вы смеялись надо мной,
Вам шуткою моя казалась горечь,
И опыта действительная повесть
Была для вас безумною мечтой,
Воображения болезненной игрой. . .

Но от меня вас ждет другая плата:
Гонимые от света и молвы,
Во мне одном теперь найдете вы
Сопутника, товарища и брата.

<1847>

СОСЕД

Люблю я искренно соседа...
Он каждый день в мою нору
Приходит утром, до обеда,
Потом заходит ввечеру.

Неистоимые рассказы
Всегда готовы у него:
Про жизнь, про давние проказы
И годы юности его.

Ценитель подвигов народа,
Он любит часто вспоминать
Поход двенадцатого года
И нашей славы благодать...

Про то, как он, горя отвагой,
Искал везде опасных мест,
И награжден за это шпагой,
И получил в петличку крест...

Его восторг и речь живая
Шумит и льется, как поток

• • • • •
• • • • •

<1847>

* * *

Озябло горячее сердце мое
От стужи дыханья людского...
А с желчным рассудком плохое житье:
Рассудок — учитель суровый!..

Холодным намеком, насмешкою злой
Он душу гнетет и тревожит:
Смеется над каждою светлой мечтой,
А тайны открыть нам не может.

Внушая сомнение почти ко всему,
Он губит в нас волю и силу:
Кто в руки попался однажды ему,
Тот прямо ложится в могилу...

<1847>

СТРАННИК

Перекрестясь, пустился я в дорогу...
Но надоел мне путь,
Я поглазел довольно, слава богу,
Пора бы отдохнуть...
Не вечно же мне маяться по свету
Бог знает для чего:
Ведь у меня, сказать по правде, нету
По сердцу никого.

Люблю я лес, раскидистое поле,
Люблю грозу и гром,
Да и они прискучат поневоле
Не нынче, так потом...
И для чего, подумаешь, родится
И бродит человек!
Эх! На ночлег скорей бы приютиться!
Да и заснуть навек...

<1847>

* * *

Когда, склонившись на плечо,
Ты жмешь мне руку и вздыхаешь,
И, веря в счастье горячо,
Ты слишком много обещаешь...

Тебя становится мне жаль,
Я за тебя грущу невольно,
Сжимает сердце мне печаль,
И так мне трудно, так мне больно...

Я говорю тебе тогда:
«Не верь любви моей!.. День со дня
Бледней горит моя звезда...
Не тот я завтра, что сегодня...
По сердцу нашему скользя,
Всё благородное проходит:
Любить всегда одно — нельзя;
День новый — новое приводит...»

И ты, напуганная мной,
Спешешь к груди прижаться крепче...
Заранее зная жребий свой,
Обоим нам как будто легче...
В огне любви, в чаду страстей
Друг другу сладко нам предаться —
Своих послушаться речей,
Своим дыханьем надышаться...

Так на египетских пирах,
Держась старинного завета,
С гостями рядом на скамьях
Сажали пыльного скелета —
Затем, чтоб каждый из гостей,
В нем видя жребий свой грядущий,
Дар жизни чувствовал полней
И оценил бы миг текущий.

<1848>

* * *

Куда ни помотришь — повсюду,
Всегда видишь грустные лица:
Не встретишь веселой улыбки,
Веселого взгляда не встретишь...

Захочешь ли вслушаться в речи,
Летучие речи людские,—
В них слышишь какую-то муку
Сомненья, надежды и страха.

Сойдешься ли с искренним другом
И тайны ему поверяешь,—
Всё как-то не выскажешь мысли,
Ответа от друга не выждешь...

И трудно, и больно, и горько
Больному с больными встречаться.
Но может ли горе быть вечно?
Ужели границ нет терпенью?

<1848>

* * *

Как весело... идти вослед толпы,
Не разделяя с ней душевных убеждений,
Брать от нее колючие шипы
Ее пристрастных осуждений...

Как весело... на помощь призывать
Пустых надежд звенящие гремушки,
Чтоб после их с презреньем разбивать,
Как бьет дитя свои игрушки...

Как весело... оковы наложа
На каждый шаг, на все движенья сердца,
Бояться вырваться потом из рубежа
С предубежденьем староверца...

Как весело... увлекшись мечтой,
Прискивать в несбыточном возможность,
Чтоб после с горькою усмешкой над собой
Признать вполне ума ничтожность...

Как весело... не веря ничему,
Прикрыв лицо двусмысленною маской,

Наперекор душе, всем чувствам и уму,
Платить коварству мнимой лаской...

Как весело... глубоко полюбя
И пламенно желая чувств обмена,
Предвидеть нехотя, что ждут в конце тебя
Обыкновенные измены...

Как весело... измучась от борьбы,
По мелочам растратив жизнь и силы,
Просить, как милости, у ветреной судьбы
Себе безвременной могилы...

<1848>

СПОР

«У меня,— сказала море,—
На моем глубоком дне,
Много раковин чудесных,
Много светлых жемчугов».

«У меня,— сказала небо,—
В недоступной вышине,
Утром — солнце, ночью — месяц,
А над ними вечный бог...»

<1848>

* * *

Зачем забвенья не дано
Сердцам, алкающим забвенья,
Зачем нам помнить суждено
Ошибки наши и волненья?..

Зачем прошедшее, от нас
На быстрых крыльях улетевши,
Не может скрыть от наших глаз
Былого плод, давно созревший?..

Когда б не опы́т пре́жних лет,
Мы шли б по свету без оглядки,
И нас обманывал бы свет...
И жизнь была б полна загадки...

А ныне, знаний и трудов
Неся тяжелую веригу,
Мы бьемся все из пустяков —
Читаем читанную книгу...

<1848>

В АЛЬБОМ

Сердце молодое
Верует всему:
Благородным — злое
Кажется ему.

Изучивши зрело
И людей и свет,
Я решаюсь смело
Дать тебе совет:

Дружбе угождая,
Не забудь себя,
Верь — не доверяя,
Люби — не любя...

<1848>

К РЕБЕНКУ

С горячим участием смотрю на тебя я, ребенок!
Как взгляд твой приветлив, как голос твой мягок
и звонок,
Как каждое слово мне в грудь западает глубоко
И как увлекает оно мое сердце далеко...

Что́ день, за тебя я молюся пред светлой иконой:
Да будет тебе он на трудном пути обороной,
Да вечно хранит он тебя от житейской невзгоды:
Пускай бы цвела ты средь мира, любви и душевной
свободы. . .
. . . .

<1848>

ИЗ ГОРАЦИЯ

Parcius junctas quatiunt fenestras.¹

Реже у окон твоих молодежь собирается. Реже
Шумный их говор тебя пробуждает от сладкой дремоты.
Дверь покорилась замку; а бывало, она то и дело
Звонко на петлях визжит. . .

Нынче, как длинная ночь разольется широко по небу,
Реже и реже к тебе долетают признанья влюбленных,
Реже ты слышишь теперь: «Умираю от страсти
безумной. . .»

Ты же — о Лидия! — спишь. . .

Скоро настанет пора: ты совсем отцветешь. . .

и тогда-то,

В улице темной бродя и знобимая ветром холодным,
Вспомнишь невольно о тех, на которых ты прежде
смотрела

С ленивым презреньем. . . Тогда

Сердце твое, как огонь, запыляет мятежною страстью:
Будет оно день и ночь беспрестанным желаньем

терзаться;

Кровь потечет у тебя, как по жилам степной кобылицы,
Ищущей в степи коня. . .

¹ Реже в закрытые окна стучат (лат.).— Ред.

Тщетно ты взглянешь назад... Ведь румяная молодость
любит

Мирты цветущие: лист, отлученный грозой от ветки,
Гордо кидает она, не заботясь о нем, в волны Эбра,
Спутника мертвой зимы...

<1848>

ИЗ АПОСТОЛА ИОАННА

Когда пустынный Иоанн,
Окрепнув сердцем в жизни строгой,
Пришел крестить на Иордан
Во имя истинного бога,
Народ толпой со всех сторон
Бежал, ища с пророком встречи,
И был глубоко поражен
Святою жизнью Предтечи.
Он тяжкий пояс надевал,
Во власяницу облакался,
Под изголовье камень клал,
Одной акридою питался...
И фарисеи, для того
Чтоб потушить восторг народный,
Твердили всюду про него
С усмешкой дерзкой и холодной:
«Не верьте! видано ль вовек,
Чтоб кто-нибудь, как он, постился?
Нет, это лживый человек,
В нем бес лукавый поселился!»
Но вот Крестителю вослед
Явился к людям сам Мессия,
Обетованный много лет
Через пророчества святые.
Сойдя с небес спасти людей,
К заветной цели шел он прямо,
Во лжи корил учителей
И выгнал торжников из храма.
Он словом веру зажигал
В сердцах униженных и черствых,
Слепорожденных исцелял

Наш Минотавр, наш бык туземный — Лондон,
В своей алчбе тлетворного разврата
И день и ночь по тротуарам рыщет;
Его любви позорной každогодно
Не пятьдесят бывает надо жертв,—
Он тысячи, обжора, заедает
И лучших тел и лучших душ на свете...
«Увы, одни растут в пуху и шелке,
Их радостей источник — добродетель.
А я, на свет исторгнувшись из чрева
Плодливой матери, попала в руки
К оборванной и грязной нищете...
О нищета, советчица дурная,
Безжалостная!.. сколько ты
Под кровлю убогого жилища
Сбираешь жертв пороку!.. На меня
Ты кинулась не вдруг, а дождалась
Моей весны... Когда ж румянец свежий
Зардел в щеках и кудри золотые
Рассыпались по девственным плечам,
Ты тотчас же мой угол указала
Тому, чей глаз, косою и кровожадный,
Искал себе добычи сладострастья...» —
«А я была богата... У богатых
Есть также бог, который беспощадно
Своей ногой серебряной их давит:
Приличие — оно холодным глазом
Нашло меня своей достойной жертвой
И кинуло в объятья человека
Бездушного. А я уже любила...
О той любви узнали, только поздно...
От этого я пала глубоко,
Безвыходно. Нет слез таких, нет силы,
Которая б извлечь меня могла
Из пропасти. Ступивши в грязь порока,
Нога скользит и выбиться не может.
Да, горе нам, несчастным магдалинам!
По городам, от века христианским,
Не много есть таких людей отважных,
Которые бы нам не побоялись
Подать руки, чтоб слезы с глаз стереть...» —
«Я, сестры, я не грязным сластолюбьем

Доведена до участи моей.
Иное зло, с лицом бесстыдной самки,
Исчадие гордыни и тщеславья,
Чудовище, которое у нас,
Различные личины принимая,
Влечет, что день, семейство за семейством
От родины, бог весть в какие страны,
Суля им блеск взамен того, что есть,
А иногда взамен и самой чести.
Отец мой пал, мognавшись за корыстью;
Он увидел в один прекрасный день,
Как всё его богатство, словно пена,
Морской волной разметано. С нуждой
Я не была знакома. Труд тяжелый,
Дающий хлеб, облитый нашим потом,
Казался мне невыносимо страшен. . .
И я, сходя с ступени на ступень,
Изнеженная жертва! — пала в пропасть
Бездонную. . . «Стенайте, плачьте, сестры!
Но как бы стон и плач ваш ни был горек,
Как ни была б печаль едка, — увы! —
Моя печаль, мой плач живет ваших.
У вас они текут не из святого
Источника любви, как у меня.
О, для чего любовь я испытала?
Зачем злодей, которому всецело
Я отдала неопытное сердце,
Увлек меня из-под отцовской кровли
И, не сдержав обещанного слова,
Пустил меня по свету мыкать горе?
Агари был в пустыню послан ангел
Спасти ее ребенка. Я ж одна,
Без ангела-хранителя, невольно,
Закрыв глаза, пошла на преступленье,
Чтоб как-нибудь спасти свое дитя. . .»

А между тем нам говорят: «Ступайте,
Распутницы! . .» И жены, наши сестры,
На улице встречаясь с нами, с криком
Бегут от нас. Мы им тревожим мысли,
Внушаем страх! Но, в свой черед, и мы
Всей силою души их ненави́дим.

Ах! нам порой так горько, что при всех
Хотелось бы вцепиться им в лицо
И разорвать в клочки на лицах кожу...
Ведь знаем мы, что их священный ужас —
Ничто, как страх упасть во мненьи света
И потерять в нем прежнее значенье;
Страх этот мать семейства дочерям
Передает едва ль не с первой юбкой.

Но для чего в проклятиях и столах
Искать себе отмщенья? Эти камни
Посыпятся на нас же. У мужчин
На привязи, в презрении у женщин,
Что ни скажи — мы будем всё неправы
И участи своей не переменим...
Нет, лучше нам безропотно на свете
Роль тяжкую исчерпать до конца;
По вечерам, в блистающих театрах,
Сгонять тоску с усталого лица;
Пить джин, вино, чтоб их хмельною влагой
Жизнь возбуждать в своем измятом теле
И забывать о страшном ремесле,
Которое страшнее мук кромешных...
Но если жизнь для нас, несчастных, — тень,
Земля — тюрьма; так смерть зато нам легче:
В труппах нас она не мучит долго,
А захватив рукой кой-как, без шума,
Бросает всех в одну и ту же яму.
О смерть! твой вид и впалые глаза,
Как ни были б ужасны людям, мы
Твоей руки костлявой не боимся:
Объятия твои нам будут сладки,
Затем, что в миг, когда в нас жизнь потухнет,
Как коршуны, далеко разлетятся
Все горести, точившие нам сердце,
И тысячи других бичей, чьи когти
В клочки гнилья с нас обрывали тело.
В путь, сестры, в путь! Идемте... днем, как ночью,
За медный грош любовью промышлять...
Таков наш долг: мы призваны судьбою
Оградой быть семейств и честных женщин!..

<1862>

Ночь черным покровом лежала кругом;
Я с Германом по лесу мчался верхом,—
Куда и зачем? Мы не знали...
На небе скользила гряда облаков,
А звезды, пробившись сквозь ветви дерев,
Как яркие птички мелькали...

Я полон был грусти. А Герман, душой
Вконец истомленный житейской грозой
И верить не будучи в силах:
«Как жаль,— мне сказал он,— несчастных
людей,
Стоящих у входа могильных дверей!..»
А я: «Жаль мне тех, что в могилах...»

Глядит мой товарищ вперед, я — назад.
Быстро нас кони ретивые мчат.
Вот звон раздался на рассвете...
И Герман в порыве раздумий своих
Твердит: «Я жалею страдальцев живых!» —
«Мне жаль тех, кого нет на свете».

Кудрявые ветви о чем-то шумят;
Ручьи беспрестанно про что-то журчат;
Кустарники шепчут привольно...
«Увы,— молвил Герман,— живые не спят,
Они вечно плачут, весь век сторожат...» —
«Увы, есть и спящих довольно...»

«Жизнь — горе!.. — мне Герман опять говорит.—
Тот счастлив, кто умер. Он мирно лежит
В своем безысходном жилище...
Над ним гармонично шумит свежий лес,
И яркие звезды с далеких небес
Бросают лучи на кладбище...»

«Оставь,— говорю я,— не трать праздных слов
Над темною тайной безмолвных гробов...
Усопшие, может быть, дышат

МАРГАРИТКА

(Из В. Гюго)

В долине вечерний играл ветерок...
Роскошное солнце — небесный цветок,
Мешая разлиться таинственной мгле,
На западе тихо склонилось к земле.
А тут, недалеко, над ветхой стеной,
Поросшей крапивой и сорной травой,
Взошла маргаритка, в наряде простом,
В венке белоснежно-лучистом своем,
И, глядя, как солнце горит в небесах,
Шептала: «Я так же, как солнце, в лучах!»

<1862>

ИЗ В. ГЮГО

Земля кремнистая, холодная, скупая,
Где, пот и кровь свою обильно проливая,
Из одного куска насущного весь век
В трудах и горестях томится человек;
Где человек и сам черствеет, словно камень;
И где из городов заметно со дня на день
Бежит всё лучшее, что только в мире есть:
Свобода, Правда, Любовь, Покой и Честь;
Где гордость — общий бог; где заступом могильным
Слепая смерть грозит и сильным и бессильным;
Где высота — там мрак; где золото — там всё
Вертится перед ним, как будто колесо;
В лесах — свирепый волк; в селеньях — лютый

ГОЛОД;

Здесь зной тропический, а там полярный холод;
Среди взволнованных грозой морских зыбей
Везде виднеются обломки кораблей,
А на полях кругом мятеж толпы голодной,
Иль зарево войны кровавой и бесплодной;
Пожарища и стон повсюду в городах...
И это, это всё — звезда на небесах!

<1862>

Добро бы жить как надо — человеком!
И радостно глядеть на свой народ,
Как, в уровень с наукою и веком,
Он, полный сил, что день, идет вперед.

Как крепко в нем свободное начало,
Как на призыв любви в нем чуток слух,
Как десяти столетий было мало,
Чтоб в нем убить его гражданский дух...

Добро б так жить! да, знать, еще не время...
Знать, не пришла для почвы та пора,
Чтоб из нее ростки пустило семя
Народности, свободы и добра.

Но всё же мы уляжемся в могилы
С надеждою на будущность земли,
С сознанием, что есть в народе силы
Создать всё то, чего мы не могли.

Что пали мы, как жертвы очищенья,
Взойдя на ту высокую ступень,
С которой видели начатки обновленья
И чуяли давно желанный день!..

<1862>

ИЗ БАРЬЕ

О горькая бедность!
Ты, взявшая с искони века
В свое обладанье
Из божиих рук человека,—

Губительный призрак,
Играющий жертвой бессильной,
От дней колыбельных
До сумрачной двери могильной,—

Ты, пьющая жадно
Кровавые слезы людские,
От века глухая
На стоны и вопли живые. . .

О мать всех бедствий!
Я звал тебя часто к ответу
И все твои язвы,
Как в зеркале, выставил свету,—

Затем, чтобы каждый,
В груди чьей не камень положен,
Увидя твой образ,
Был тайною думой встревожен.

Чтоб мог он глубоко
Проникнуться теплым участием
К бесчисленным жертвам,
Гонимым нуждой и несчастьем,

И, гнев поборовши,
Уста ограждая от проклятий,
Считал бы за долг свой
Прощать осуждаемых братий.

О горькая бедность!
Дай бог моим песням успеха,
Пускай они всюду
Пробудят ответное эхо. . .

Пускай отзовется
На клич мой толпа благородных
Поборников дела —
За черное племя голодных!

Пора вдохновенным
Слить дружно свой голос скорбящий
И стать против язвы,
Людей миллионы губящей. . .

Пора лютый голод
Изгнать навсегда из-под неба

И, с братской любовью,
Дать каждому рту кусок хлеба...

Пора бесприютным,
Чтоб в мире их что-нибудь грело,
Дать на зиму шерсти
Прикрыть свое зябкое тело.

Гнетущая бедность!
Из рук твоих, жадных от века,
Пора бы всецело
Извлечь бедняка-человека...

Но тщетно! в юдоли
Стенаний и горького плача
Едва ль разрешима
Великая эта задача.

Как ум наш ни бейся
В тенетах труда и науки,
Чтоб как-нибудь братьям
Смягчить их тяжелые муки, —

Увы! бедным жертвам,
Идущим житейской дорогой,
На страже в грядущем
Страданий так много, так много,

Что робкое сердце людское,
Далеко предела земного,
Искать будет вечно
И мира и быта иного...

<1863>

* * *

Кто стал, помимо вечных лжей,
Герольдом истины свободной,—
Тот в общем мненьи враг людей,
Отступник веры, бич народный.

Как мы ценили правоту?
Какую ей давали плату?
Ведь все кричали: смерть Христу!
Смерть обольстителю Сократу!

И Галилей за то, что он
Мир двинул с места, был оплеван.
Судьба! вникая в твой закон,
Я вижу, наш успех основан

На том, что лучший из людей
Обязан крест принять на долю,
Отдать нам в жертву свет очей,
Всю душу, сердце, разум, волю,

Трудиться ночь и день-деньской,
Лить пот и кровь свою для брата
И, наконец, за подвиг свой
Стяжать название ренегата...

<1863>

* * *

Что миг — то новые удары,
Что день — то новая беда:
Там мятежи, а здесь пожары,
Повсюду ропот и вражда...

Недаром вызваны явления,
Но до поры молчит судьба,—
Начатки ль это возрожденья
Или предсмертная борьба?

Быть может, вспыхнет дух народный
Любовью к правде и труду,
И мы стезею благородной
Пойдем со всеми наряду.

А может быть, на повороте
С дороги сбившись, мы опять

Завязем по уши в болотѣ
И не вперед поидем, а вспять...

Нет, прочь сомненья! Горькой
доле
Настал теперь последний час.
Для пышных жатв готово поле,
И пахарь добрый есть у нас...

1863 (?)

СМЕХ

(Из Барбье)

1

Мы всё утратили, всё, даже смех радушный
С его веселостью и лаской простодушной,—
Тот смех, который встарь, бывало, у отцов,
Из сердца вырвавшись, гремел среди пиров.
Его уж нет теперь, веселого собрата:
Он скрылся от людей, и скрылся без возврата...
А был он, этот смех, когда-то добрый кум!
Наш смех теперешний — не более как шум,
Как вопль, исторгнутый знобящей лихорадкой,
Рот искажающий язвительною складкой.
Прощайте ж навсегда и песни и любовь,
Вино и громкий смех,— вы не вернетесь
вновь!

В наш век нет юношей румяных и веселых,
Во славу красоте дурачиться готовых;
Нет откровенности, бывалой в старину,—
При всех поцеловать не смеет муж жену;
Шутливому словцу дивятся, словно чуду;
Зато цинизм теперь господствует повсюду,
Желчь льется с языка обильною струей;
Насмешка подлая шипит над нищетой,
Повсюду, как в аду, у нас зубовой скрежет:
Смех не смешит людей — нет, он теперь
их режет...

О смех! Чтоб к нам прийти с наморщенным челом,
 Каким доселе ты кровавым шел путем?
 Твой голос издавна там слышался, бывало,
 Где всё в развалинах дымилось и пылало...
 Он резко пробежал над нивой золотой,
 Когда по ней толпу водили на разбой;
 На стенах городских, неожиданно, без причины,
 Он слышался сквозь стук ударов гильотины;
 Он часто заглушал и стон и громкий плач,
 Когда за клоч волос тряс голову палач...
 Вольтер, едва живой, но полный страшной силы,
 Прощаясь с жизнью, смеялся у могилы —
 И этот смех его, как молот роковой,
 В основах потрясал общественный наш строй.
 С тех пор под тяжестью язвительного смеха
 Ничто прекрасное не жди у нас успеха!

Увы! беда тому, в ком есть святой огонь,
 Кто душу положить хотел бы на ладони!
 Беда, сто раз беда той музе благородной,
 Которая, избрав от детства путь свободный,
 Слепая к призракам мишурной суеты,
 Полюбит идеал добра и красоты!
 Смех, безобразный смех — людской руководитель,
 Всего прекрасного завистливый гонитель,
 Как язва кинется внезапно на нее,
 Запутает в сетях, столкнет с пути ее...
 И тщетно, бедная, сбирала бы усилья
 Широко развернуть израненные крылья,
 И песнью в небесах подслушанной своей
 Затронуть заживо больную грудь людей, —
 Увы, на полпути, лишенная надежды,
 Поникнув головой, сомкнув печально вежды,
 Она падет с небес... А там, на краткий срок
 Забившись где-нибудь в безвестный уголок,
 Оплакивая жизнь, но с жизнью не споря, —
 Умрет до времени с душою, полной горя...

<1864>

Блаженны нищие духом, ибо их
 есть царствие небесное.

Европа движется. . . Над ней
 Громады черных туч нависли.
 Там жизнь всецело у людей
 Обречена труду и мысли.

А мы в родных своих степях,
 Храня преданья вековые,
 Живем, как пташки в небесах
 Иль как лилеи полевые.

Нет хлеба — мы кору едим;
 Сгорит изба — ночуем в поле;
 Обидит кто-нибудь — молчим,
 Во всем предавшись божьей воле.

<1869>

ИЗ В. ГЮГО

Услышав плач, я отпер дверь в лачугу.
 Там четверо детей осиротелых
 Над матерью усопшею рыдали. . .
 Конурка страх невольный наводила:
 Зеленый труп на рубище лежал;
 Нигде огня; в дырявый потолок
 Валилася солома с ветхой кровли.
 По-старчески задумалась малютка;
 А на устах покойницы улыбка —
 Ужасная улыбка — пробивалась,
 Как сквозь туман осенняя заря.
 Ребенок лет шести, в семействе старший,
 Казалось, хотел сказать: «Взгляните,
 В какую темь нас бросила судьба! . . .»

Здесь в комнате свершилось преступленье.
 Вот в чем оно. Под небом благодатным

Есть женщина, которая умна,
Кротка, добра как ангел. Бог ее,
Казалось, для счастья создал. Муж
У ней добряк-работник. Оба, вместе,
Без ропота, без зависти и желчи,
Ярмо свое житейское тянули.
Но вот болезнь свела в могилу мужа;
Теперь она вдова с пустой сумой
И четырьмя малютками. Сейчас же
За труд она схватилась, как мужчина.
Жива, добра, опрятна, бережлива,
Нет дров в печи, на койке — одеяла,
Она молчит... и день-деньской и ночь
То штопает чулки, то из соломы
Ковры плетет, шьет, вяжет, чтобы только
Добыть кусок насущенного малюткам.
Жизнь честная! Но раз приходят к ней —
И застают от голода умершей.

В кустарниках, летая, птички пели;
На кузницах звенели молотá;
Толпились в залах маски; поцелуи
Отдергивали с масок кружева;
Повсюду жизнь. Купцы считают деньги;
На улицах езда, веселый хохот;
Вагонов цепь колышет землю; дым
Валит из труб бегущих пароходов;
И в этот час движенья, блеска, шума
Под бедный кров работницы усталой,
Как тать ночной, прокрался лютый голод,
Схватил ее за горло — и убил.
Глад — это взор распутницы; дубина
Бездомного разбойника; ручонка
Малютки, хлеб ворующего робко;
Забытого бедняги лихорадка...
Земля же вся полна могучим соком,
Дающим жизнь обильную повсюду,—
Лишь плод созрел, уж колосится поле...
И между тем, когда себе пчела
С бузинного листка собирает соки,
Когда ручей поит обильно стадо,
Могила снедь готовит хищным птицам,

Когда шакал, гиена, василиск
Среди пустынь себе находят пищу,—
Ты, человек, голодной смертью гибнешь!
О, это зло — общественный проступок;
Страшилище-разбойник, порожденный
Запутанностью мрачной нашей жизни...

Господь! Зачем среди юдоли этой
Приходится сиротке говорить:
«Я голоден!» Дитя — не та же ль птичка?
Зачем же то, что гнездышку дается,
Отказано бывает колыбельке? ..

ВОСПОМИНАНИЕ НОЧИ 4 ДЕКАБРЯ

Ребенок был убит,— две пули — и в висок!
Мы в комнату внесли малютки тело:
Весь череп раскрыт, рука заостенела,
И в ней — бедняжка! — он держал волчок.

Раздели мы с унынием немим
Труп окровавленный, и бабушка-старуха
Седея наклонилась над ним
И прошептала медленно и глухо:
«Как побледнел он... Посветите мне...
О боже! волоса в крови склеились».
Ночь, будто гроб, темнела... В тишине
К нам выстрелы порою доносились:
Там убивали, как убили тут...

Ребенка простынею белой
Она окутала, и труп окоченелый
У печки стала греть. Напрасный труд!
Обвеян смерти роковым дыханьем,
Лежал малютка, холоден как лед,
Ручонки опустив, открывши рот,
Бесчувственный к ее лобзаньям...

«Вот посмотрите, люди добрые,— она
Заговорила вдруг, прервав рыдания,—
Они его убили... У окна
Он здесь играл... и в бедное создание,
В ребенка малого — ему еще восьмой
Годочек был — они стреляют... Что же
Он сделал им, малютка бедный мой...
Как был он тих и кроток, о мой боже...
С охотою ходил он в школу... да,
И все учителя его хвалили,
Он письма для меня писал всегда,—
И вот, разбойники, они его убили!
Скажите мне: не всё ль равно
Для господина Бонапарта было
Убить меня? Я смерти жду давно...
Но он... дитя...»

Рыданьем задушило
Старухе грудь, и не могла она
Сказать ни слова долго... Мы стояли
Вокруг несчастной, полные печали,
И сердце надрывалось в нас... «Одна,
Одна останусь я теперь... Что будет
Со мною, старой? Пусть господь рассудит
Меня с убийцами! За что они в наш дом
Пустили выстрелы? Ведь не кричал малютка:
«Да здравствует республика!» Лицом
Она склонилась к телу... Было жутко
Старухи горьким жалобам внимать
Над трупом отрока окровавленным...
Несчастливая! Могла ль она понять...

* * *

Оттого ли, что когда-то
Я любил тебя всех больше,—
Мне твое вниманье свято
И его влиянье долгие;

Или, может быть, в пустыне
Моего существованья

Я сберег еще поныне
Те же чувства и желанья;

Сам не знаю я... но только
При тебе, мой ангел милый,
Свежих чувств и мыслей столько —
Что их высказать нет силы!

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ

Алексей Николаевич Плещеев родился в 1825 г. в Костроме. Отец его служил тогда чиновником при архангельском, вологодском и олонейском генерал-губернаторе. Позднее он был переведен в Нижний Новгород, где прошло детство поэта. В 1839 г. Плещеева привезли в Петербург. В 1840 г. он поступил в школу гвардейских подпрапорщиков, которую оставил через полтора года из-за нелюбви к военной службе. В 1843 г. он поступает на восточный факультет Петербургского университета. В 1845 г., не окончив курса, покидает и его, объясняя впоследствии это решение своей болезненностью.¹ В университете, несмотря на кратковременность своего пребывания там, Плещеев обратил на себя внимание ректора П. А. Плетнева, друга Пушкина, издававшего после него «Современник». Плещеев послал ему несколько своих стихотворений. Плетнев, найдя, что в авторе «виден талант», пригласил его к себе и «обласкал», а стихотворения напечатал в «Современнике». Плетнев скоро, однако, охладил к Плещееву: «Как эти молодые люди заражены доктриною Краевского», — писал он Гроту в апреле 1844 г.² Под «доктриною Краевского» подразумевалось направление «Отечественных записок», приданное им Белинским.

Напугавший Плетнева радикализм Плещеева скоро свел последнего с кружком братьев Бекетовых, где играл видную роль Валерьян Майков, критик и публицист, вместе с Петрашевским составивший в 1845 г. знаменитый «Карманный словарь иностранных слов» — книгу, с которой начинается в России пропаганда социализма. О кружке Бекетовых рассказывает писатель Д. В. Григорович, отмечающий, что

¹ «Голос минувшего», 1915, № 11, стр. 34.

² Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 2. СПб., 1896, стр. 213 и 228.

там «особенно часто являлся А. Н. Плещеев, тогда также студент».¹ Кружок, следовательно, возник не позже 1845 года: позже Плещеев студентом не был. В кружке Бекетовых — начало личных отношений Плещеева не только с Валерьяном Майковым, видным тогда представителем утопического социализма (о нем позже Плещеев написал некролог),² но и с Достоевским и, вероятно, с самим Петрашевским. В 1849 г. в своих ответах следственной комиссии о начале знакомства с Петрашевским Плещеев писал, что знаком с ним «три года или около этого времени».³ Однако известно, что уже в 1845 г. А. В. Ханыков познакомился с Петрашевским у Плещеева; Плещеев же знакомит с Петрашевским и Достоевского (весной 1846 г.).⁴ Влиянию кружка Бекетовых надо в значительной мере приписать общий характер первого сборника стихотворений Плещеева, разрешенного цензурой к печати как раз весной 1846 г. (14 мая); недаром самая сочувственная о нем рецензия написана была В. Майковым.

Отъезд Бекетовых в Казань и неожиданная смерть Майкова (летом 1847 г.) были причиной распада кружка. Вместе с Ханыковым и Достоевским Плещеев переходит теперь в кружок Петрашевского. «В продолжение трехлетнего с ним знакомства,— как сам Плещеев показал на допросе,— от времени до времени бывал у него или по утрам до 12 часов... или по вечерам в положенный у него день».⁵ Но о самостоятельных выступлениях Плещеева в этом кружке сведений нет.

С Дуровым Плещеев познакомился, должно быть, у Петрашевского. И когда осенью 1848 г. возник особый кружок «дуровцев», в числе его организаторов был Плещеев.⁶ Он вполне посвящен был в те особые цели конспиративной пропаганды, ради которых под знаменем литературы, как «литературная партия», объединялись «дуровцы». Первые их собрания (в декабре 1848 г.) даже и происходили у Плещеева. На одном из них он прочитал из газеты «La Presse» речь в национальном собрании депутата Феликса Пиа (драматурга); на другом Н. Я. Данилевский излагал учение Фурье, а Н. А. Спешнев однажды прямо повел речь о печатании книг за границей. На первых собраниях у Дурова Плещеев, согласно показанию Пальма, «принимал участие в разговорах о том, чтобы читать статьи», запре-

¹ Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Л., 1929, стр. 148.

² «Русский инвалид», 1847, № 181, «Петербургская хроника».

³ Дело петрашевцев, т. 3. М.—Л., 1951, стр. 308.

⁴ «Голос минувшего», 1915, № 11, стр. 25—38.

⁵ Там же, стр. 38.

⁶ Там же, стр. 39—40, примеч. 4-е.

щенные цензурой, а когда зашла речь о запрещении тургеневского «Нахлебника», вызвался достать его текст в рукописи.¹ На том собрании, где П. Н. Филиппов поставил вопрос о литографировании этих рукописей, Плещеев уже не присутствовал: в начале марта 1849 г. домашние обстоятельства вызвали его в Москву. Письма его оттуда (к Дурову и Достоевскому) читались вслух на собраниях кружка. Поэт информировал петербургских друзей о настроении умов в Москве, о находящейся в обращении «рукописной литературе», упоминал о «людях, сочувствующих нашим мыслям, и способах деятельности». Плещеев прибегал даже к конспиративному «шифру» — под вымышленным «Карлом Ивановичем» он подразумевает Николая I, так же, как это делал в своих письмах Петрашевский.² Одновременно с письмами Плещеев шлет друзьям из Москвы и рукописи: знаменитое письмо Белинского к Гоголю, пьесу Герцена «Перед грозой» и пьесу «Нахлебник» Тургенева. Письмо Белинского, полученное и прочитанное у Петрашевского и Дурова Достоевским, послужило, как известно, главным поводом к обвинению как Достоевского, так и Плещеева.³

Приговоренный вместо казни к каторжным работам на четыре года, Плещеев все-таки выведен был 22 декабря вместе с другими на Семеновский плац и поставлен на эшафоте рядом с Достоевским и Дуровым. Окончательный приговор гласил: «Рядовым в Оренбургские линейные батальоны».⁴ 6 января 1850 г. ссыльный поэт был доставлен в Уральск, в казармы 1-го Оренбургского линейного батальона, а 25 марта 1852 г. его переводят в Оренбург, в батальон № 3. Это было значительным для него облегчением: Оренбург был тогда резиденцией начальника края, В. А. Перовского, который вмешался в судьбу ссыльного, когда летом 1852 г. к Плещееву пришла мать.

В Оренбурге Плещеев познакомился с семьей полковника В. Д. Дандевиль, пользовавшегося там репутацией человека умного и гостеприимного. Сближение с этой семьей вскоре пробудило в Плещееве, помимо других чувств, и уснувшую было страсть к поэзии. Весной 1853 г., когда Перовским был задуман Кокандский поход, Плещеева перевели, ради выслуги, в назначенный к походу 4-й ба-

¹ «Голос минувшего», 1915, № 12, стр. 58.

² Там же, стр. 58—65; ср. письмо Петрашевского от 27 ноября 1848 г. штабс-капитану П. А. Кузьмину («Философские и общественно-политические произведения петрашевцев», М., 1953, стр. 365).

³ Петрашевцы. Сборник материалов под ред. П. Е. Щеголева, т. 3. М.—Л., 1928, стр. 312.

⁴ Там же, стр. 336.

тальон; он принимал затем участие в осаде и взятии (18 июля) ко-кандской крепости Ак-Мечеть, за что был произведен из рядовых в унтер-офицеры. Возвратясь на зиму (1853—1854) в Оренбург, он снова просится, ради дальнейшей выслуги и освобождения, в не замиренную еще степь и в мае 1854 г. получает опять назначение в бывшую Ак-Мечеть, превращенную и переименованную теперь в форт Перовский (позже Перовск). Там, за тысячу верст от Оренбурга, Плещеев проводит два года, переписываясь с полковником Дандевилем и выжидая, пока Перовский в Петербурге выхлопочет ему производство в прапорщики. 25 июня 1856 г. Плещеев возвращается в Оренбург прапорщиком, а в ноябре он уже выходит в отставку с «дозволением вступить в гражданскую службу, кроме столиц». Согласно прошению от 5 марта 1857 г. он зачислен в оренбургскую пограничную комиссию столоначальником. 17 апреля 1857 г. Плещееву возвращено дворянство, а в октябре этого же года он женится на дочери местного чиновника Еликониде Александровне Рудневой.

9 февраля 1858 г. из Петербурга приходит разрешение Плещееву на въезд «в обе столицы», куда он в начале июня и выезжает вместе с женой, уволенный по службе на четыре месяца в отпуск.¹ «Послезавтра я еду, друг мой,—писал Плещеев из Оренбурга в Семипалатинск Достоевскому 30 мая.—Все уже уложено, квартира моя пуста — только одни чемоданы да ящики разбросаны там и сям... По еду я потихоньку, осторожно, потому что жена беременна».²

По приезде в столицы Плещеев возобновляет старые литературные связи, завязывает новые. В его письмах к Достоевскому — наряду с Тургеневым, Некрасовым, Салтыковым и Ап. Григорьевым — упоминаются теперь и Чернышевский и Добролюбов; с ними обоими он также переписывается. «Что за удивительная статья Николая Гавриловича, просто все пальчики облизать можно», — пишет Плещеев Добролюбову 12 февраля 1860 г. по поводу статьи Чернышевского «Капитал и труд», появившейся в «Современнике».³

Отношения с Добролюбовым, Чернышевским и Некрасовым, сближение с М. Л. Михайловым (еще в Оренбурге) влияют теперь

¹ Все приведенные выше даты заимствованы из статьи Л. Юдина «А. Н. Плещеев в ссылке» («Исторический вестник», 1897, № 5), где они приводятся, в свою очередь, с ссылкой на «аттестат», выданный Плещееву 10 февраля 1857 года. Поправки к указанной статье — в статьях М. Л. Юдина («Исторический вестник», 1905, № 10) и М. Д. («Минувшие годы», 1908, № 10).

² «Литературный архив. Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования», под ред. А. С. Долинна. Л., 1935, стр. 440—441.

³ «Русская мысль», 1913, № 1, стр. 141.

на политическую позицию Плещеева и определяют характер его поэтической деятельности. Первый после ссылки сборник Плещеева, вышедший в 1858 г., был встречен сочувственной рецензией Добролюбова в «Современнике». Критик отметил общественную значимость лирики Плещеева, особо выделив его ранние стихи, проникнутые «пылкими и гордыми мечтами юности». Он указал, что в новых произведениях поэта, «в силу обстоятельств» молчавшего много лет, заметны следы «какого-то раздумья, какой-то внутренней борьбы, следствие потрясенной и еще не успевшей снова установиться мысли». Добролюбов призывал автора стихотворения «Вперед» преодолеть настроения безнадежности и обратиться к мотивам, характерным для сборника 1846 г. «В своем прошедшем,— писал Добролюбов,— г. Плещеев может найти много страстных и мощных мотивов, способных увлечь человека с душой». В заключение критик выражал уверенность, что Плещеев «не утратил той силы мысли и стиха, какая проявлялась в некоторых из первых стихотворений».¹

Следующий сборник стихов Плещеева, вышедший в 1861 г., также был отмечен на страницах «Современника» (1861, № 3) большой рецензией, написанной М. Л. Михайловым.² Рецензия эта, приравняв, впрочем, не столько новые стихи, сколько перепечатку старых из сборника 1846 г., отводит этой книге видное место в русской поэзии 40-х годов.

Шестидесятые годы Плещеев проводит в Москве, порвав, как и Салтыков-Щедрин, с «Русским вестником» М. Н. Каткова и помещая свои стихи чаще всего в «Современнике», репрессии против которого сразу же отзываются и на нем. «Не знаю, известно ли Вам,— писал Плещеев А. А. Краевскому 9 августа 1863 г.,— что меня здесь обыскивали месяц тому назад и что бумаги мои... отправлены в Петербург. Бог весть откуда стряслась эта новая беда надо мною... В настоящее трудное время могут вменить в вину каждое неосторожное выражение в письме; особенно мне, которого прошедшее правительство не забыло, как видно из обыска».³ Поводом для обыска, как и предполагал Плещеев, послужили подозрения в причастности его к

¹ Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. 1. М., 1934, стр. 453—461.

² До недавнего времени эта рецензия приписывалась Чернышевскому и включалась в собрания его сочинений (см. Полное собрание сочинений, т. 7. М., 1950, стр. 956—968). Принадлежность ее Михайлову установлена лишь в 1953 году. См. М. Михайлов. Собрание стихотворений. «Библиотека поэта», Большая серия. Л., 1953, стр. 9.

³ Рукописное собрание Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

тянувшегося еще в 1863 г. делу о прокламациях («Молодая Россия» и др.). При обыске у Чернышевского взято было письмо к нему Салтыкова от 14 апреля 1862 г. с упоминанием Плещеева, а затем среди корреспонденции Чернышевского обнаружилось одно из писем самого Плещеева, располагая которым III отделение попыталось создать недостававшие ему улики против Чернышевского. Оно сфабриковало подложный его ответ Плещееву, в котором якобы шла речь о «станке», «тайном печатании» и т. п. «Документ» этот сообщен был обер-прокурору сената 18 июля 1863 г. Тогда же, как явствует из письма к Краевскому, у Плещеева в Москве произведен был обыск. Чернышевский, вызванный 24 июля в сенат для допроса, категорически отверг принадлежность ему письма, указав затем прямо (в заявлении от 14 августа), что его автором считает провокатора Всеволода Костомарова. С Плещеевым Костомаров знаком был как переводчик. Вызванный из Москвы, Плещеев явился в Петербург и 2 октября 1863 г. дал сенату требуемые показания, в которых говорил о полной своей непричастности к тем событиям и лицам, о которых упоминает провокационное письмо к «Алексею Николаевичу». Он скоро затем получил разрешение вернуться в Москву, дав подписку о немедленной явке по первому вызову. Вызова, однако, не последовало.¹

В 1872 г. Плещеев переселяется в Петербург и становится секретарем редакции некрасовских «Отечественных записок», где заведует кроме того стихотворным отделом. После запрещения журнала в 1884 г. он вместе с главными сотрудниками (Г. И. Успенским, В. Г. Короленко и Н. К. Михайловским) переходит в «Северный вестник». В числе молодых писателей, с которыми в эти годы Плещееву как секретарю редакции приходилось иметь дело, были Надсон и Чехов. Плещеев помогает Надсону напечатать поэму «Герострат».² С Чеховым в 1888 г. он обсуждает печатавшуюся в «Северном вестнике» повесть «Степь».³ Сам поэт эти годы пишет мало.

По опыту почти всей своей жизни Плещеев хорошо знал, что такое бедность. Вскоре после того как был отмечен в 1886 г. 40-летний юбилей литературной деятельности поэта, один из знакомых, придя к нему, был поражен тем, что «на письменном столе ничего не

¹ См. М. Лемке. Политические процессы Михайлова, Писарева и Чернышевского. СПб., 1907, ч. 4, «Еще подлог», стр. 360—396, а также стр. 217, 224—225.

² См. письма А. Н. Плещеева к С. Я. Надсону. «Невский альманах». Пг., 1917, вып. 2, стр. 113—129.

³ «Слово. Сборник второй к десятилетию смерти А. П. Чехова». П., 1914, стр. 235—285.

лежало и не стояло, кроме портрета Виктора Гюго в простой деревянной рамке... На вопрос... где же все юбилейные подарки и подношения — Плещеев со вздохом ответил: в ломбарде».¹ И вот за три года до смерти (в 1890 г.) с ним произошло, как он сам выражался, «нечто вроде сказок Шехерезады»: внезапно он сделался богачом, получив двухмиллионное наследство. Будучи сразу окружен «целой стеной откуда-то взявшихся друзей и поклонников», Плещеев «направо и налево давал «взаймы», отлично зная, что отдачи никогда не последует».² Тогда же он отдал в безвозмездное пользование крестьянам землю нижегородского своего имения, отказавшись от получения арендной платы.³ Предприняв, по совету врачей, поездку за границу, Плещеев скончался в Париже 26 сентября 1893 г. В день погребения в Москве, 6 октября, местным газетам запрещено было всякое «панегирическое слово покойному поэту».⁴

¹ Ф. Ф. Фидлер. Литературные силуэты. «Новое слово», 1914, № 6, стр. 29.

² Там же.

³ См. В. Е. Чешихин-Ветринский. А. Н. Плещеев в письмах к А. С. Гацисскому. «Русская мысль», 1912, № 4, стр. 126.

⁴ Ф. Ф. Фидлер. Литературные силуэты. «Новое слово», 1914, № 6, стр. 29.

ПЕСНЯ СТРАННИКА

(Из Рюккерта)

Тени гор высоких
На воду легли;
Потянулись чайки
Белые вдали.

Тихо всё... томленьем
Дышит грудь моя...
Как теперь бы крепко
Обнял друга я!

Весело выходит
Странник утром в путь;
Но под вечер дома
Рад бы отдохнуть.

<1844>

ДУМА

«Да помилюйте: наши предки
так делали, а разве они были
глупее нас?»

Подслушанная фраза

Vieux soldats de plomb que nous sommes,
Au cordeau nous alignons tous.
Si des rangs sortent quelques hommes,
Tous nous crions: à bas les fous!

Béranger. „Les Fous“¹

Как дети иль рабы, преданию послушны,
Как часто в жизни мы бываем равнодушны
К тому, что сердце нам должно бы разрывать,
Что слезы из очей должно бы исторгать.
Мы плакать не хотим, мы не хотим терзаться
И предрассудкам казнь в сомнениях искать;
Не лучше ль слепо им во всем повиноваться,
А в бедствиях судьбу спокойно обвинять!
И, мимо жертв идя шумящею толпою,
Вздыхать и говорить: так велено судьбою!
Когда же совесть вдруг, проснувшись, скажет нам:
«Виновник бед своих — ты, жалкий смертный, сам...
Ты глух, как истукан, на глас мой оставался,
И, призрак создав, ему повиновался!»
Вопль сердца заглушить мы поспешим скорей,
Чтобы не отравить покоя наших дней!
Когда ж среди толпы является порою
Пророк с могучею, великою душою,
С глаголом истины священной на устах,—
Увы, отвержен он! Толпа в его словах
Учения любви и правды не находит...
Ей кажется стыдом речам его внимать,
И, вдохновенный, он когда начнет вещать,—
С насмешкой каждый прочь, махнув рукой, отходит.
.....

1844

¹ Мы только старые оловянные солдатки, всех равняющие в ряды по шнуру. Если выйдет кто-нибудь из рядов, все мы кричим: долой безумцев!

Б е р а н ж е. «Безумцы» (франц.).— *Ред.*

НА ЗОВ ДРУЗЕЙ

(С французского)

К чему ваш зов, друзья? Тревожною тоскою
Реселый, шумный пир к чему мне отравлять?
В восторженных стихах за влагой золотою
Давно уж Вакха я не в силах прославлять!

Не веселит меня разгульное похмелье,
И не кипит во мне отвагой прежней кровь;
Исчезло дней былых безумное веселье,
Исчезла дней былых безумная любовь!

А кажется, давно ль, исполнен упованья,
В грядущее я взор доверчиво вперял,
И чужды были мне сомненья и страданья,
И, простодушный, я о счастье помышлял.

В ужасной наготе еще не представляли
Мне бедствия тогда страны моей родной,
И муки братьев дух еще не волновали;
Но ныне он прозрел, и чужд ему покой!

Вхожу ли я порой в палаты золотые,
Где в наслажденьях жизнь проводит сибарит,
Гляжу ль я на дворцы, на храмы вековые,—
Всё мне о вековых страданиях говорит.

Сижу ли, окружен шумящею толпою,
На пиршестве большом,— мне слышен звук цепей;
И предстает вдали, как призрак, предо мною
Распятый на кресте Великий Назарей!..

И стыдно, стыдно мне... от места ликованья,
Взволнован, я бегу под мой смиренный кров;
Но там гнетет меня ничтожества сознанье,
И душу всю тогда я выплакать готов.

Блажен, кто прожил век без горя и сомненья,
Кто взоры устремлял с надеждой к небесам;
Но я о счастье том не знаю сожаленья,—
И за него моих страданий не отдам!

О, не зовите ж вы меня — я умоляю,—
Веселые друзья, на шумный праздник ваш:
Уж бога гроздий я давно не прославляю,
И не забыться мне под говор звонких чаш.

<1845>

МОЛИТВА

(Из Гете)

О мой творец! о боже мой,
Взгляни на грешную меня;
Я мучусь, я больна душой,
Изрыта скорбью грудь моя;
О мой творец, велик мой грех,
Я на земле преступней всех!

Кипела в нем молодая кровь;
Была чиста его любовь,
Но он ее в груди своей
Таил так свято от людей.
Я знала всё... О боже мой,
Прости мне, грешной и больной.

Его я муки поняла;
Улыбкой, взором лишь одним
Я б исцелить его могла,
Но я не сжалилась над ним.
О мой творец, велик мой грех,
Я на земле преступней всех!

Томился долго, долго он,
Печалью тяжкой удручен;

И умер, бедный, наконец.
О боже мой, о мой творец,
Тронися грешною мольбой. . .
Вгляни, как я больна душой!

<1845>

СОСЕД

Скучно, грустно мне; в окошко
Небо серое глядит;
За стеной соседа песня
Вечно грустная звучит.

Кто сосед мой одинокий,
И о чем тоскует он?
Иль судьбою прихотливой
Он с подругой разлучен?

Об отчизне ли далекой,
Об отваге ль прошлых дней
Вспоминает он, унылый,
В тесной комнатке своей?

Утомил его, быть может,
Жизни долгий, скучный путь,
И, как я, скорей хотел бы
Странник бедный отдохнуть?

Кто б ты ни был,— эти звуки
В душу мне отраду льют.
Пой, сосед! . . Но, видно, слезы
Кончить песни не дают.

Вот затих он, и, как прежде,
Всё вокруг меня молчит,
И в окно мое печально
Небо серое глядит.

<1845>

СТРАННИК

Oh, quand viendra-t-il donc ce jour que je revais,
Tardif réparateur de tant de jours mauvais?
Jamais, dit la raison...

*H. Moreau*¹

Всё тихо... Тополн над спящими водами,
Как призраки, стоят, луной озарены;
Усеян свод небес дрожащими звездами,
В глубокий сон поля и лес погружены;

Воздушные струи полны ночной прохладой,
Повеял мне в лицо душистый ветерок...
Уж берег виден стал... и дышит грудь отрадой —
Быстрее же мчи меня, о легкий мой челнок!

Я вижу, огонек мелькнул между кустами
И яркой полосой ложится на реке;
Скитальца ль ждешь к себе, с томленьем и слезами,
Ты, добрый друг, в своем уютном уголке?

С молитвой ли стоишь пред чистою мадонной
И слышен шепот твой в полночной тишине;
Иль, может, рвешь листки ты розы благовонной,
Как Гретхен Фауста, гадая обо мне?

Услышав плеск волны, с улыбкой молодою,
Ты другу выйдешь ли навстречу в темный грот,
Где, к моему плечу приникнув головою,
Ты говорила мне, бывало: «День придет,

И близок он, когда ни горя, ни страданий
Не будет на земле!» — Нет, он далек, дитя;
И если б знала ты, как много упований,
Прекрасных и святых, с тех пор утратил я.

¹ Ах, когда же он придет, тот день, о котором я грезил.
Запоздалое возмещение стольких тяжелых дней?
Никогда, говорит рассудок...

Э. Моро (франц.). — Ред.

Ты помнишь ли, как мы с тобою расставались,
Как был я духом бодр, как полон юных сил!
Но вот разлуки дни, как грезы, миновались;
Отчизну и тебя я снова посетил!

И что ж? Утомлена бесплодною борьбою
Уже душа моя. Потух огонь в глазах;
И впала грудь моя, истерзана тоскою,
И не пылает кровь румянцем на щеках.

Я слышал ближних вопль, я видел их мученья,
Я предрассудка власть повсюду находил;
И страшно стало мне! и мрачный дух сомненья,
Ужасный дух меня впервые посетил!

Бессилие мое гнетет меня всечасно;
Уж холод в сердце мне, я чувствую, проник;
И я спешу к тебе, спешу, мой друг прекрасный,
В объятиях твоих забыться хоть на миг!

Сгустилась ночи тьма над спящими водами,
Повеял мне в лицо душистый ветерок,
Усыпан свод небес дрожащими звездами,
Быстрее же к берегам неси меня, челнок!

<1845>

ЛЮБОВЬ ПЕВЦА

На грудь ко мне челом прекрасным,
Молю, склонись, друг верный мой!
Мы хоть на миг в лобзании страстном
Найдем забвенье и покой!
А там, дай руку — и с тобою
Мы гордо крест наш понесем,
И к небесам, в борьбе с судьбою,
Мольбы о счастье не пошлем...
Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истошил,—
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл!

Страдать за всех, страдать безмерно,
Лишь в муках счастье находить,
Жрецов Ваала лицемерных
Глаголом истины разить,
Провозглашать любви ученье
Повсюду — нищим, богачам —
Удел поэта... Я волнений
За благо мира не отдам.
А ты? В груди твоей мученья
Таятся также — знаю я,—
И ждет не чаша наслажденья —
Фиал отравленный тебя!

Для страсти знойной и глубокой
Ты рождена — и с давних пор
Толпы бессмысленной, жестокой
Тебе не страшен приговор.
И с давних пор, без сожаленья
О глупом счастье дней былых,
Страдаешь ты, одним прощеньем
Платя врагам за злобу их!
О, дай же руку — и с тобою
Мы гордо крест наш понесем,
И к небесам, в борьбе с судьбою,
Мольбы о счастье не пошлем!..

1845

ГИДАЛЬГО

Полночь. Улицы Мадрида
И безлюдны и темны.
Не звучат шаги о плиты,
И балконы не облиты
Светом палевым луны.

Ароматом ветер дышит,
Зелень темную ветвей
Он едва-едва колышет...
И никто нас не услышит,
О сестра души моей!

Завернись в свой плащ атласный
И в аллею выходи;
Муж заснул... Боязнь напрасна.
Отдохнешь ты безопасно
У гидальго на груди.

Иль, как червь, до утра гложет
Ревность сердце старика?..
Если сны его встревожат,
Шпага острая поможет,—
Не дрожит моя рука!

Поклялся твоей красою
Мстить я мужу твоему...
Не владеть ему тобою!
Знаю я — ты злой семьею
Продана была ему!

Выходи же на свиданье,
Донья чудная моя!
Ночь полна благоуханья,
И давно твои лобзанья
Жду под сенью миртов я!..

1845

* * *

Когда я в зале многолюдном,
Тревогой тайною томим,
Внимаю Штрауса звукам чудным,
То полным грусти, то живым;
Когда пестреет предо мною
Толпа при свете ярких свеч;
И вот, улыбкой молодою
И белизной прозрачных плеч
Блистая, ты ко мне подходишь,
В меня вперяя долгий взор,
И разговор со мной заводишь,
Летучий, бальный разговор...

О, отчего так грустно, больно
Мне станет вдруг... Тебе едва
Я отвечаю, и невольно
На грудь клонится голова.
И всё мне кажется, судьбою
На муки ты обречена;
Что будет тяжкою борьбою
И эта грудь изнурена;
Что взор горит огнем страданья,
Слезу напрасно затая;
Что безотрадное рыданье
За смехом звонким слышу я!
И жаль мне, жаль тебя — и слезы
Готовы кануть из очей...
Но это всё больные грезы
Души расстроенной моей!
Прости мне, друг; не зная скуки,
Забыв пророческую речь,
Кружись, порхай под эти звуки
При ярком свете бальных свеч!

1845

СОН

(Отрывок из неоконченной поэмы)

La terre est triste et dessechée;
mais elle reverdira. L'haleine du
mechant ne passera pas éternelle-
ment sur elle, comme un souffle
qui brûle.

„Paroles d'un croyant“.¹

.
Истерзанный тоской, усталостью томим,
Я отдохнуть прилег под явором густым.

Двурогая луна, как серп жнеца кривой,
В лазурной вышине сияла надо мной.

¹ Земля печальна и иссушена; но она снова зазеленеет. Дыхание
влого не будет вечно проноситься над нею, как палящее дуновение.

«Слово верующего» (франц.). — *Ред.*

Молчало всё кругом... Прозрачна и ясна,
Лишь о скалу порой дробилась волна,

В раздумьи слушал я унылый моря гул,
Но скоро сон глаза усталые сомкнул.

И вдруг явилась мне, прекрасна и светла,
Богиня, что меня пророком избрала.

Чело зеленый мирт венчал листьями ей,
И падал по плечам златистый шелк кудрей.

Огнем любви святой был взор её согрет
И разливал на всё он теплоту и свет.

Благоговенья полн, лежал недвижим я
И ждал священных слов, дыханье притая.

Но вот она ко мне склонилась и рукой
Коснулась слегка груди моей больной.

И наконец уста разверзлись ее,
И вот что услышал тогда я от нее:

«Страданьем и тоской твоя томится грудь,
А пред тобой лежит еще далекий путь.

Скажу ль я, что тебя в твоей отчизне ждет?
Подымет на тебя каменя твой народ

За то, что обвинишь могучим словом ты
Рабов греха, рабов постыдной суеты!

За то, что возвестишь ты мщенья грозный час
Тому, кто в тине зла и праздности погряз!

Чье сердце не смущал гонимых братьев стон,
Кому законом был отцов его закон!

Но не страшися их! и знай, что я с тобой,
И камни пролетят над гордой головой.

В цепях ли будешь ты,— не унывай и верь,
Я отопру сама темницы мрачной дверь.

И снова ты пойдешь, избранный мной левит,
И в мире голос твой недаром прозвучит.

Зерно любви в сердца глубоко западет;
Придет пора, и даст оно роскошный плод.

И человеку той поры недолго ждать,
Недолго будет он томиться и страдать.

Воскреснет к жизни мир. . . Смотри, уж правды луч
Прозревшим племенам сверкает из-за туч!

Иди же, веры полн. . . И на груди моей
Ты скоро отдохнешь от муки и скорбей».

Сказала. . . И потом сокрылася она,
И пробудился я, взволнованный, от сна,

И истине святой, исполнен новых сил,
Я дал обет служить, как прежде ей служил.

Мой падший дух восстал. . . И утесненным вновь
Я возвещать пошел свободу и любовь. . .

<1846>

ПОЭТУ

Le poète doit être un protestant sublime
Du droit et de l'humanité.

*A. Barbier*¹

Кто не страдал святым страданьем,
Кто горьких слез не проливал,
Томимый тщетным ожиданьем
Увидеть вечный идеал;

¹ Поэт должен быть возвышенным мятежником
Во имя права и человечности.

А. Барбье (франц.).— Ред.

Кто на покой и наслажденья
Души тревоги променял;
В пророков истины камня
В угодность черни кто бросал;
Кто равнодушно видел муки,
Стон слышал брата своего,
И в ком цепей тяжелых звуки
Не пробуждали ничего;
Кто сам, преданья раб послушный,
Готов оковы был носить
И вопли сердца малодушно
В забавах света заглушить,—
Тот не поймет твоих созданий,
Любовью дышащих святой,
И в жизнь иную упований
Не разделить ему с тобой!
И много их в толпе найдется,
Злых фарисеев и глупцов,
Живущих мыслями отцов,
В ком речь твоя не отзовется;
Но ты иди прямой дорогой,
Привычной, смелою стопой;
Когда в душе сокровищ много,
Не расточай их пред толпой;
Но будь гонимых утешитель,
Врагам озлобленным прости,
И верь, что встретишь, как
Спаситель,
Учеников ты на пути.

Но будет время... пронесутся
Дни бедствий, горя и тревог;
Жрецы Ваала ужаснутся,
Когда восстанет правды бог!
Навеки в мире водворится
Священной истины закон,
И гордых власть пред ним смирится
И смолкнет ненависть племен.

.
.
Да, верь: любви и примиренья

Пора желанная придет,
И мир, прозрев, твое ученье
Тогда великим назовет.

<1846>

* * *

Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!

Смелей! Дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед,
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет.

Жрецов греха и лжи мы будем
Глаголом истины карать,
И спящих мы от сна разбудим,
И поведем на битву рать!

Не сотворим себе кумира
Ни на земле, ни в небесах;
За все дары и блага мира
Мы не падем пред ним во прах! . .

Провозглашать любви ученье
Мы будем нищим, богачам,
И за него снесем гоненье,
Простив безумным палачам.

Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил;
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл!

Пусть нам звездой путеводной
Святая истина горит;

И, верьте, голос благородный
Недаром в мире прозвучит!

Внемлите ж, братья, слову брата,
Пока мы полны юных сил:
Вперед, вперед, и без возврата,
Что б рок вдали нам ни сулил!

<1846>

ОТВЕТ

Мы близки друг другу... Я знаю,
Но чужды по духу... Любви
Давно я к тебе не питаю,
И холодны речи мои...

Не в силах я лгать пред тобою,
А правда страшна для тебя...
К чему же бесплодной борьбою
Всечасно терзать нам себя?

В кумирах мне бога не видеть,
Пред ними чела не склонить!
Мне всё суждено ненавидеть,
Что рабски привыкла ты чтить!

Кто истине, верный призванью,
Себя безвозвратно обрек,—
И дом и семью без роптанья
Оставит, сказал нам пророк...

О, верь мне, напрасны упреки:
Расстаться нам должно с тобой...
Любви мы друг к другу далеки,
Друг другу мы чужды душой...

<1846>

Страдал он в жизни много, много,
Но сожаленья не просил
У ближних, так же как у бога,
И гордо зло переносил.

А было время — и сомненья
Свои другим он поверял,
Но тщетно... бедный не слышал
От брата слова утешенья!

Ему сказали: «Молод ты,
Остынет жар в крови с летами,
Исчезнут пылкие мечты...
Так точно было прежде с нами!»

Но простодушно верил он,
Что не напрасны те стремленья,
И прозревал он в отдаленьи
Священной истины закон.

Ему твердили с укоризной,
Что не любил он край родной;
Он мир считал своей отчиной
И человечество — семьей!

И ту семью любил он страстно,
И для ее грядущих благ
Истратить был готов всечасно
Избыток юных сил в трудах.

Но он любимым упованьям
Пределы всюду находил
В стране рабов слепых преданья,
И жажды дел не утолил!

И умер он в борьбе бесплодной,
Никто его не разгадал;
Никто порывов не узнал
Души любящей, благородной...

Считали все его пустым,
И только юность пожалели;
Когда ж холодный труп отпели,
Рыданья не было над ним.

Над свежей юноши могилой
Теперь березы лишь шумят,
Да утром пасмурным звучат
Напевы иволги унылой. . .

<1846>

ПОДРАЖАНИЕ БАЙРОНУ

Когда я прижимал тебя к груди своей,
Любви и счастья полн и примирен с судьбою,
Я думал: только смерть нас разлучит с тобою,
Но вот разлучены мы завистью людей.

Пуškai тебя навек, прекрасное созданье,
Отторгла злоба их от сердца моего.
Но верь — им не изгнать твой образ из него,
Пока не пал твой друг под бременем страданья.

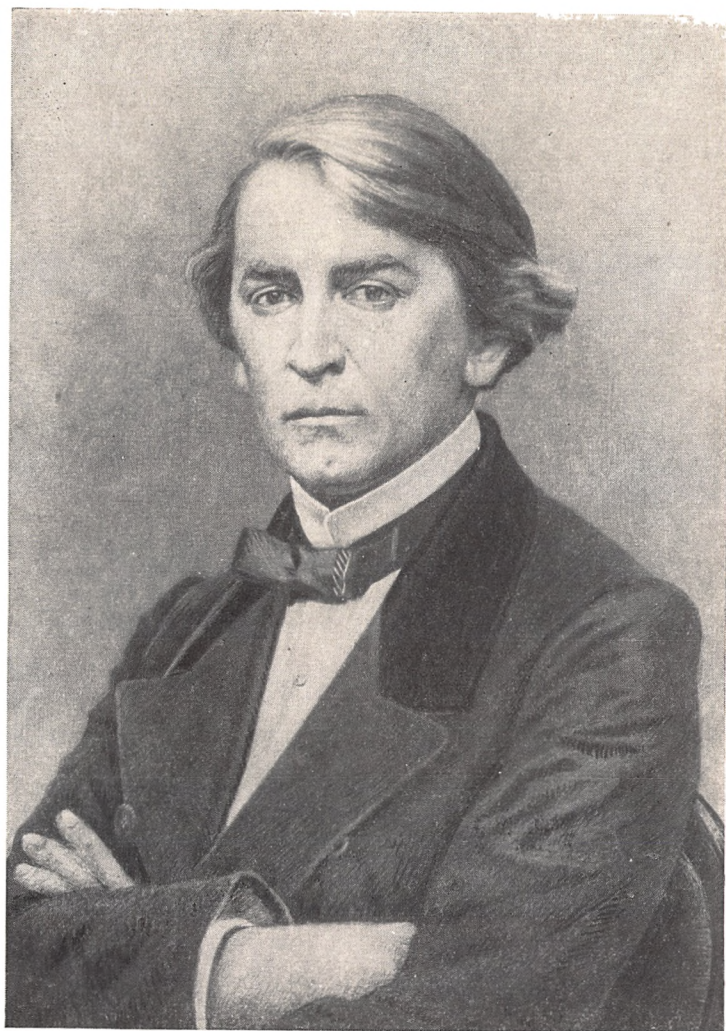
И если мертвецы приют покинут свой,
И к вечной жизни прах из тленья возродится,
Опять чело мое на грудь твою склонится:
Нет рая для меня, где нет тебя со мной!

<1846>

* * *

1

К чему мечтать о том, что после будет с нами,
О том, чего уму постигнуть не дано. . .
Хоть часто тернии здесь смешаны с цветами,
Но всё ж земную жизнь бесславить вам грешно.
Отрадного и в ней, поверьте, много, много. . .



Смотрите: гром затих, и ясен свод небес...
И тучки прочь бегут лазурною дорогой,
И шепчет им вослед привет прощальный лес.
Смотрите, как луга вокруг благоухают,
Упитана дождем зеленая трава,
И легкий ветерок с волной реки играет,
И рожь золотистая колышется едва...
Прекрасен этот мир! Возможно наслажденье!
К чему ж о гробе нам всечасно говорить...
Здесь ласки жен и дев, и страсти упоенья.
Здесь сердце может всё, что хочет, полюбить!..

2

Да! этот мир хорош; но право наслаждаться
Даровано ли всем могучею судьбой?
Здесь узники вдали от родины томятся,
Там в рубище бедняк с протянутой рукой.
Тот солнечных лучей напрасно ищет взором,—
Не заглянут они в окно тюрьмы его...
Другой на небеса глядит с немым укором,—
От зноя отдохнуть нет крова у него!
Не для него красы улыбка молодая,
Его трудов — другим всегда назначен плод.
Под тяжким бременем нужды изнемогая,
Прекрасным этот мир бедняк не назовет!..
Но пред лицом творца равны его созданья,—
И там найдет бедняк за муки воздаянья.

3

Да, верю, верю я, что все пред ним равны...
Но люди не для мук, для счастья рождены!
И сами создали себе они мученья,
Забыв, что на кресте господь им завещал
Свободы, равенства и братства идеал
И за него велел переносить гоненья.

<1846>

* * *

Вот ми барабан и не бойся,
Целуй маркитантку звучней!
Вот смысл глубочайший искусства,
Вот смысл философии всей!

Сильнее стучи и тревогой
Ты спящих от сна пробуди!
Вот смысл глубочайший искусства,
А сам маршируй впереди!

Вот Гегель! Вот книжная мудрость!
Вот дух философских начал!
Давно я постиг эту тайну,
Давно барабанщиком стал!

<1846>

* * *

По чувствам братья мы с тобой,
Мы в искупленье верим оба,
И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной.
Когда ж пробьет желанный час
И встанут спящие народы —
Святое воинство свободы
В своих рядах увидит нас.
Любовью к истине святой
В тебе, я знаю, сердце бьется,
И в твоих докумах в нем найдется
На неподкупный голос мой.

1846

НОВЫЙ ГОД

(Кантата с итальянского)

Г о л о с

Слышны клики — поздравленья,
Хрусталя заздравный звон,
Ближе час освобожденья,
Ближе истины закон!

Х о р

Год еще мы отстрадали,
Изнуренные борьбой,
Тщетно руки простирали
К небу с теплою мольбой,

Тщетны, тщетны все моленья!
Правды бог не восстает,
Тяжко нам! Зерно сомненья
Каждый день в груди растет.

Г о л о с

О, к чему, к чему роптанье!
Искупленья близок час.
Дух лукавый отрицанья
Да отыдет прочь от нас!

Дни тревог и горя, братья,
Пролетят как смутный сон.
Уж гремят врагам проклятья —
Слышу я — со всех сторон.

Близок час последней битвы!
Смело двинемся вперед, —
И услышит бог молитвы
И оковы разобьет.

1848

ПРИ ПОСЫЛКЕ РАФАЭЛЕВОЙ МАДОННЫ

Окружи счастьем счастья достойную,
Дай ей спутников, полных внимания;
Молодость светлую, старость спокойную,
Сердцу незлобному мир упования!

М. Лермонтов

В часы тяжелых дум, в часы разуверенья,
Когда находим жизнь мы скучной и пустой
И дух слабеет наш под бременем сомненья,
Нам нужен образец терпения святой.

А если те часы печали неизбежны
И суждено вам их в грядущем испытать,
Быть может, этот лик, спокойный, безмятежный,
Вам возвратит тогда и мир и благодать!

Вы обретете вновь всю силу упованья.
И теплую мольбу произнесут уста,
Когда предстанет нам Рафаэля созданье,
Мадонна чистая, обнявшая Христа!

Не гасла вера в ней и сердце не роптало,
Но к небу мысль всегда была устремлена;
О, будьте же и вы — что б вас ни ожидало —
Исполнены любви и веры, как она!

Да не смущает вас душевная тревога;
Да не утратите средь жизненного зла,
Как не утратила святая мать бога,
Вы сердца чистоты и ясности чела.

17 февраля 1853

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

(Л. Э. Д.—при посылке моих стихов)

Опять весна! Опять далекий путь!
В душе моей тревожное сомненье;
Невольный страх мою сжимает грудь.
Засветится ль заря освобожденья?

Велит ли бог от горя отдохнуть,
Иль роковой, губительный свинец
Положит всем стремлениям конец?

Грядущее ответа не дает...
И я иду, покорный воле рока,
Куда меня звезда моя ведет...
В пустынный край, под небеса Востока!
И лишь молю, чтоб памятен я был
Немногим тем, кого я здесь любил...

О, верьте мне, вы первая из них!
Я забывал при вас тоску изгнания.
Вам и теперь мой безыскусный стих,
Как сердца дань, я шлю на расставаньи.
Пусть иногда в раздумья тихий час
Он обо мне заставит вспомнить вас.

И, может быть, вы дружеский привет
Пошлете мне, исполнены участия,
Чтоб, лаской той утешен и согрет,
Мой дух не мог утратить веры в счастье...
Так на чужбине пленнику порой
Отраднa пeснь страны его родной!

Весна 1853

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ ГАЗЕТ

Мне тяжело читать кровавые страницы,
Что нам о племенных раздорах говорят,
Как тяжело смотреть на сумрачные лица
Семьи, где издавна господствует разлад.

Отчизну я люблю глубоко и желаю
Всей полнотой души цвести и крепнуть ей,
Но к племенам чужим вражды я не питаю,
Ей места нет в душе незлобивой моей.

Рассказ о подвигах на поле грозной битвы
Восторгом пламенным мне не волнует кровь;

И к небесам я шлю горячие молитвы,
Чтоб низошла в сердца озлобленных любовь.

Чтоб миновали дни тревог, ожесточенья,
Чтоб, позабыв вражду и ненависть свою,
Покорные Христа высокому ученью,
Все племена слились в единую семью!

1854

* * *

Еще один великий голос смолк,
Правдивый голос обличенья!
Но где же слезы сожаленья?
Лишь дети лжи, поднявши буйный толк,
Глумятся над великой тенью.

Давно ль он словом пламенным карал
Тебя, изнеженное племя!
Давно ль любви и правды семя
В сердца людей так щедро он бросал?
Иль позабыто это время?

Недолго волновала вас
Тех слов пророческая сила;
Дымятся снова злу кадила;
И всё, о чем вещал пророка глас,
Корысть и пошлость поглотила!

Но день придет — и стихнет клевета,
И, вместо криков озлобленья,
В тот день великий возрожденья
Услышит дух поборника Христа
Толпы людской благословенья!

1854 (?)

(При вступлении на поприще)

Перед тобой лежит широкий новый путь,
Прими же мой привет, не громкий, но сердечный;
Да будет, как была, твоя согрета грудь
Любовью к ближнему, любовью к правде вечной.

Да не утратишь ты в борьбе со злом упорной
Всего, чем нынче так душа твоя полна,
И веры и любви светильник животворный
Да не зальет в тебе житейская волна.

Подъяв чело, иди бестрепетной стопою;
Иди, храня в душе свой чистый идеал,
На слезы страждущих ответствуя слезою
И ободряя тех, в борьбе кто духом пал.

И если в старости, в раздумья час печальный,
Ты скажешь: в мире я оставил добрый след,
И встретить я могу спокойно миг прощальный,—
Ты будешь счастлив, друг: иного счастья нет!

1855

ВОПРОС

Ужели смерть есть цель? Зачем же путь земной
Усеян яркими, прекрасными цветами;
Зачем печальною осеннею порой
Мы покидаем их с невольными слезами?

Но если жизнь есть цель, зачем же мы порой
Встречаем тернии меж яркими цветами;
Зачем должны кремнистый путь земной
И кровью запятнать и оросить слезами?

<1856>

Не говорите, что напрасно,
Что для бесплодной лишь борьбы
Стремлений чистых и прекрасных
Дано вам столько от судьбы;

Что всё, чем полно сердце ныне,
Подавит жизни тяжкий гнет;
Что всё растратится в пустыне,
Что дать могло бы цвет и плод.

К чему напрасные сомненья!
Идите смелою стопой;
Вы не из тех, в ком увлеченья
С летами гаснет жар святой.

Пусть дух изведает страданье,
В борьбе пусть будет закален;
И из горнила испытанья
И чист и крепок выйдет он.

Храните ж чистые химеры
Души возвышенной своей,
И животворный пламень веры
Пусть до конца не гаснет в ней!

<1856>

В СТЕПИ

Так скоро, может быть, покинуть должен я,
О степь унылая, простор твой необъятный;
Но, вместо радости, зачем душа моя
Полна какою-то тоскою непонятной?

Жалею ль я чего? Или в краю ином
Грядущее сулит мне мало утешенья?
И побреду я вновь знакомым мне путем,
Путем забот, печалей и лишения.

Как часто у судьбы я допросить хотел,
Какую пристань мне она готовит. . .
Зачем неравный бой достался мне в удел,
Зачем она моим надеждам прекословит?

Ответа не было. Напрасно я искал,
Куда б усталою приникнуть головою. . .
Не видно пристани. . . И счастья идеал
Уж я давно зову ребяческой мечтою!

Но пусть без радости мои проходят дни. . .
Когда б осталось мне отрадное сознание,
Что к благу ближнего направлены они,
Я б заглушил в себе безумное роптанье;

Но нет, еще ничьих не утирал я слез
И сердца голосу был часто непослушен;
Я утешения несчастным не принес,
И слаб я был, и горд, и малодушен.

И жаль мне, что я жизнь покину без следа,
Как покидаю край печального изгнания,
Что ни единый друг от сердца никогда
Не сжал руки моей в минуту расставанья.

1856

РАЗДУМЬЕ

Дни скорби и тревог, дни горького сомненья,
Тоски болезненной и безотрадных дум,
Когда ж минуете? Иль тщетно возрожденья
Так страстно сердце ждет, так сильно жаждет ум?

Не вижу я вокруг отрадного рассвета;
Повсюду ночь да ночь, куда ни бросишь взор.
Исчезли без следа мои молодые лета,
Как в зимних небесах сверкнувший метеор.

Как мало радостей они мне подарили,
Как скоро светлые рассеялись мечты!

Морозы ранние безжалостно побили
Беспечной юности любимые цветы.

И чистых помыслов и жарких упований
На жизненном пути растратил много я;
Но средь неравных битв, средь тяжких испытаний
Что ж обрела взамен всех грез душа моя?

Увы! лишь жалкое в себе разуверенье
Да убеждение в бесплодности борьбы,
Да мысль, что ни одно правдивое стремленье
Ждать не должно себе пощады от судьбы.

И даже ты моим призывам изменила,
Друзей свободная и шумная семья!
Привета братского живительная сила
Мне не врачует дух в тревогах бытия.

Но пусть ничем душа больная не согрета,
А с жизнью все-таки расстаться было б жаль,
И хоть не вижу я отрадного рассвета,—
Еще невольно взор с надеждой смотрит вдаль.

1856

* * *

О, если б знали вы, друзья моей весны,
Прекрасных грез моих, порывов благородных,
Какой мучительной тоской отравлены,
Проходят дни мои в волнениях бесплодных!

Былое предо мной, как призрак, восстает,
И тайный голос мне твердит укор правдивый;
Чего убить не мог суровой жизни гнет,
Зарыл я в землю сам,— зарыл, как раб ленивый.

Душе была дана любовь от бога в дар,
И отличать дано добро от зла уменье;
На что же тратил я священный сердца жар,
Упорно ль к цели шел во имя убежденья?

Я заключал не раз со злом постыдный мир
И пренебрег труда спасительной дорогой,
Не простирали руки тому, кто наг и сир,
И оставался глух к призывам правды строгой.

О, больно, больно мне... Скорбит душа моя,
Казнит меня палач неумолимый — совесть;
И в книге прошлого с стыдом читаю я
Погибшей без следа, бесплодной жизни повесть.

1856

ЛИСТОК ИЗ ДНЕВНИКА

Elle était de ce monde où les plus belles choses
Ont le pire destin,
Et, rose, elle a vécu ce que vivent les roses,
L'espace d'un matin.¹

Средь жизни будничной, ее тревог докучных,
Незримых, тайных битв, с той жизнью неразлучных,
Воспоминание лелею я одно,
И сладко так душе и горестно оно.

Я помню, в дальний край гнала меня неволя,
Судьбы игрушкой быть куда плохая доля!
Так мудро ль, что злость мне волновала грудь
И что казался мне невыносим мой путь?
Хоть город тот, что мне покинуть предстояло,
Для сердца моего и не был мил нимало,
Но прivityкает скоро русский человек:
Где месяц проживет, как будто прожил век,
Притом же иногда меж чопорных педантов,
Меж сплетниц набожных, самодовольных франтов,
Заброшено судьбой, как перл в песке морском,
Найдется существо и с чувством и с умом;

¹ Она была в том мире, где всё прекрасное
Имеет самую жестокую участь,
И, роза, она прожила столько, сколько живут розы —
Одно только утро (франц.).— *Ред.*

Согреет вас его приветливое слово,
И вы на остальных махнуть рукой готовы.
Так было и со мной: я помню ясный взор,
Улыбку добрую, веселый разговор,
Что от меня вражду, сомнение и печали —
Как духов тьмы рассвет — внезапно отгоняли.
С кудрявым мальчиком, с нарядным мотыльком
Я не сравню ее плохим своим стихом;
Но жаль мне, что она не встретила поэта:
Не подарил бы он другой сравнение это.
Красавицей она назваться не могла,
Но детской резвостью, но ясностью чела
Она влекла к себе с неодолимой силой;
И тот, кого она приветом вскользь дарила,
Хотя б под бурями житейскими поник,
Душою воскресал и весел был на миг.
Любуясь милою головкою, бывало,
Я рад был, что судьба ее так баловала,
Что жаль ее судьбе; что от тревог и зла
Она щадит ее: печаль бы к ней не шла. . .
И так я уезжал. На долгую разлуку
Еще пришел я раз пожать ей братски руку;
Хотел ей высказать, что там, в глуши степей,
С любовью буду я вспоминать о ней;
Что днями светлыми я ей одной обязан,
Что к ней останусь я душой навек привязан,
И много кой-чего сказать еще хотел;
Но слов не находил и как немой сидел.
И лучше, может быть! Мой вздор сентиментальный
Мог рассмешить ее, пожалуй, в час прощальный!
«Мы с вами свидимся, я знаю, через год.
Вас участь лучшая в краю далеком ждет», —
Она сказала мне с своей улыбкой ясной.
Как солнечным лучам в осенний день ненастный,
Я рад улыбке был; словам поверил я;
И дальний путь уж был не страшен для меня.
Прощаясь, я просил ее, чтоб серенаду
Она сыграла мне, — я в Шуберте отраду.
Неизъяснимую для сердца нахожу.
Вот к клавишам она подходит; я гляжу
На светлое чело, на маленькие руки. . .
И в душу полились мечтательные звуки. . .

Два года протекло, как прежде много лет,
Еще в душе моей оставив горький след.
Всё так же ратовал я с донкихотским жаром
За призраки свои, и чувства тратил даром.
И возвратился вновь я в скучный город свой
И встретился с давно знакомою толпой.
Всё тех же увидал я чопорных педантов,
Нелепых остряков, честолюбивых франтов;
Прибавилось еще немного новых лиц;
Пред золотым тельцом лежат, как прежде, ниц;
Всё те же ссоры, сплетни и интриги;
В почете карты всё, и всё в опале книги!
Но не нашел я той, к кому в былые дни
Я смело нес и грусть и радости свои. . .
И часто так к кому душа моя больная
Рвалась, под жизненным ярмом изнемогая! . . .
И весть услышал я: ее уж больше нет!
Суровым косарем сражен прекрасный цвет, —
Суровым косарем, что без разбору косит
И тех, кто жизнь клянет, и тех, кто жизни просит!
Как больно было мне. . . Но если свет о ней
При мне судил, еще мне делалось больней!
Ему не жаль, казалось, вовсе, что могила
И юность и красу навеки поглотила. . .
Клеветников, завистников бездушных толк
И у дверей могилы даже не замолк.

Я снова посетил давно знакомый дом;
Теперь семья другая поселилась в нем.
Вот уголок уютный, где она, бывало,
Вокруг себя друзей немногих собирала.
Отрадных много я припомнил вечеров;
Войдя в ту комнату, я плакать был готов!
Как оживить она домашний круг умела. . .
Как быстро время с ней, как весело летело;
Невольно лица прояснялись у всех,
Когда звучал ее беспечный, детский смех.
Теперь не то я встретил; чопорно и чинно
Здесь разговор вели, и в ералаш в гостиной
С тремя почтенными старушками играл
От старости едва ходивший генерал.
Изящно в комнатах, роскошно даже было. . .

Но всё тоску и грусть на сердце наводило...
Но вот хозяйка села за рояль... Она,
Все говорят, артисткой быть великой рождена.
Вот Шуберта опять я слышу серенаду...
И точно... более, казалось бы, не надо
Искусства и желать. Но отчего же мне
Досадно стало так? В душевной глубине
Как будто злоба вдруг к игравшей

шевелинулась

За то, что струн души больных она

коснулась.

Казалось мне, звучит в игре той мастерской
Насмешка над моей заветною мечтой.

Оставил вечер я... Но всё мотив знакомый
Преследовал меня на улице и дома...
Всё образ предо мной любимый возникал,
И до рассвета глаз в ту ночь я не смыкал.

1856

ПТИЧКА

(Подражание Сырокомле)

М. Л. Михайлову

Птичка божия проснулась с зарею,
А уж пахаря застала за сохою;
Полетит она к лазурным небесам
И, что видит в селах, всё расскажет там.
Скажет птичка богу, что бедняк страдает,
Что кровавым потом ниву орошает;
Не мила, как птичке, пахарю весна,
Радостей немного подарит она...
Встретил бы он солнце песенкой веселой,
Да молчать заставит гнет нужды тяжелой.
На сердце заботы, как свинец, лежат,
Поневоле песня не пойдет на лад.
Где тут любоваться негой лунной ночи,—
Застилают слезы труженику очи...

Скажет птичка богу — чтоб его рука
Поддержала в горькой доле бедняка,
Чтоб ему нести свой крест достало силы,
Чтоб без ропота добрел он до могилы.

<1857>

* * *

Есть дни: ни злора, ни любовь,
Ни жажда дел, ни к истине стремленье,
Ничто мне не волнует кровь:
И сердце спит, и ум в оцепененьи.

Я остаюсь к призывам жизни глух;
Так холодно взираю, так бесстрастно
На всё, что некогда мой дух
Тревожило и мучило всечасно.

И ласка женская во мне
В те дни ответа даже не находит;
В бездействии, в позорном сне
Душевных сил за часом час проходит.

Мне страшно, страшно за себя:
Боюсь, чтоб сердце вовсе не остыло,
Чтоб не утратил чувства я,
Пока в крови огонь и в теле сила.

Годами я еще не стар...
О боже всех, кто жаждет искупленья,
Не дай, чтоб пеплом сердца жар
Засыпало мертвящее сомненье!

<1857>

С. Ф. ДУРОВУ

Уедешь ты на теплый юг!
И где лазурью блещет море,
Покинет тело злой недуг,
Покинет сердце злое горе.

Там отдохнет в семье друзей
Душа, изведавшая муки,
И песен, выстраданных ей,
К нам долетят святые звуки. . .

И всё, что рок во дни невзгод
Давил железною рукою,
Вдруг встрепенется, оживет,
Как цвет под влагой дождевою.

Господь тебя благослови
За годы долгие несчастья
И тихой радостью любви,
И дружбы ласковым участием.

И если радостные дни
Придут, послушные желанью,
Меня, собрата по изгнанию,
Ты добрым словом помяни!

18 июля 1857

* * *

Тобой лишь ясны дни мои,
Ты их любовью озарила,
И духа дремлющая сила
На зов откликнулась любви!

О, если б я, от дней тревог,
Переходя к надежде новой,
Страницу мрачную былого
Из книги жизни вырвать мог!

О, если б мог я заглушить
Укор, что часто шепчет совесть!
Но нет! бесплодной жизни повесть
Слезами горькими не смыть.

Молю того, кто весь любовь,
Он примет скорбное моление

И, ниспослав мне искупленье,
К добру меня направит вновь,—

Чтобы душа моя была
Твоей души достойна ясной,
Чтоб сердца преданности страстной
Ты постыдиться не могла!

Октябрь 1857

МОЛИТВА

О боже мой, восстанови
Мой падший дух, мой дух унылый;
Я жажду веры и любви,
Для новых битв я жажду силы.

Запуган мраком ночи я,
И в нем я ощупью блуждаю;
Ищу в светильник свой огня,
Но где обречь его, не знаю.

В изнеможенья скорбный час
Простри спасительные руки,
Да упадет завеса с глаз.
Да прочь идут сомненья муки!

Внезапным светом озарен,
От лжи мой ум да отрешится,
И вместе с сердцем да стремится
Постигнуть истины закон.

Услышь, о боже, голос мой!
Да, возлюбив всем сердцем брата,
Во тьме затерянной тропой
Пойду я вновь — и без возврата!

1857

* * *

О нет, не всякому дано
Святое право обличенья!
Кто не взрастил в себе зерно
Любви живой и отреченья,—
И бесполезно и смешно
На мир его ожесточенье.

Но если праведная речь
Из сердца чистого стремится,—
Она разит, как божий меч;
Дрожит, бледнеет и стыдится
Пред нею тот, кого обречь
Она проклятью не страшится.

Но где тот века проводник,
Что скуп на речи, щедр на дело,
Что, заглушив страстей язык,
Благой пример являть привык
Толпе, в неправде закоснелой?
Где он? Нас к бездне привела

Стезя безверья и порока!
Рабам позорной лжи и зла
Пошли, пошли, господь, пророка,
Чтоб речь его нам сердце жгла
И содрогнулись мы глубоко!

<1858>

* * *

Он шел безропотно тернистою дорогой,
Он встретил радостно и гибель и позор;
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.

Он шел безропотно и, на кресте распятой,
Народам завещал свободу и любовь;
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась его святая кровь.

О дети слабые скептического века!
Иль вам не говорит могучий образ тот
О назначении великом человека,
И волю спящую на подвиг не зовет?

О нет! Не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос истины корысть и суета;
Еще настанет день... Вдохнет и жизнь и силу
В наш обветшалый мир учение Христа!

<1858>

ПОСВЯЩЕНИЕ

Домчатся ль к нам знакомых песен звуки,
Друзья моих погибших юных лет?
И братский ваш услышу ль я привет?
Всё те же ль вы, что были до разлуки?

Быть может, мне иных не досчитаться!
А те — в чужой, далекой стороне
Уже давно забыли обо мне...
И некому на песни отозваться!

Но я средь бурь, в дни горя и печали,
Был верен вам, весны моей друзья,
И снова к вам несется песнь моя,
Когда, как сон, невзгоды миновали.

<1858>

* * *

Ты хочешь песен,— не пою
Веселых песен я давно,
А душу ясную твою
Встревожить было бы грешно.

О нет, пусть ни единый звук
Не обнаружит пред тобой

Ни затаенных в сердце мук,
Ни дум, навеянных борьбой.

Пусть не узнаешь дольше ты,
Как беспощадно губит свет
Все наши лучшие мечты,
Святые грезы юных лет!

Когда ж пора твоя придет,
И с жизнью выйдешь ты на бой,
Когда в тебе житейский гнет
Оставит след глубокий свой,

И будешь, горе затая,
Ты тщетно ждать участия слов,—
Тогда зови... и песнь моя
На грустный твой ответит зов.

<1858>

* * *

Много злых и глупых шуток,
Жизнь, играла ты со мной,
И стою на перепутье
Я с поникшей головой.

Сердца лучшие порывы
И любимые мечты
Осмеяла беспощадно,
В пух и прах разбила ты.

Подстрекнула ты лукаво
На неравный бой меня,
И в бою том я потратил
Много страсти и огня.

Только людям на потеху
Скоро выбился из сил;
И осталось мне сознание,
Что я немощен и хил.

Что ж! Пойду дорогой торной,
Думал я, толпе вослед,
Скромен, тих, благонамерен,
Бросив юношеский бред.

Что за гладкая дорога!
Камни здесь не режут ног.
Если б шел по ней я прежде,
Я бы так не изнемог.

Да и цель гораздо ближе;
Пристань мирная в виду. . .
Сколько там я наслаждений
Неизведанных найду!

Но, увы! пришлось недолго
К этой цели мне идти,
И опять я очутился
На проселочном пути.

А виной всё эти грезы;
Эти сны поры былой. . .
Безотвязные, со мною
Шли они рука с рукой.

И манили всё куда-то,
И шептали что-то мне,
Милых образов так много
Показали в стороне.

Им навстречу устремился
Я, исполнен новых сил;
Шел по терниям колючим,
В бездны мрачные сходил.

И уж думал — подхожу я
К милым призракам моим,
Но напрасно, утомленный,
Простирал я руки к ним.

Отдалялись, улетали
Дорогие от меня. . .

И внезапно, на распутье,
Ночью был застигнут я.

Долго ль ночь моя продлится,
И что ждет меня за ней,
Я не знаю; знаю только,
Что тоска в душе моей.

Но не торная дорога,
Рано брошенная мной,
Пробуждает сожаленье
В этот миг в душе больной.

Жаль мне призраков любимых,
Жаль роскошных, ярких грез,
Что так рано день, сокрывшись,
На лучах своих унес!

<1858>

* * *

Дети века все больные,—
Мне повсюду говорят,—
Ходят бледные, худые,
С жизнью всё у них разлад.

Нет! Напрасно стариками
Оклеветан бедный век;
Посмотрите: перед вами
Современный человек.

Щеки, словно как с морозу,
Так румянцем и горят;
Как прилична эта поза,
Как спокоен этот взгляд.

Вы порывов увлеченья
Не заметите за ним;
Но как полон уваженья
Он к достоинствам своим.

Все вопросы разрешает
Он легко, без дальних дум;
Не тревожит, не смущает
Никогда сомненье ум.

И насмешкой острой, милой
Как умеет он кольнуть
Недовольных, что уныло
На житейский смотрят путь,

Предрассудки ненавидят,
Всё твердят про идеал
И лишь зло и гибель видят
В том, что благом мир признал.

Свет приятным разговором
И умом его пленен;
Восклицают дамы хором:
«Как он мил! как он умен!»

Нет! Напрасно старость взводит
Клевету на бедный век:
Жизнь, блаженствуя, проводит
Современный человек.

<1858>

* * *

Когда мне встретится истерзанный борьбой,
Под гнетом опыта поникший человек,
И речью горькой он, насмешливой и злой,
Позору предает во лжи погрязший век;

И вера в род людской в груди его угасла,
И дух, что некогда был полон мощных сил,
Подобно ночнику, потухшему без масла,
Без веры и любви стал немощен и хил;

И правды луч, сверкающий за далью
Грядущих дней, очам его незрим,

Как больно мне. Глубокою печалью
При встрече той бываю я томим.

И говорю тогда: явись, явись к нам снова,
Господь! в наш бедный мир, где горе и разлад;
Да прозвучит еще божественное слово
И к жизни воззовет твоих отпадших чад!

<1858>

МОЙ ЗНАКОМЫЙ

Он беден был. (Его отец
В гусарах век служил,
Любил танцовщиц и вконец
Именье разорил.)

И ярый был он либерал:
Все слабости людей
Он энергически карал,
Хоть не писал статей.

Не мог терпеть он спину гнуть,
Любил он бедный класс,
Любил помещиков кольнуть
Сатирой злой подчас.

И Жоржем Зандом и Леру
Был страстно увлечен,
Мужей он поучал добру,
Развить старался жен.

Когда же друга моего
Толкнула в глушь судьба,
Он думал — закалит его
С невежеством борьба.

Всех лихоимцев, подлецов
Мечтал он быть грозой;
И за права сирот и вдов
Клялся стоять горой,

Но, ах! грядущее от нас
Густой скрывает мрак;
Не думал он, что близок час
Вступить в законный брак.

Хоть предавал проклятью он
Пустой, бездушный свет,
Но был в губернии пленен
Девицей в тридцать лет.

Она была иных идей...
Ей не был Занд знаком,
Но дали триста душ за ней
И трехэтажный дом.

Женился он, ему пришлось
По сердцу жизнь сам-друг...
Жена ввела его тотчас
В губернский высший круг.

И стал обеды он давать,
И почитал за честь,
Когда к нему съезжалась знать,
Чтоб хорошо поесть.

И если в дом к нему порой
Являлся генерал,
Его, от счастья сам не свой,
Он на крыльце встречал.

Жена крутой имела нрав;
А дом и триста душ
Давали ей так много прав...
И покорился муж.

Хоть иногда еще карал
Он зло в кругу друзей,
Но снисходительней взирал
На слабости людей.

Хоть не утратил он вполне
Могучий слова дар,

Но как-то стынул при жене
Его душевный жар.

Бывало, только заведет
О крепостных он спор,
Глядишь, и зажимает рот
Ему супруги взор.

И встретил я его потом
В губернии другой;
Он был с порядочным брюшком
И чин имел большой.

Пред ним чиновный весь народ
И трепетал и млея;
И уж не триста душ — пятьсот
Он собственных имел.

О добродетели судил
Он за колодой карт. . .
Когда же юноша входил
Порой пред ним в азарт,

Он непокорность порицал,
Как истый бюрократ. . .
И на виновного бросал
Молниеносный взгляд. . .

<1858>

СТРАННИК

Томит меня мой страннический путь.
Хотелось бы под вечер на покой,
Хотелось бы на дружескую грудь
Усталую приникнуть головой.

Была пора — и в сердце молодом
Кипела страсть, не знавшая преград;
На каждый бой с бестрепетным челом
Я гордо шел, весенним грозам рад,

Была пора — огонь горел в крови;
И думал я, что песнь моя сильна,
Что правды луч, что луч святой любви
Зажжет в сердцах озлобленных она.

Где ж силы те, где бодрость прежних лет?
Сгубила их неравная борьба;
И пустота, бесплодной жизни след,
Ждет неизбежная, как древняя судьба.

Пора домой! Не опоздать бы мне;
Не заперты ль ворота на запор?
И огонек мерцает ли в окне,
Маня к себе усталый, грустный взор?

Отворят ли с улыбкою мне дверь?
Услышу ли я ласковый привет:
«Не одинок, не странник ты теперь:
Ты отдохнешь, любовью согрет...»

<1858>

МОЙ САДИК

Как мой садик свеж и зелен!
Распустилась в нем сирень;
От черемухи душистой
И от лип кудрявых тень...

Правда, нет в нем бледных лилий,
Горделивых георгин
И лишь пестрые головки
Возвышает мак один.

Да подсолнечник у входа,
Словно верный часовой,
Сторожит себе дорожку,
Всю поросшую травой...

Но люблю я садик скромный:
Он душе моей милей
Городских садов унылых,
С тенью правильных аллей.

И весь день, в траве высокой
Лежа, слушать бы я рад,
Как заботливые пчелы
Вкруг черемухи жужжат.

А когда на садик сыплет
Блеск лучей своих луна,
Я сажусь в раздумьи тихом
У открытого окна.

Посребренных и дрожащих
Листьев я внимаю шум,
И, одна другой сменяясь,
Грезы мне волнуют ум.

И несут на крыльях легких
В мир иной меня оне...
Как сияет ярко солнце
В той неведомой стране!

Нет вражды под этим солнцем,
Нашей лжи вседневной нет;
Человека озаряет
Там любви и правды свет!

Всё, что истины пророки
Обещают нам вдали,
Люди в братстве неразрывном
Навсегда там обрели...

О, как сладки эти грезы!
Разрастайся ж, расцветай
Ты, мой садик! и почаще
На меня их навевай.

<1858>

* * *

В надежде славы и добра,
Гляжу вперед я без боязни...

Пушкин

Была пора: своих сынов
Отчизна к битве призывала
С толпой несметною врагов,
И рать за ратью восставала,
И бодро шла за ратью рать
Геройской смертью умирать.

Но смолк орудий страшный гул,
И, отстояв свой край родимый,
Народ великий отдохнул.
Отчизна вышла невредима
Из той борьбы... как в старину —
В иную славную войну.

И вот опять она зовет
Своих сынов на бой упорный.
Но этот бой уже не тот...
Со злом и тьмой, с неправдой черной
Она зовет теперь на бой,
Во имя истины святой!

Не страшен нам и новый враг,
И с ним отчизна совладеет...
Смотрите! Уж редеет мрак,
Уж свет повсюду проникает,
И, содрогаясь, чует зло,
Что торжество его прошло.

<1858>

* * *

Когда возвратился я в город родной
И там, над отцовской могилой,
Колена склонил и поник головой,—
О, как мое сердце заныло!

Мне всё прожитое припомнилось вдруг;
Припомнились долгие годы,
Что шли средь волнений бесплодных и мук,
Без счастья, любви и свободы.

И мнилось мне, будто отец мой глядит
На сына с тоской и любовью,
Скорбя, что суровым он горем убит,
Что сердце исходит в нем кровью.

Мне слышался говор зеленых ветвей:
«Устал ты и ищешь покою!
Усни здесь! и мы над могилой твоей
Раскинемся тенью густою...»

<1858>

СЧАСТЛИВЕЦ

Я здоров, румян и весел,
Сытно ем и славно пью,—
Никогда нужда и голод
Не стучатся в дверь мою.

Мне наследственный оставил
Мой родитель капитал...
Он его на службе царской
Понемножку собирал.

Я одет всегда по моде
Англичанином портным;
За приятные манеры
Очень дамами любим.

Не якшаюсь с разной дрянью,—
Только с знатными знаком,
И владею превосходно
Я французским языком.

Хоть не делал зла я людям,
Хоть душой и сердцем чист,

Но не скрылся от злословья:
Говорят, я — эгоист.

Клевета! Богоугодных
Разных обществ член и я...
Филантропы пять целковых
Каждый год берут с меня!

Все толкуют: погибает
От неправды род людской...
Тот объелся на обеде,
Умер с голоду другой!

Разве я тому причиной?
Видно, так уж суждено.
Рассуждать об этом, право,
И напрасно и смешно!

Жизнь дана, чтоб наслаждаться, —
Мой на это взгляд такой.
Пусть мечтатели вздыхают —
Я на них махнул рукой.

Я здоров, румян и весел,
Сытно ем и славно пью.—
Никогда нужда и голод
Не стучатся в дверь мою.

<1858>

МОЛОДОСТЬ И СТАРОСТЬ

(Из Роберта Прутца)

Нет! вы нас понять не в силах...
Мы вас тоже не пойдем.
Так расстанемся — и каждый
Пусть идет своим путем.
На челе у вас морщины,
Веет холодом от вас.

Вы и сами говорите,
Что огонь в груди погас.
Мы же юны, сильны, пылки,
В нас кипит отвагой кровь;
Тут союза быть не может,
Тут не прочная любовь!

Без вражды, без тени злобы
Мы «прости» вам говорим;
Перед вашей сединою
Мы колена преклоним.
Но зачем у вас при виде
Свежих юноши ланит
И кудрей густых и черных
Душу тайный страх томит?
И у вас вилися кудри,
И у вас был смелый взгляд...
Эти кудри побелели,
Эти взоры не горят!

И уж иначе глядите
Вы давно на божий свет.
Предаете вы позору
Всё, чем юный дух согрет.
Только жалобы, да пени,
Да киванье головой!
Осужденья тем, кто вышел
Безбоязненно на бой!
Мы же бешено так рвемся:
Жаждем дела и борьбы;
И страданья и волненья
Просим жадно у судьбы!
Мы стоим на перепутье;
Разойтись пора пришла.
Вам цветущие долины —
Нам подводная скала!
Отдыхайте же, как предки,
Под журчание ручья,
Убаюканные сладко
Звонкой песнью соловья.
Но никто воспоминанья
Жизни прошлой не буди...

Или кровью обольется
Сердце в старческой груди!

Ты ж, вселюбящая юность,
Поражая силу зла,
Шествуй твердою стопою,
Вдохновенна и светла!
Для грядущих поколений
Воздвигашь здание ты...
И где б ни были мы, в сердце
Сохраним твои мечты.
Пусть старик спокойно дремлет...
Нам же, бог, пошли одно:
Чтобы юными в могилу
Лечь нам было суждено!

<1859>

ПЕСНЯ

(Из Шевченко)

Полюбила я
На печаль свою
Сиротинушку
Бесталанного.
Уж такая мне
Доля выпала!
Разлучили нас
Люди сильные;
Увезли его,
Сдали в рекруты...
И солдаткой я
Одинокой я,
Знать, в чужой избе
И состареюсь...
Уж такая мне
Доля выпала.

<1860>

Человек он был...
«Гамлет»

Еще один испытанный боец,
Чей лозунг был: отчизна и свобода,
Еще один защитник прав народа
Себе нашел безвременный конец!

Он был из тех, кто твердою стопой
Привык идти во имя убеждения:
И сердца жар и чистые стремленья
Он уберег средь пошлости людской.

Он не склонял пред силою чела
И правде лишь служил непоколебимо...
И верил он, что скоро край родимый
С себя стряхнет оковы лжи и зла...

В наш грустный век, на подвиги скупой,
Хвала тому, кто избрал путь суровый,
Хвала тому, кто знамя жизни новой
Умел нести бестрепетной рукой.

Февраль 1861
Москва

* * *

О, не забудь, что ты должник
Того, кто сир, и наг, и беден,
Кто под ярмом нужды поник,
Чей скорбный лик так худ и бледен,
Что от небес ему одни
С тобой даны права святые
На всё, чем ясны наши дни —
На наши радости земные!

И тех страдальцев не забудь,
Что обрели венец терновый,

Толпе указывая путь,—
Путь к возрождению, к жизни новой!
И пусть в дому твоём найдут
Борьбой измученные братья
Забвенье мук, от бурь приют
И брата верные объятья!

31 декабря 1861

ОТЧИЗНА

Природа скудная родимой стороны!
Ты дорога душе моей печальной;
Когда-то, в дни моей умчавшейся мечты,
Манил меня чужбины берег дальний...

И пылкая мечта, бывало, предо мной
Рисует всё блестящие картины:
Я вижу свод небес прозрачно-голубой,
Громадных гор зубчатые вершины...

Облиты золотом полуденных лучей,
Казалось, мирт, платаны и оливы
Зовут меня под сень раскидистых ветвей,
И розы мне кивают молчаливо...

То были дни, когда о цели бытия
Мой дух, среди житейских обольщений,
Еще не помышлял... И, легкомыслен, я
Лишь требовал у жизни наслаждений.

Но быстро та пора исчезла без следа,
И скорбь меня неожиданно посетила...
И многое, чему душа была чужда,
Вдруг стало ей и дорого и мило.

Покинул я тогда заветную мечту
О стороне волшебной и далекой...
И в родине моей узрел я красоту,
Незримую для суетного ока...

Поля изрытые, колосья желтых нив,
Простор степей, безмолвно-величавый;
Весеннею порой широких рек разлив,
Таинственно шумящие дубравы.

Святая тишина убогих деревень,
Где труженик, задавленный невзгодой,
Молился небесам, чтоб новый, лучший день
Над ним взошел — великий день свободы.

Вас понял я тогда; и сердцу так близка
Вдруг стала песнь моей страны родимой —
Звучала ль в песне той глубокая тоска,
Иль слышался разгул неудержимый.

Отчизна! Не пленишь ничем ты чуждый взор!
Но ты мила красой своей суровой
Тому, кто сам рвался на волю и простор,
Чей дух носил гнетущие оковы. . .

<1862>

* * *

О юность, юность, где же ты?
Где эта пылкая отвага
И вдохновенные мечты?
Готовность где — во имя блага,
Покинув всё, семью и дом,
Идти на битву с мощным злом?

Их нет давно! . . И нету сил
На подвиг трудный и суровый;
Как раб, что много лет носил
Неволи тяжкие оковы,
Я духом слаб, я изнемог,—
Сломил меня железный рок.

Лишь одного житейский гнет
Убить в душе моей не в силах,—
Одно в ней только не умрет,

Хотя и будет в этих жилах
Струиться старческая кровь:
К отважной юности любовь! . .

Когда, толпясь вокруг меня,
Кипит младое поколение,
Иного, радостного дня
Рассвет я вижу в отдаленьи,
И говорю с восторгом я:
«Бог помочь, братья и друзья!

Несите твердою рукой
Святое знамя жизни новой,
Не отступая пред толпой,
Бросать камнями готовой
В того, кто сон ее смутит,
Чья речь, как божий меч, разит.

Бог помочь, братья и друзья!
Когда ж желанный день настанет,
Пусть ваша дружная семья
Отживших нас добром помянет;
Нас всех, чья молодость прошла
В борьбе с гнетущей силой зла!»

19 марта 1862
Москва

* * *

Честные люди, дорогой тернистою
К свету идущие твердой стопой,
Волей железною, совестью чистою
Страшны вы злобе людской!

Пусть не сплетает венки вам победные
Горем задавленный, спящий народ,—
Ваши труды не погибнут бесследные:
Доброе семя даст плод.

Сбудутся ваши святые желания,
Хоть не дожидаться поры этой вам

И не видать, как все ваши страдания
Здесь отольются врагам.

Вестники правды, бойцы благородные,
Будете жить вы в правдивых сердцах,
Песню могучую люди свободные
Сложат о ваших делах. . .

1863

* * *

Иль те дни еще далеки,
Далека еще пора,
Ваими зримая, пророки,
Провозвестники добра?

Скоро ль сменится любовью
Эта ненависть племен,
И не будет братской кровью
Меч народов обагрен?

Скоро ль мысль, в порыве смелом,
Лжи оковы разобьет?
Скоро ль слово станет делом,
Дело даст обильный плод?

Скоро ль разума над силой
Мир увидит торжество,
Или мы сойдем в могилы
Только с верою в него?

Засветись, о день счастливый!
Разгони густой туман,
Что лежит еще на нивах .
Стольких сном объятых стран!

1867

СТАРШИИ

Вот и опять мы, как в прежние годы,
Старый товарищ, беседу ведем,
И прожитые когда-то невзгоды
Смутным каким-то нам кажутся сном.

Сколько мы лет не видались с тобою!
Сколько воды с той поры утекло...
Старость, подкравшись к нам тихой стопою,
Избороздила обоим чело.

Пламень, горевший в глазах, потушила,
Снегом обсыпала волосы нам.
Где наша бодрость, отвага и сила?
Видно, они не под стать сединам!

Помнишь, товарищ, минуту разлуки?
Весело в даль мы глядели тогда;
Жали друг другу с улыбкой мы руки,
Грозная нас не страшила беда.

Мы говорили друг другу, прощаясь:
Скоро желанное время придет;
Сбудется всё, что толпа, издеваясь,
Бредом, мечтаньем нелепым зовет.

Веруя в силу свободного слова,
Думали мы, что могучая рать
Ринуться в битву с неправдой готова,
Стоило только ему прозвучать.

Что же ты вдруг покачал головою?
Что улыбнулись так горько уста?
Молодость нас обманула с тобою...
Совесть зато у обоих чиста.

Бедны мы оба, в потертой одежде;
Много от нас отшатнулось друзей.
Пусть их! Но сердце в нас бьется,
как прежде,
Верой горячей в добро и людей.

Пыл нетерпенья в душе охладили,
Свергли немало кумиров года;
Но и кумирам толпы не кадили
В чайньи благ мы земных .никогда,

С пеной у рта не бросали каменья
В юность кипучую, если, полна
Гордой отваги, в пылу увлеченья,
Нас за ошибки корила она.

Знаем мы оба, как время настанет —
Нам от житейских трудов отдохнуть,
Лихом она стариков не помянет,
Скажет: они пролагали нам путь.

Так-то, товарищ! Разбитым и хилым,
Нам остается глядеть в стороне,
Как нарождаются новые силы,
Как на борьбу выступают оне,

Да, вспоминая прожитые годы,
В сердце суровое небо молить,
Чтоб миновали все наши невзгоды
Тех, кто пришел нас, отживших,
сменить.

<1869>

НОЧЬЮ

Жалобно ветер в трубе завывает,
Ночь неприветная смотрит в окно;
Маятник мерно стучит, догорает
Бледный ночник, в доме спят все давно.

Мне одному, этой поздней порою,
Сон не смыкает тяжелых ресниц:
Прошлого тени встают предо мною,
Много знакомых мне вспомнилось лиц.

Вспомнились те, что когда-то так смело
Вышли на битву с неправдой и злом;

Делу благому отдавшись всецело,
Перед толпой не склоняясь челом.

Те, что, отвергнув все блага мирские,
Честную им нищету предпочли;
В ком ни обман, ни гоненья людские
Веры в добро умертвить не могли.

Где-то теперь вы? О, пусть ваше слово
Нам прозвучит в эту темную ночь...
Пусть оно силу на подвиг суровый
Даст нам, готовым в борьбе изнемочь.

Зов наш услышьте среди тьмы беспроглядной,
Нужен усталым ваш братский привет;
Гаснет их вера; увидеть отрадный
Взоры не чают рассвет!

<1874>

* * *

Я тихо шел по улице безлюдной
И, погружен в раздумье о былом,
Среди домов, облитых лунным светом,
Узнать хотел давно знакомый дом.

Он неуклюж был, ветх и с мезонином:
Я помню, мне казалось всё, что он
Из городка уездного в столицу
Каким-то чудом был перенесен.

Куда исчез тот дом? Иль дух стяжанья
Беднягу стер давно с лица земли,
И, где стоял он, серенький и скромный,
Высокие хоромы возвели?

Нет-нет! Сейчас узнал я друга!
Он — тот же всё, каким был и тогда,

И лишь чуть-чуть как будто покривился.
Немудрено! Берут свое года!

Привет тебе! В стенах твоих нередко
Я поздний час в беседе забывал...
То были дни, когда стопой несмелой
Впервые в жизнь я, юноша, вступал.

Привет тебе! Под этой старой крышей
Жил труженик с высокою душой;
Любви к добру и веры в человека
В нем до конца не гас огонь святой.

Учил он нас мириться с темной долей,
Храня в душе свой чистый идеал;
Учил идти путем тернистым правды
И не искать за подвиги похвал;

Учил любить страну свою родную,
Отдать ей весь запас духовных сил,
Чтить имена борцов за свет и знание,—
Тех, кто одной лишь истине служил.

Читая нам создания поэтов,
Воспламенял он юные сердца;
И мы клялись идти к высокой цели,
Не изменять клялись ей до конца.

Уж нет его: давно он спит в могиле!
Но кто из тех, в чью грудь он заронил
Зерно благих, возвышенных стремлений,
Кто памяти о нем не сохранил?

И предо мной тот скромный образ часто
Встает, хотя десятки лет прошли;
Всё помню я: беседы эти, споры,
Что в уголке убогом мы вели.

О, как бы мне хотелось в дом проникнуть
Иль заглянуть хотя на миг в окно...

Кто здесь живет? Что здесь сердца волнует?
Безмолвен дом; как в гробе в нем темно.

И дальше я по улице пустынной
Иду... Но всё мне кажется, что вот
За мной знакомый голос раздается
И в старый дом опять меня зовет...

<1877>

ПРИЛОЖЕНИЕ

В этом разделе представлено несколько произведений, тематически близких основному содержанию сборника, авторы которых были в той или иной мере связаны с кружком Петрашевского.

Аполлон Александрович *Григорьев* (1822—1864) был знаком с Петрашевским, что засвидетельствовано им в романтической драме «Два эгоизма», появившейся в 1845 г. в журнале «Репертуар и пантеон» (№ 12). В образе одного из второстепенных ее комических персонажей, «фурьериста из Петербурга» Петушевского, несомненно содержится намек на Буташевича-Петрашевского.¹ Тем не менее почти одновременно с этим памфлетом на фурьеризм Ап. Григорьев написал несколько стихотворений, воспроизводящих характерные мотивы поэзии 40-х годов, отразившиеся и в творчестве петрашевцев. Четыре наиболее ярких в этом отношении стихотворения публикуются в настоящем разделе.

Василий Васильевич *Толбин* (1821—1869), привлекавшийся в 1849 г. к допросу, но оставленный на свободе под секретным надзором,² посещал вечера Петрашевского с 1847 г. По словам Баласогло, он являлся «почти только как сотрудник Дершау по «Финскому вестнику» или вместе с самим Дершау, или, весьма редко, и без него». Баласогло показал также, что Толбин «живет едва ли не одной литературой». В «Финском вестнике», «Литературной газете» и дру-

¹ В л. К а л л а ш. Ап. Григорьев о Петрашевском. «Голос минувшего», 1914, № 2, стр. 199—201.

² Петрашевцы. Сборник материалов под ред. П. Е. Щеголева, т. 3, М.—Л., 1928, стр. 273.

гих изданиях Толбин помещал рассказы, так называемые «нравоописательные очерки», исторические обзоры. Кроме того, он напечатал несколько стихотворений (в том числе — «Домовой. Подражание Беранже», «Литературная газета», 1845, № 37). В 60-е годы некоторые его стихотворения распространялись в списках и даже были опубликованы в «Колоколе» Герцена.¹

В «Приложении» публикуется также анонимная басня, прочитанная на одной из «пятниц» у Петрашевского.

¹ Указано в Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, т. 65. СПб., 1901, стр. 430.

ГОРОД

Да, я люблю его, громадный, гордый град,
Но не за то, за что другие;
Не здания его, не пышный блеск палат
И не граниты вековые
Я в нем люблю, о нет! Скорбящею душой
Я прозреваю в нем иное —
Его страдание под ледяной корой,
Его страдание большое. .

Пусть почву шаткую он заковал в гранит
И защитил ее от моря,
И пусть сурово он в самом себе таит
Волненье радости и горя,
И пусть его река к стопам его несет
И роскоши и неги дани,—
На них отпечатлен тяжелый след забот,
Людского пота и страданий.

И пусть горят светло огни его палат,
Пусть слышны в них веселья звуки —
Обман, один обман! Они не заглушат
Безумно-страшных стонов муки!
Страдание одно привык я подмечать,
В окне ль с богатою гардиной
Иль в темном уголку,— везде его печать!
Страданья уровень единый!

Пушкой томительным снедаемый огнём,
Под ризою немой волшебной ночи,
Готов поверить он, с притворством незнаком,
В зовущие увлажненные очи,
Готов еще страдать о падшей красоте
И звать в ее объятьях наслажденье,
Пока во всей его позорной наготе
Не узрит он недуга истощенье.

Но я — я чужд тебе, великолепный град:
Ни тихих слез, ни бешеного смеха
Не вывет у меня ни твой больной разврат,
Ни над святыней жалкая потеха;
Тебе уже ничем не удивить меня —
Ни гордостью дешевого безверья,
Ни коловратностью бессмысленного дня,
Ни бесполезной маской лицемерья.

Увы, столь многое прошло передо мной
До слез, до слез страдание смешное:
И не один порыв возвышенно-святой,
И не одно великое земное
Судьба передо мной по ветру разнесла;
И не один погиб избранник века,
И не одна душа за деньги продала
Свою святыню — гордость человека.

И не один из тех, когда-то полных сил,
Искавших жадно лучшего когда-то,
Благоразумно бред покинуть рассудил
Или погиб добычею разврата;
А многие из них навеки отреклись
От всех надежд безумных и опасных,
Спокойно в чьи-нибудь холопы продались
И за людей слывят себе прекрасных.

Любуйся ж, юноша, на пышный, гордый град,
Стремись к нему с надеждой и любовью,
Пока еще тебя не истощил разврат,
Иль гнев твое не обдал сердце кровью,

Пока еще тебе в божественных лучах
Сияет всё великое земное,
Пока еще тебя не объял рабский страх
Иль истощенье жалкое покоя.

1845

* * *

Когда колокола торжественно звучат,
Иль ухо чуткое услышит звон их дальний,
Невольно думою печальною объят,
Как будто песни погребальной
Веселым звукам их внимаю грустно я,
И тайным ропотом полна душа моя.

Преданье ль темное тайник взволнует груди,
Иль точно в звуках тех таится звук иной,
Но, мнится, колокол я слышу вечевой,
Разбитый, может быть, на тысячи орудий,
Властям когда-то роковой.

Да, умер он, давно замолк язык народа,
Склонившего главу под тяжкий царский кнут;
Но встанет грозный день, но воззовет свобода;
И камни вопли издадут,
И расточенный прах и кости исполина
Совокупит опять дух божий воедино,

И звучным голосом он снова загудит,
И в оный судный день, в расплаты час кровавый,
В нем новгородская душа заговорит
Московской речью величавой...
И весело тогда на башнях и стенах
Народной вольности завевт красный стяг...

1 марта 1846
Москва

* * *

Нет, не рожден я биться лбом,
Ни терпеливо ждать в передней,

Ни есть за княжеским столом,
Ни с умилением слушать бредни.

Нет, не рожден я быть рабом,
Мне даже в церкви за обедней
Бывает скверно, каюсь в том,
Прослушать августейший дом.

И то, что чувствовал Марат,
Порой способен понимать я,
И будь сам бог аристократ,
Ему б я гордо пел проклятья. . .
Но на кресте распятый бог
Был сын толпы и демагог.

Вторая половина 40-х годов

ОБЫКНОВЕННЫЙ СЛУЧАЙ

(Князю В. Ф. Одоевскому)

Прожитых лет воспоминанья:
Без пользы сгибнувшие дни,
Пустые сердца упованья,
Смешные юности страданья,
Надежд блудящие огни
И, словом, всё, что только было
Душе так тягостно иль мило,
В тот краткий срок, когда от нас
Сокрыто жизни назначенье:
Борьба, утраты и терпенье,
Всё здесь — всё слито в мой рассказ.
Вот он! Его простые звуки
Вас не займут, уверен я;
Быть может, даже много скуки
На вас навеет песнь моя. . .
Но, полон памяти блеснувшей
О том мгновении, когда
Казали вы мечте уснувшей
На подвиг славы и труда,
Когда в день скорби и печали
Вы дружно руку мне пожали,
Я ныне первой мысли звуки
Вручаю в творческие руки!

1

Короткий день угас; вечерняя заря
 Лазури западной не кроет блеском алым;
 На небесах свинцовых декабря
 Подернуты туч снежным покрывалом
 И звезды и луна. Едва-едва горя,
 Мерцают фонари сияньем запоздалым,
 Метель шумит, и в мерзлое окно
 В дверь просится мороз с уныньем заодно.

2

Среди уютных стен камин свой затопив,
 Пред пламенем, подернутым золою,
 Прозябнувшую грудь от холода прикрыв,
 Усталые, томимые тоскою,
 Зевая, мы грустим о зелени олив
 И, недовольные родимую зимою,
 Без наслаждения, пред легкой теплотой,
 В раздумии сидим, поникнув головой.

3

И просятся тогда, в таинственной тиши,
 На сердце лет увядших вспоминанья:
 Всё бытие минувшее души —
 И первая любовь и первые страданья —
 И мысль средь новых дум, забытая в глуши,
 Опять свои приемлет очертанья,
 Как будто бы, от уз разрешены,
 Мы прошлому опять возвращены.

4

Тогда блажен, кто может вспомнить
 Игруню-молодость весельем и пирами,
 Заветной радостью, живившей прежде грудь,

¹ Если б знала молодость (франц.).— *Ред.*

Надеждой светлою, не взятою годами.
О, пусть тогда грядущей жизни путь,
Нерадостный, лежит перед очами;
Счастливица в прошлое стремится взор и слух,
И кровь его кипит, хотя камин потух.

- 5

Но ежели одни тяжелые утраты,
Едва забытые в кровавых хлопотах,
И сон надежд, существенностью взятый,
И чувства милых к нам, остывшие в гробах,
Придется вспомнить... несчастливый трикраты,
Не находя отрад минувшего в мечтах,
Закрыв глаза рукой, рыдает, и с очей
Слеза, струясь, кипит на золоте углей!

6

О чем грустить! Нам жизнь погибших дней
Не возвратит и, внемля без участия
И лепету оставшихся скорбей
И ропоту несбывшегося счастья,
Идет вперед, бросая на людей,
С довольною улыбкой самовластья,
Свои дары, и ей заботы нет,
Какой они на них оставят след.

7

В минувшем жить отвык уж я давно...
Что пользы жить несбыточной мечтою?
Печаль и радость, всё прошло равно
И не предстанет снова предо мною!
Но вспомнил я влияние одно
Причуды странной над иной душою,
И хочет память бледный свой рассказ
Здесь передать, чтоб позабавить вас.

Под небом тем, где средь крутых холмов
 Стоит Москва провинциальной дамой
 И мутная река, синее меж домов,
 На лужи вешние струится эпиграммой,
 Где колокольный звон, от золота крестов
 Стремясь к облакам, гудит до ночи самой,

9

Жила-была. . . — без этого никак,
 Как труд ученого иль свадьба без огласки,
 Не начинаются ни в прозе, ни в стихах
 Ни эпитафия, ни повести, ни сказки.
 На юге, западе, в различных сторонах,
 У всякого конька свои салазки,
 А жил да был для русской сказки, право,
 Приличная народная оправа.

10

Не помню, как звалась героиня,
 А ежели и помню — что вам в том?
 Мужчине имя женское святыня,
 О нем молчу, да не помянет злом
 Меня их пол. Она была. . . графиня —
 Но это звание не имя, и притом
 Графинь так много-много, что едва ли
 Мою когда б вы в жизни повстречали.

11

Она была не то чтобы стройна,
 Не то чтобы была пригожа иль полна,
 Бела как снег, как сумрак черноока,
 Зато всегда во всем окружена

Всем блеском мод — изящностью глубокой;
Она казалась милой, и при ней
Вы забывали многих, кто ее милей.

12

Ее чело хранило гордый вид,
Но взгляд ее так полон был томленья,
Тиха так речь, так бледен цвет ланит,
Как будто бы тяжелое терпенье
Досталось ей на долю и манит
К ней силой вас любви и сожаленья;
Как будто бы ей небом суждено
Страдание нести, и не одно.

13

По праздникам, бывало, у обедни
Она, уединясь, стояла у окна
В смирении, как грешный раб последний,
Потупя взор, в себя углублена.
Молва о ней носилась... Но те бредни
Казались клеветой, — искусно так она
Умела скрыть под ликом Магдалины
Все страсти буйные, как чувства след единый.

14

Ни одного ни раута, ни бала,
Ни зрелищ городских, ни сельских вечеров
Графиня модная моя не пропускала,
Усталости не зная, хоть годов
Ей было под тридцать. Чего она искала —
Веселья, почестей? Нет! в толкотне пиров
И в храме, грешница, при гимнах алтарей,
Искала жертв для прихоти своей.

15

И между тем как алые уста
Шептали гимны, взгляд ее, блуждая,
Летел не к знамени высокому креста,

И мысль стремилась не к пределам рая,
Нет, в тех стенах, где благодать Христа
Приемлет всех, всё отчески прощая,
И там она — прости ей правый бог —
Была полна одних земных тревог.

16

Хотя любовь безумную из моды
Повыбили из нас примеры и расчет,
И даже смысл ее в пустые наши годы
Теперь из нас едва кой-кто поймет;
Но женщина, сей лучший цвет природы,
Везде, всегда поклонника найдет —
Идет к ним в плен не знающий науки,
Как рыбка бедная на зуб лукавой щуки.

17

Близ места, где ее высокий дом
Вознес свои узорные колонны,
Жил некто Пронский. Часто вечером,
Когда луна свой блеск на город сонный
Бросала тихо, плавя серебром
Ее палат чугунные балконы,
Глядел он долго, как в окнах мелькала
Соседка модная, приехавшая с бала.

18

И мысль его стремилась за ней
По залам длинным до заветной спальни,
До ложа, где сомкнутых сном очей
Не смел тревожить отблеск утра дальний
Сквозь темных штор. И ярче и сильней
Мечта чертила век тот идеальный,
Когда, без риз, в тот миг, как бродят сны,
Вверялись жены скромности луны.

19

Но Пронский был еще так молод. Ум
Его, не занятый печальным наблюденьем

Иных картин житейских нужд и дум,
Настроен был к единым побужденьям
Любить мечтательно и странно. Наобум,
Без всяких данных, сладким убежденьям
Он предавался, что душе душа
Ответная дана здесь, и, спеша

20

Найти ее, мечтатель встретил где-то
Графиню. Юностью цветущее чело
Средь лиц, измятых трудной бурей
света,

Ее внимание невольно привлекло.
Как дева робкий, как мечта поэта
Восторженный и слабый, как стекло,
Пред красотой и женскою причудой,
Графине Пронский показался чудом.

21

Так посреди безлиственных долин,
Когда цветок нам встретится случайно
В траве сухой — блистающий один
Весенней свежестью, хранимый силой
тайной

До времени от непогод и льдин
Несносной осени, поры бесцветной крайно,—
О вешних днях тоскуя, мы его,
Сорвав, храним у сердца своего.

22

Графине Пронский показался мил
Незнаньем жизни, свежестию чувства;
В его душе ей взгляд открыл
Возможность страсти, безо лжи искусства
И тех измен, которыми сгубил
В ней веру свет, и с самого замужства
До той поры, как Пронский ей явился,
Ни разу пульс в ней сильно так
не бился.

Она воскресла! Газовый покров
 Вздымался сильно на груди прекрасной,
 Дрожала ножка на шелку ковров,
 Уста пылали. Юноша, опасной
 Беги минуты; розовых оков
 Ярмо тяжеле уз стальных. Напрасно!
 Благой совет исчез, как звук в пустыне! . .
 Он как сосед представился графине.

24

Под говор скрипок, под мотив живой
 Кадрилей их уста открылись вздором:
 Поверкой балов будущих зимой,
 Убранства дам критическим обзором,
 На скуку жизни эпиграммой злой,
 Про новые романы легким спором —
 Условною, обычной болтовней
 Менялись они между собой.

25

Но вскоре изменился разговор,
 И толк иной пошел меж ними смело
 О том, что речь кончает часто взор,
 Что миг иной дороже жизни целой;
 Что часто свет, вменяя нам в укор
 Влечение чистое, — корыстный, охладельный,
 Прощает нам порыв других страстей,
 Которые и ниже и грубей.

26

И мыслию согретых много слов
 Она бросала с детской простотою;
 Такою искренней казалась, что готов
 Ей Пронский был предаться всей душою
 И верить ей. Таков — всегда таков
 Тот возраст, где пред женской красотою
 Молчит рассудок, говорят мечты.
 Но он еще не перешел черты,

Когда, освобождаясь младенческих пелен,
 Вокруг себя впервые сердце взглянет
 И, пылкое, отбросив долгий сон
 От вежд своих, просить привета станет...
 Кто первая отдаст ему поклон,
 В его желанья заветной думой канет.
 Доверчиво, страдательно-смешно
 Уж сердце к той навек привлечено.

Какую красотой тогда сияет свет
 Среди призраков восторженных видений!
 Какой тогда душисто-чудный цвет
 Растят мечты! Все чары наслаждений:
 И рай отрад и горный лавр побед —
 Нам видятся среди наших сновидений!
 Волшебный миг, недолог ты — года
 Тебя от нас уносят, и тогда

Где слезы счастья, восторги ожиданья,
 И сны, томящие среди сумрака ночей,
 И робость детская в миг первого свиданья,
 Лобзаний сот и музыка речей,
 Нам в грудь лиющая волну очарованья?..
 То ж сердце в нас, но в полдень наших дней
 Любовь не та, и милых жен к ногам
 Несем уж мы не тот душистый фимиам!

Но Пронский был еще далек от лет,
 Когда наш ум, отринув заблужденья,
 Мечтам любви приюта не дает.
 Сребристый голос, стройные движенья,
 Порхливой ножки чуть заметный след
 Его влекли. Его воображенья
 Росли черты. В графине видел он
 Своей мечты осуществленный сон.

И стал следить повсюду он за ней,
 Ловя ее ласкающие взгляды,
 Дыша ее дыханьем, от речей
 Ее приветных ждя себе награды
 За тяжкий срок с ней врозь прожитых дней,
 За ночь без сна, без мрака и отрады,
 Вдали ее. Примерный раб терпенью,
 По свету он ее носился тенью.

32

Он был и там, где по паркету зал
 Влекут толпу властительные звуки;
 В круженьи вальса робко он сжимал
 В руках горячих маленькие руки
 И счастлив был, хотя сперва зевал
 Он на балах от тесноты и скуки,
 И сердце билось, взор светился искрой,
 И длинный вечер мчался быстро-быстро.

33

Он был и там, где не приветствий льстивых
 Гостиной гул слова передавал;
 Где век наш грешный рой благочестивых
 Старушек сплетниц грозно порицал.
 Среди этих душ, к соблазнам боязливых,
 Среди этих уст, не знающих похвал,—
 Бывалых грешниц, ныне ж без упрека
 Былинку видящих в зрачке чужого ока,—

34

Он не скучал, когда в их круг честной
 Она входила вестницей спасенья
 От тяжелой скуки, немощи земной.
 Про суеты идут там чинно пренья,
 А он, плененный этой суетой,
 Без помысла благого исправленья
 Езжал домой, целуя на разлуку
 Графинею протянутую руку.

Бывал он и на тех почетных вечерах,
 Не развлекаясь где ни сплетнями, ни скрипкой,
 Вы повстречаете философа в очках,
 Иль критика с значительной улыбкой,
 Или помещика, в чьих пахотных полях
 От чтенья Теэра не зреет колос гибкой,
 Где быт варяг и мурмолка в чести,
 Где нас хотят от Запада спасти. . .

Повсюду с ней и для нее одной
 Он тратил жизнь без цели и значенья,
 И день за днем обычной шел чередой,
 Не принося недугу излеченья.
 С лица свели румянец молодой
 Скрытой страсти тайные мученья,—
 Им овладела скука и хандра. . .
 Когда любовь доводит до добра!

Да, сколько чувств высоких и скорбей
 Тлетворной жизни изменяет жало! . .
 На сколько дней ничтожных и страстей
 Мы кинули цветное покрывало!
 Святыня в небе вечном — меж людей
 Любовь есть ложь и гордости начало.
 Сомненья, ревность, мщенье — вот ея
 Черты; любви давно боюся я!

И где же те, в груди чьей зреет свято
 Не чувственность, но чувство,— где же те,
 От чьей души изменой не отъято
 Доверье к дружбе, вера к правоте,
 Чьей легкой жизни горькая утрата
 Не трогала; кто сердца в простоте
 Еще уверен, что друзей участие
 Вполне заменит призрачное счастье? . .

Но дружба есть, и дружба дев прекрасных
 И нежных жен верней любви их,
 И легких слез, и поцелуев страстных,
 И тверже их алмазов дорогих!
 И есть одна, когда, в хулах напрасных,
 Свет гнал меня за пыл грехов моих,—
 При ней о мне молчала, знаю я,
 Людской молвы гремучая змея!

40

И ныне там, где Тассовы октавы
 Ей заменили песнь родных степей,
 Где вечный Рим, свидетель столькой славы
 И стольких игр, и стольких мятежей,
 Ее приял и новые забавы
 И впечатления раскинул перед ней,
 Она, я знаю, помнит в час досуга
 Далекое, покинутого друга!

41

Но, виноват! Воспоминаний тени,
 Мелькнувшие невольно предо мной,
 О той поре, когда, не зная сомнений,
 Я также жил сей жизнью пустой,
 Так полной грез и сладких заблуждений,
 Меня невольно чуть в рассказ иной
 Не увлекли. Прочь, милый призрак,— снова
 Пою я грусть приятеля младого.

42

Задумчивый, рассеянный, смешной
 Желанием взаимных мук и страсти,
 Не знал мой Пронский, как — чего ценой
 Ему достичь хотя минутной власти
 И передать графине бред свой злой
 И равные желания. Отчасти
 Он был неправ: смотря сквозь чистых призм
 На чувство, бросить надо эгоизм.

Но виноват ли Пронский мой, когда
 Мы ныне все подвластны себялюбью?
 Другим стал свет, другая черед
 Пришла всему, и, видно, чувства глубию
 Не щеголять нам больше и следа
 Не отыскать на сердце. Самолюбью
 В нем место лишь. Приемля вид любви,
 Оно одно тревожит сон крови

И будит страсти. Нет, минуло время,
 Когда любили мы не для себя,
 Когда легко казалось нам бремя
 Тоски безмолвной. Память истребя
 О рыцарских преданьях, наше племя
 Давно их осмеяло, и, любя,
 Мы требуем, чтоб нас любили тоже,
 Чтоб знали мы... не то, избави боже!

Не терпим мы, чтоб язвы наших ран
 Изгладились одни, без исцеленья.
 Милей нам даже лстящий нам обман,
 Чем истина любви без разделенья.
 Везде, во всем иначе воссоздан,—
 Нам точный век желает проявленья...
 Приняв, как все мы, этакое мнение,
 Наш Пронский скоро потерял терпенье...

Гас летний день; туманом голубым
 Покрылся город; улицы пусты
 От шума смолкли; по крестам златым
 Уселись галки; сторожа ночные
 Перекликались; дружно вторя им,
 Собаки выли... но черты такие
 Московской ночи не пленяют вас.
 Итак, бог с нею — дальше мой рассказ!

Скучна на севере ночь летняя. Ночей
 Душистых юга радостней картины;
 Отчизна хладная! зато твоих степей
 Торжественна мгла зимняя; равнины
 Белеют ярко; от нагих ветвей,
 Колеблемых, струятся искры; льдины,
 Как яхонт; светят — в тысяче лучах
 Сиянье севера играет в небесах;

Лихая тройка скачет; голосит
 В пустом пространстве звонко «дар Валдая»,
 Дымятся кони... всё кругом блестит,
 Всё тихо, ясно, только, упавая
 На снег, чернеют тени... Чудный вид!..
 И сколько дум различных, пробегая,
 Тогда нам в грудь теснятся!.. Но опять
 Увлекся я, пора мне продолжать.

Угрюмо Пронский подошел к окну,
 На дом графини поглядел, вздыхая;
 Потом глаза на «бледную луну,
 Влюбленных солнце», поднял, напевая
 Романс какой-то, славный в старину,
 А ныне глупый... вот хвала земная!
 Потом, как будто мыслию какой
 Вдруг поражен, он плащ накинул свой,

И вдоль по улицам пошел он... Перед ним
 В одной светлице луч мерцал из окон.
 От любопытных тьмой ночной храним,
 В нее глядеть стал Пронский, сколько мог он;
 И увидал он: к персям молодым
 Склонив головку и развевя локон
 Густых кудрей небрежно по плечам,
 Сидела девушка. Склонясь к ее ногам,

Ей в очи глядя и сжимая руки,
 Сидел мужчина. На его чертах
 Сияла радость. Трудный час разлуки
 Их не пугал, казалось; в их устах
 Надежд каких-то раздавались звуки,
 Как будто бы им было в небесах
 Так суждено, чтоб поприще земное —
 Слив жизнь в одно — они свершали двое.

А он один был!.. Над его головой
 Мерцали звезды, слившись лучами;
 Цветок к цветку склонился над травой,
 Шептались листья с ближними листьями...
 Природа вся такую тишиной
 И негою дышала, так волнами
 Тепла и света брызгала на мир,
 Что вдвое в нем, казалось, был он сир.

И вмиг окрепла воля. Он решился
 Весь бред, всю страсть сомкнув в письмо одно,
 В нем высказать: как долго он томился,
 Какой недуг в груди его давно
 Сменил покой; с лица его струился
 Холодный пот, рука дрожала, но —
 Несвязных строк черты из-под пера
 На лист ложились до самого утра.

ЗАПАСНЫЕ МАГАЗИНЫ

(Басня)

Во избежанье зла, всех лютых бед,
Неурожая, зноя гибельных последствий,
Суровых зим и знойных лет
И вообще всех бедствий,
Которыми грозят голодные года,
Повелеваем мы отныне навсегда,
Пещась о здравии подвластной нам скотины,
Везде запасные устроить магазины,
И в оные чтоб каждый зверь вложил
От всех своих стяжаний десятины.
Ослушникам сего — мой подставляю зев.
На подлинном подписано: «Мы, Лев».
И манифест такого рода,
Чтоб положить границу злу,
Лев разослал звериным воеводам,
И между прочим, и ослу.
Без доблестных заслуг и без когтистой лапы,
Без этих признаков шляхетности зверей,
Вышерекомый скот попал в сатрапы.
Распоряжение осел тотчас повел.
Распоряжение ослово,
Чай, никому не ново.
Списал бумагу слово в слово
И подписал: «Осел».
Но как бы ни было, а дело шло успешно:
В трущобе лесовой, среди пустых стремнин,
На днище буерака устроен был дубовый магазин,

Столетний бурелом накрыл его, как крыша.
Готово здание. В смотрители туда
Из ближнего гумна потребованы мыши
(Из всех зол меньшее приемлется всегда),
И крот, как контролер, считает десятины.
Приносят звери вклад: крот в ведомость вписал
От волка три овчины,
Лисица принесла два крылышка курины,

.....
Кабан две пары вдруг оленьих внес рогов,
Медведь полчерепа да пару сапогов,
Для счастья ближнего усердья не жалея
(Чтоб пародировать удачней Гамалея,
Порядком молвить — ободрал я дуралея).
...при усердии таком
...магазин набит битком.

Осел доносит льву, а лев на донесенье
Ответствует, что он за подданных-де рад,
И в знак монаршего благоволенья
Дарит ему в лугах казенных майорат,

.....
Как было после, я не знаю, только слышал,
Что в первый же голодный год
Зверь гибнул с голоду, толстели очень мыши,
И, к довершенью зла,
На дарственных лугах нашли скелет осла:
У мишеньки не дрогнула, зная, лапа
На самого сатрапа.
Не счастье, а беда — и запасные магазины,
Когда они под веденьем скотины.

<1848>

ПРИМЕЧАНИЯ

Сборник стихотворений поэтов-петрашевцев впервые вышел в Большой серии «Библиотеки поэта» в 1940 г. Этот сборник был составлен и прокомментирован В. Л. Комаровичем, погибшим в годы Великой Отечественной войны во время блокады Ленинграда. В. Л. Комарович отдал много труда и времени, чтобы разыскать в многочисленных газетах, журналах, сборниках 1840-х и частично 50—60-х гг. стихотворные тексты давно забытых авторов. Задача составителя осложнялась тем, что ни один из поэтов — членов кружка Петрашевского, кроме Плещеева, никогда не переиздавал своих стихов, не выпускал их отдельными сборниками. Поэтому В. Л. Комаровичу пришлось не только отыскивать эти стихи путем сплошного просмотра всей без исключения периодики того времени, но и впервые решать все вопросы, связанные с определением авторства, отбором произведений, работой над текстом и т. д.

Характеризуя те принципы, которые легли в основу первой публикации наследия поэтов-петрашевцев, В. Л. Комарович в своих комментариях к сборнику указывал на крайнюю неоднородность происхождения собранных им текстов. Если стихи Плещеева не раз были переизданы самим поэтом, а затем выдержали ряд посмертных изданий, то А. И. Пальм и С. Ф. Дуров печатались только в периодической прессе. Д. Д. Ахшарумов вообще не публиковал своих юношеских стихов: они вошли в его книгу «Из моих воспоминаний» (СПб., 1905) лишь в качестве автобиографических документов. Наконец, стихи А. П. Баласогло сохранились в полуанонимном издании. При такой разнохарактерности текстов, включенных в книгу, естественно, были различны и текстологические принципы, которыми руководствовался составитель, работая над тем или иным ее разделом. Так, в сборник включены только избранные стихи Плещеева, наиболее характерные для него как петрашевца (при этом ранние произведения взяты почти все). Зато стихотворения Дурова, никогда не собиравшиеся вместе, представлены по возможности полностью. Это относится и к переводам, которые преобладают в его наследии; они приравнены к оригинальным произведениям и собраны целиком, в то время как в раздел, посвященный Плещееву, включены только наиболее значительные его

переводы, важные для понимания общественно-литературной позиции автора.

Подобно Дурову, с возможной полнотой представлены также Ахшарумов и Пальм. Ахшарумов — потому что все его стихи тесно связаны с идеологией и процессом петрашевцев; стихи же Пальма, за исключением нескольких особенно слабых пьес, не стоило подвергать отбору, потому что они, целиком вмещаясь в пределы 40-х гг., наглядно отражают типичный для поэзии той эпохи переход от литературных жанров и форм пушкинской школы и Лермонтова к поэтике и темам Некрасова.

Баласогло представлен в сборнике лишь наиболее характерными стихотворениями, ввиду хронологического несовпадения его поэтической деятельности с возникновением и деятельностью кружка петрашевцев.

Материал книги расположен в хронологической последовательности, причем первое место предоставлено тем поэтам, деятельность которых ограничивается пределами 40-х гг. (Баласогло, Пальм, Ахшарумов). Та же хронологическая последовательность, по возможности, соблюдена и внутри каждого из пяти разделов (по числу поэтов); однако при отсутствии рукописей и авторской датировки часто приходилось руководствоваться только датами первых прижизненных публикаций. Все эти даты в тексте сборника приводятся в угловых скобках. Даты, обозначающие время написания произведения, и авторские и редакторские, даются без скобок.

Что касается работы над самим текстом, то она сводилась или к сличению нескольких разновременных изданий поэта, или к сверке посмертного издания с единственной авторской журнальной публикацией, или — чаще всего — просто к извлечению произведений из старинных альманахов, газет и журналов. Как правило, воспроизведению в основной части книги подлежал последний, исправленный самим автором вариант. Только в особых случаях предпочтение отдавалось варианту первоначальному, когда позднейший был явно продиктован цензурой. Впрочем, заглавия часто сохранялись от редакций первоначальных — в тех случаях, когда поэт заменял их при переиздании простым указанием, что пьеса — переводная («Из В. Гюго», «Из Р. Прутта» и т. п.). Все эти случаи оговорены в примечаниях. Туда же отнесены некоторые ценные варианты. Если в примечаниях указывается только первая публикация, то это означает, что она в то же время является и единственным источником текста.

Настоящий сборник составлен на основе издания 1940 г. В то же время состав книги несколько изменен и перестроен. В новом издании более последовательно выдержан хронологический принцип в расположении стихотворных текстов внутри каждого отдела. В раздел «Приложение» не включены стихи В. Д. Ахшарумова, М. И. Попова, М. П. Ковалевского, поскольку эти авторы не имели непосредственного отношения к кружку петрашевцев. С другой стороны, издание пополнено произведениями, не вошедшими в сборник 1940 г. (Сведения о новых текстах см. в справочных заметках к примечаниям.) В примечания В. Л. Комаровича внесены необходимые исправления и дополнения. Тексты некоторых стихотворений публикуются с поправками, которые оговариваются в примечаниях.

- БЛ — Всесоюзная библиотека СССР им. В. И. Ленина.
ГПБ — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
изд. 1846 г. — Стихотворения А. Плещеева. 1845—1846. СПб., 1846.
изд. 1858 г. — Стихотворения А. Н. Плещеева. СПб., 1858. Издание А. Смирдина сына и К^о.
изд. 1861 г. — Стихотворения А. Н. Плещеева. Новое издание, значительно дополненное. М., 1861.
изд. 1887 г. — Стихотворения А. Н. Плещеева. (1846—1886). С портретом автора. М., 1887. Издание В. М.
изд. 1948 г. — А. Плещеев. Стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания А. В. Федорова. «Советский писатель», «Библиотека поэта», Большая серия. 1948.
ИЛ — «Иллюстрация»
ИРЛИ — Институт русской литературы Академии наук СССР (Ленинград)
ЛГ — «Литературная газета»
Петрашевы, 1 — Петрашевы в воспоминаниях современников. Сборник материалов. Составил П. Е. Щеголев с предисловием Н. Рожкова. М.—Л., 1926.
Петрашевы, 2 — Петрашевы. Сборник материалов. Редакция П. Е. Щеголева, т. 2, М.—Л., 1927.
Петрашевы, 3 — Петрашевы. Сборник материалов. Редакция П. Е. Щеголева, т. 3. М.—Л., 1928.
РВ — «Русский вестник»
С — «Современник»
сб. 1940 г. — Поэты-петрашевы. Редакция текста и примечания В. Л. Комаровича, вступительная статья В. В. Жданова. «Советский писатель», «Библиотека поэта», Большая серия. 1940.

А. П. БАЛАСОГЛО

Известное нам поэтическое наследство Баласогло исчерпывается посланием А. Н. В<ульф> и тридцатью тремя стихотворениями, помещенными в сборнике «Стихотворения Веронова» (СПб., 1838, стр. 117—209). Из них в настоящем издании публикуются восемь лучших. За пределами сборника остаются следующие стихотворения: «Соловью (Подражание новогреческому)», «Ревель», «Первое понятие о любви», «Нечто», «Крапива», «Сонет» («Везде и все поют и пеи дев...»), «Сказка из были», «Упреки», «Разговор», «Толпе», «Надежда», «Эпиграмма» («Прекрасен мир и в самой буре...»), «История неизвестной картины», «Так, дева, так: мне это рок воздал...», «Нет, не могу. Пстой!.. простыл и след!..», «Ворожея», «В альбом», «Эпиграмма» («Дивисься ты, что Митридат...»), «Презрела ты меня, но рано или поздно...», «Сонет» («Ты не поймешь, красавица, поэта...»), «Чего ты рыщешь, франт? — Иди сюда с лорнетом...», «К Я. М.», «М.», «Элегия», «Ожидание (Подражание Шиллеру)».

Прорицание (стр. 53). Впервые — «Стихотворения Веронова». СПб., 1838, стр. 129—132.

Противоположность (стр. 55). Впервые — там же, стр. 142—147. В 56-й строке цензурный пропуск предположительно восстанавливается по смыслу: «Истертым <образом> киот». Киот — створчатая рама или остекленный шкаф для икон.

Раздел (стр. 57). Впервые — там же, стр. 172—174.

Исповедь (стр. 59). Впервые — там же, стр. 174—182.

Гений (стр. 60). Впервые — там же, стр. 183—185.

Лишний (стр. 61). Впервые — там же, стр. 189—191.

Приметы (стр. 62). Впервые — там же, стр. 200—202. Зоофит — до середины XIX в. зоофитами назывались организмы, средние между растениями и животными.

Возвращение (стр. 63). Впервые — там же, стр. 202—205. В тексте «Стихотворений Веронова» в строке «Где б ум был волен...» имеется цензурный пропуск. В изд. 1940 г. В. Л. Комарович попытался восстановить пропуск: «Где б ум был волен, <где б царь не тиранствовал>». Ввиду того, что это чтение основано только на догадке, в настоящем издании оно не воспроизводится. О'Коннель Даниэль (1775—1847) — крупный ирландский общественный деятель, адвокат; боролся за независимость Ирландии. «...А нам — лишь росла б трин-трава!» — в этих словах, возможно, содержится намек на известную песню К. Ф. Рыдеева и А. А. Бестужева:

Ах, где те острова,
Где растет трин-трава,
Братцы...

А. Н. В. (стр. 65). Впервые опубликовано по неизвестно где находящейся рукописи А. Бемом в «Пушкинском сборнике памяти профессора С. А. Венгерова». М.—П., 1922, стр. 202—209. Печ. по этому тексту, с исправлением явных опечаток или описок. В строке 30-й от конца одно слово осталось неразобранным в рукописи. Предположительное чтение его дается в угловых скобках. Под инициалами А. Н. В. скрывается, по мнению А. Бема, Алексей Николаевич Вульф, сосед по имени и приятель Пушкина, автор известных «Дневников». Вероятнее, однако, что стихотворение посвящено Анне Николаевне Вульф: на это указывают некоторые строки, например, «не я, а он кадил бы вам...», явно обращенные к женщине. И в городке глухих невежд — в Херсоне, где родился Баласогло и провел детство. Тригорское — имение Вульфов в Псковской губернии, неподалеку от Михайловского. Весь Тучков — торговый поселок при крепости Измаил (в Бессарабии), основанный в 1810—1811 гг. генералом Тучковым. «Московский вестник» — журнал, издававшийся в 1827—1830 гг. М. П. Погодиным, орган «любомудров»; в нем поместил несколько

произведений Пушкин. «Телеграф» — т. е. «Московский телеграф», популярный журнал, издававшийся в 1825—1834 гг. Н. А. Полевым. «Пчела» — т. е. «Северная пчела», газета, издававшаяся реакционным журналистом Ф. В. Булгариним. «Злой «Инвалид» — подразумевается газета «Русский инвалид», которую с 1822 г. редактировал А. Ф. Воейков, автор «Дома сумасшедших», сатиры на писателей-современников. «Новости литературы» — журнал, выходивший в Петербурге в 1822—1826 гг. в качестве литературных прибавлений к «Русскому инвалиду». В этом журнале печатались стихи Пушкина, Жуковского, Баратынского, Рылеева, Дельвига и др. поэтов 20-х гг. *Тиртеевский* — от Тиртея, древнегреческого поэта VII—VI вв. до н. э. Согласно преданию, Тиртей воодушевлял спартанцев своими песнями на военные подвиги. *Мур* Томас (1779—1852) — английский поэт-романтик, автор знаменитых «Ирландских мелодий». *Ознобищин* Дмитрий Петрович (1804—1877) — поэт 1820—1840-х гг.; часто печатался в журналах и альманахах. *С арсной «тигров»* — тигром, как и львом, в 1830—1840-е гг. называли светского покровителя женских сердец, денди. *Амвон* — возвышение в церквах, с которого произносились проповеди. *Равельяк* Франсуа (1578—1610) — убийца французского короля Генриха IV. «*Зачем, зачем они хоронят...*» и т. д. — отрывок, начинающийся этой строкой, представляет ценность как свидетельство очевидца похорон Пушкина. Согласно формулярному списку, Баласогло в 1836 по 1839 г. состоял на службе в департаменте народного просвещения и, следовательно, должен был в январе — феврале 1837 г. находиться в Петербурге. Вынос тела Пушкина в придворную Конюшенную церковь состоялся в ночь с 31 января на 1 февраля, отпевание же — утром 1 февраля; эти два момента и имеет в виду в своем стихотворении Баласогло. *Плрезы* — траурная обшивка из белых полос (франц.). *Каннин* — возможно, Каннинг Джордж (1770—1827), крупный государственный деятель Англии. «*И, может быть, еще досель...*» и следующие две строки относятся к поэту Н. М. Языкову и имеют в виду его пребывание за границей, где он прожил с 1838 по 1843 г. «*И мог ли думать я, читая...*» и следующие три строки — пересказ соответствующих мест из стихотворения Языкова «Тригорское» (1826), посвященного П. А. Осиповой, матери А. Н. Вульф. *Сороть* — река возле Тригорского и Михайловского.

А. П. П А Л Ь М

В настоящий сборник включены почти все поэтические произведения Пальма, обнаруженные В. Л. Комаровичем на страницах периодических изданий 1840-х гг., за исключением четырех стихотворений, не представляющих значительного интереса.

Опустелый дом (стр. 86). Впервые — ЛГ, 1843, № 15, от 18 апреля, стр. 293. В том же номере ЛГ Ф. Кони в обзоре «Журнальная амальгама» приветствовал появление «нового поэта г. Пальма», у которого «весьма замечательное дарование», «много теплоты», «много простоты в изложении», «стих звучен, правилен... компактен».

Из Андрея Шенье (стр. 87). Впервые — ЛГ, 1843, № 17, от 2 мая, стр. 337. Французский подлинник — из отдела «*Vicoliques*»

под № XXXIII («J'étais un faible enfant qu'elle était grand et belle...»). Имя Шенье было популярно в среде петрашевцев; П. П. Семенов-Тянь-Шанский сообщает, что в кружке Петрашевского прозвание André Chénier получил Плещеев (Петрашевцы, 1, стр. 52).

«Много горя, много дум тяжелых...» (стр. 87). Впервые — ЛГ, 1843, № 21, от 30 мая, стр. 419—420.

Элегия (стр. 88). Впервые — ЛГ, 1843, № 25, от 27 июня, стр. 487. Французский подлинник — «Bel astre de Vénus de son front délicat...».

Воспоминание (стр. 88). Впервые — ЛГ, 1843, № 29, от 25 июля, стр. 548—549.

Сказка про царя с царевной да про гусяра с заморским котом (стр. 90). Впервые — ЛГ, 1843, № 41, от 17 октября, стр. 729—735. Это один из тех опытов в народно-сказочном жанре, которые в изобилии стали появляться со второй половины 1830-х гг., после сказок Пушкина и «Конька-горбунка» Ершова (1834). При некотором сюжетном сходстве со «Сказкой о царе Салтане», сказка Пальма написана, однако, размером вовсе не пушкинским; один из трех чередующихся в ней размеров — четырехстопный хорей без рифм, сплошь с одними женскими окончаниями — ближе всего к размеру, которым написан «Бова» Радищева; другой размер заимствован из «Песни про купца Калашникова» Лермонтова. От Лермонтова идет и песенная образность эпитетов, сравнений, а также прерывающих иногда рассказ рефренов; в сказке есть даже два-три чуть измененных лермонтовских стиха. В сюжете сказки нашли отражение два распространенные в международном фольклоре мотива: муж на свадьбе своей жены и мотив о любовнике-оборотне. В том же номере газеты находим о сказке Пальма сочувственный отзыв Федора Кони, заканчивающийся так: «Мы в печатной нашей литературе в этом роде ничего не знаем, кроме сказки «О купце Калашникове» Лермонтова» (ЛГ, № 41, стр. 743).

Освобожденный узник (стр. 107). Впервые — «Библиотека для чтения», 1844, № 4, стр. 73—74. В журнальном тексте в 5-й строке очевидная опечатка: «видел». Контекст подсказывает единственно правильную поправку: «выдал», которая принимается в настоящем сборнике.

Из Шенье (стр. 108). Впервые — там же, стр. 76. Французский подлинник — отрывок VIII из отдела «Poèmes» («Viens près d'elle au matin quand le dieu du repos...»).

А. Ф. Д—у (стр. 109). Впервые — там же. Адресат стихотворения не установлен.

Цыганке (стр. 109). Впервые — альм. «Молодик на 1844 год», стр. 32—33. (дата ценз. разр. 22 марта 1844 г.). Автограф — из собрания И. Е. Бецкого, в БЛ.

Напутное желание (стр. 110). Впервые — там же, вслед за предыдущим. Автограф — из того же собрания, что и «Цыганке».

Няня (стр. 111). Впервые — «Отечественные записки», 1895, т. 39, № 3, стр. 254.

«Когда гляжу на городские зданья...» (стр. 112). Впервые — альм. «Метеор на 1845 год». СПб., стр. 33. В рецензии на «Метеор», помещенной в ЛГ (1845, № 17, стр. 297—299), стихотворение Пальма приведено в качестве одного из лучших в сборнике. Тема большого города и его социальных противоречий характерна для поэзии петрашевцев; она звучит, например, в единственном дошедшем до нас стихотворном отрывке петрашевца Катенева «Прости, великий град Петра» (см. вступительную статью, стр. 31).

«Я сидел задумчив...» (стр. 112). Впервые — ЛГ, 1845, № 16, от 3 мая, стр. 279.

«Гляжу я на твои глубокие морщины...» (стр. 113). Впервые — там же, вслед за предыдущим.

Русские картины (стр. 113). Впервые — ИЛ, 1845, № 8, от 26 мая, стр. 127.

Русская песня (стр. 114). Впервые — ЛГ, 1845, № 21, от 7 июня, стр. 360 (с эпитафией). С исправлениями и без эпитафии — в ИЛ, 1845, № 20, от 25 августа, стр. 318. Печ. по этому тексту. Эпитафия сохраняется, так как, по-видимому, он снят цензурой. Многоточием в конце пьесы обозначен цензурный пропуск; пропущенный стих кончался, вероятно, словом «оковы» (рифма к «дубровы»). «Русская песня», которой посвящено стихотворение, — разбойничья; разбойничеству здесь придан характер социального протеста; об этом свидетельствует и эпитафия, устранившая во второй редакции стихотворения, — первый стих той песни, которую поют разбойники в «Дубровском» и пугачевцы в «Капитанской дочке» у Пушкина. Пальм мог прочесть ее также в т. II «Сказаний русского народа» И. Сахарова (СПб., 1837, стр. 262—263). Апологию этой народной песни, в противовес «светской лжи», и представляет собою стихотворение Пальма. Фольклорный материал использован здесь в соответствии с актуальными задачами литературы 1840-х гг.; мотив народной песни приобретает революционный смысл, так же как и в стихотворении Некрасова «Не гулял с кистенем я в дремучем лесу...», написанном годом позже (1846).

Осенний день (стр. 115). Впервые — ЛГ, 1845, № 22, от 14 июня, стр. 369.

Отрывок из рассказа (стр. 116). Впервые — «Финский вестник», 1846, т. 10, стр. 71—78. Поэма написана терцинами (пятистопным ямбом) — форма, в русской поэзии встречающаяся крайне редко. *Валдая дар* — реминисценция из популярного романса Ф. Н. Глинки «Тройка» («И колокольчик, дар Валдая...»).

В альбоме М. В. Г. (стр. 122). Впервые — «Невский альманах на 1847 и 1848 годы», вып. 1. СПб., 1847, стр. 188 (ценз. разр. 5 сентября 1846 г.).

Перед грозой (стр. 123). Впервые — «Северное обозрение», 1848, т. 2, стр. 23—24.

Обоз (стр. 124). Впервые — «Репертуар и пантеон», 1847, № 8, стр. 135—136.

«Напрасно прозрачные глазки твои...» (стр. 125). Впервые — там же, вслед за предыдущим.

«И одного еще мы проводили...» (стр. 126). Впервые — в тексте романа Пальма «Алексей Слободин», «Вестник Европы», 1873, № 2, стр. 525. В ходе повествования стихотворение приурочено к одной из «утрат», постигших «приятельский кружок»; подразумевается, вероятно, неожиданная смерть Валерьяна Майкова летом 1847 г. Что стихотворение относится именно к этому моменту, видно из дальнейшего рассказа о дачной жизни в Полуострове и о сближении героя романа со «свежими людьми». Как раз в Полуострове в августе 1847 г. Пальм познакомился с Петрашевским (см. «Голос минувшего», 1915, № 11, стр. 16—17).

Д. Д. АХШАРУМОВ

При жизни Ахшарумова стихотворения его никогда отдельно не издавались. Не публиковались они и в периодической печати. Лишь несколько стихотворений, написанных в тюрьме в 1849 г. и в более позднее время, он включил в качестве автобиографических документов в свою книгу «Из моих воспоминаний». Эта книга является почти единственным источником текста известных нам стихотворений Ахшарумова.

В настоящее издание в основной текст включено стихотворение «Мои осторожные друзья...», ранее приведенное В. Л. Комаровичем в примечаниях к сб. 1940 г.

«Едва я на ногах — шатаюсь, как пьяный...» (стр. 133). Впервые — в тексте книги Д. Д. Ахшарумова «Из моих воспоминаний». СПб., 1905, стр. 58.

«Позором века...» (стр. 134). Впервые — там же, стр. 58—59.

«Как длинны эти дни, как долго это время...» (стр. 134). Впервые — там же, стр. 59.

«Земля, несчастная земля...» (стр. 135). Впервые с пропуском шести строк — в статье В. Семевского. «Из истории общественных идей в России в конце 40-х годов» (сб. «На славном посту», ч. 2. СПб., 1900, стр. 123). Полностью — в книге Ахшарумова «Из моих

воспоминаний», стр. 59—60. Против последних десяти строк стихотворения Ахшарумов в тексте своей книги сделал сбоку пометку: «Фурье», прибавив тут же: «Таким фантастическим бредом à la Fourier утешал я себя в это трудное время» (стр. 60). В бумагах Ахшарумова имеется обширный стихотворный текст, озаглавленный «Европа 1845» и представляющий собой, по-видимому, первоначальную редакцию стихотворения. Этот текст носит явно черновой характер. Он настолько необработан, что воспроизводить его полностью нет необходимости. Приводим здесь из него лишь заключительный отрывок; он весьма близок к более обработанному варианту, включенному в книгу «Из моих воспоминаний», но содержит некоторые дополнительные штрихи, показательные для фурьеристских настроений автора:

..Но время лучшее придет,
Война кровавая пройдет,
Земля покроется дворцами,
Вражда взаимная умрет,
И нищий и немой народ
Свободу жизни обретет
С ее могучими страстями.
Столицы, города сотрутся
С лица земли, не будет их,
И с ними в землю погребутся
Все стоны, все мученья их.
Как пальмы, гордо вознесутся
Колонны новых зданий вместо их,
И жизнь небес и всей вселенной — сольются.
Тогда всё будет вдохновенье,
Души прекрасные стремленья,
Все ныне темные виденья
Предстанут в образах живых,
И будет труд всем в наслажденье.
Вся зацветет земля роскошными цветами.
Обильный хлеб взрастет над взрытыми полями,
Сады обвиснут красивыми плодами,
Законы
В гармонию сольются
Вечная весна...

(См. «Дело петрашевцев», т. 3. М.—Л., 1951, стр. 87—89, где этот черновой вариант опубликован полностью.)

«День за днем всё идет да идёт...» (стр. 136). Впервые — в тексте книги Ахшарумова «Из моих воспоминаний», стр. 60—61. Это стихотворение, написанное также в каземате Петропавловской крепости, Ахшарумов, по его словам, «долго выработывал с различными вариациями и затем пел с припевами некоторых четверостиший, пел, слышимый только одними мышами...» («Из моих воспоминаний», стр. 60).

«Гора высокая, вершина чуть видна...» (стр. 137). Впервые — там же, стр. 90—92. В воспоминаниях сопровождается следующим пояснением:

«Одно из стихотворений этого времени, задуманное вроде поэмы, олицетворяло восхождения, поодиночке, на гору крутую, пустынную, местами усеянную костями людей, шедших прежде нас, с соблазнами возвращения назад, в прежнюю жизнь. Стихотворение это, не конечное, возобновляемое иногда позже в памяти, воспроизведено было мною только отчасти впоследствии на Кавказе. Я привожу его как оно есть; оно выражает мрачное, экзальтированное, болезненное состояние человека, истомленного долгим одиночным заключением за стремление выйти из безобразной, душной окружающей нас общественной среды» («Из моих воспоминаний», стр. 90).

«Судьба жестокая свершилась надо мной...» (стр. 139). Впервые — там же, стр. 131. Стихотворение написано по пути в Херсон в последних числах декабря 1849 г. Стихи:

Так, вихрем сорванный от дерева родного,
Летит зеленый лист увянуть вдалеке! —

один из бесчисленных в русской поэзии перепевов знаменитого стихотворения Арно, переведенного, между прочим, и Дуровым (см. примечание к его стихотворению «Листок», стр. 361—362).

«Ах, сколько звезд на небесах...» (стр. 140). Впервые — там же, стр. 131. Пояснением текста служат следующие слова воспоминаний: «Я стоял один на дороге, кругом лежали снега, и слезы текли из глаз, и я говорил вновь, засматриваясь на звезды» («Из моих воспоминаний», стр. 131). Относится к тому же моменту, что и предыдущее.

Херсонь (стр. 140). Впервые — там же, стр. 257—258. В воспоминаниях имеет дату: «1850». Относится ко времени пребывания Ахшарумова в херсонском остроге.

Н. Е. Рудыковскому (стр. 141). Впервые — там же, стр. 272. В воспоминаниях имеет дату: «Херсон, 1851». Написано по выходе из херсонского острога, накануне отъезда в армию на Кавказ. Инженер Н. Е. Рудыковский, которому Ахшарумов оставил перед отъездом это стихотворение, был, по его словам, «единственный человек во всем городе», который не побоялся принять в ссыльном участие и оказать ему «как нравственную, так и материальную поддержку» («Из моих воспоминаний», стр. 272).

«Мои острожные друзья» (стр. 142). Впервые — там же, стр. 211. В воспоминаниях это стихотворение включает рассказ о песнях и плясках арестантов, которые автор наблюдал в херсонском остроге. Комментируя стихотворение, Ахшарумов отметил, что оно написано «по прошествии 48 лет, в одном из моих сочинений, озаглавленном „Поток жизни“» («Из моих воспоминаний», стр. 211).

Поэтическое наследие Дурова дошло до нас в совершенно разрозненном и далеко не полном виде. По словам А. И. Пальма, «Дуров писал очень мало, и это немногое так разбросано, что очень трудно воспроизвести его поэтическую автобиографию» («Изящная литература», 1885, № 2, стр. 213). Собрать свои стихотворения в отдельный сборник Дуров не захотел или не успел. Попытка же, предпринятая друзьями уже после смерти поэта, успехом не увенчалась. В 1881 г. в тифлисском журнале «Фаланга» была напечатана редакционная заметка (сопровождающая публикацию трех стихотворений Дурова), в которой сообщалось: «Теперь все его <Дурова> стихотворения собраны А. И. Пальмом, предполагающим издать их отдельной книжкой» («Фаланга, художественно-юмористический журнал», 1881, № 27, стр. 2). Издание это, однако, не состоялось, хотя и рассматривалось в цензурном комитете. Очевидно, цензура отказалась пропустить книгу поэта-петрашевца.

Ранние произведения Дурова неизвестны вообще. Согласно указанию Н. В. Гербея, «вместе с служебной деятельностью» Дурова, т. е. примерно с 1833 г., «шли и литературные его занятия, начавшиеся очень рано. Первые стихотворения, помещаемые им в современных альманахах, печатались довольно долго без означения имени автора. Только начиная с 1843 г. имя его стало являться на страницах журналов того времени и вскоре обратило на себя внимание многих» (Н. В. Гербель. Русские поэты в биографиях и образцах, изд. 3-е, под ред. П. Н. Полевого. СПб., 1888, стр. 430—431). Рукописи Дурова почти не сохранились.

Стихотворения Дурова, затерявшиеся на страницах старых журналов и альманахов, впервые были собраны В. Л. Комаровичем и напечатаны в сб. 1940 г. В настоящем издании отдел, посвященный Дурову, пополнен стихотворением «Оттого ли, что когда-то...». Кроме того, в основной текст включено как бесспорно дуровское стихотворение «Оружие (Ребенку)», вошедшее в сб. 1940 г. в качестве стихотворения, приписывающегося поэту.

Из В. Гюго («Не насмехайтесь над падшею женой!..») (стр. 155). Впервые — ЛГ, 1843, № 43, от 31 октября, стр. 766, под цифрой 1; вторично, с исправлениями — в ИЛ, 1846, № 41, от 2 ноября, стр. 656. Французский подлинник — в сб. «Les chants du crépuscule» (1835), под № XIV («Oh! n'insultez jamais une femme qui tombe!..»). К началу 30-х гг. эволюция мировоззрения В. Гюго (1802—1885) приводит его к утопическому социализму, что сказывается в предисловии к сб. «Les chants du crépuscule» («Песни сумерек» 1835 г.). Лирика Гюго усваивает новый круг тем, придающих ей философский и вместе злободневно-обличительный, даже революционный характер. Гюго и воспринимается русскими поэтами 1830-х гг., вместе с Барбье, как носитель, по словам Баратынского, «новых сердечных убеждений» и «просвещенного фанатизма». Переводы из Гюго есть у Полежаева, он близок был Лермонтову. Из петрашевцев, кроме Дурова, огромное внимание лирике Гюго уделяли в юношеской своей

переписке брата Достоевские. Переводил из него и Салтыков. Любопытно, что русская журналистика 1830—1840-х гг., часто упоминая Гюго в своих обзорах иностранной литературы, ставила его имя рядом не только с Жорж Занд, Бальзаком, Сю, но и Фурье (см. «Библиотека для чтения», 1834, т. 2, № 4, стр. 83). Подобные сближения не лишены были некоторой прозорливости: если Гюго нельзя причислить к идеологам движения, подготовившего революцию 1848 г., то нельзя и не признать в нем, с другой стороны, мужественного защитника ее непрочных завоеваний; сб. «Châtiments» (1853), написанный в изгнании, после контрреволюционного переворота 1851 г., — лучшее тому доказательство. Этот сборник ценил В. И. Ленин. В 1909 г., в Париже, он «охотно читал стихи Виктора Гюго «Châtiments», посвященные революции 48-го года, которые в свое время писались Гюго в изгнании и тайно ввозились во Францию. В этих стихах много какой-то наивной напыщенности, но чувствуется в них все же веяние революции» (Н. К. Крупская. Что нравилось Ильичу из художественной литературы. «Воспоминания родных о В. И. Ленине». М., 1955, стр. 193).

С польского («Когда моя радость начнет говорить...») (стр. 155). Впервые — ЛГ, № 43, от 31 октября, стр. 766, под цифрой II; вторично, с исправлениями — в ИЛ, 1846, № 35, от 21 сентября, стр. 561. Польский подлинник, как установил Б. Бухштаб (см. «Звезда», 1940, № 12, стр. 175), — стихотворение А. Мицкевича «Do D. D.», из петербургского издания его «Стихотворений» (1829). Написано в Одессе в 1825 г. Кто скрывается над инициалами D. D. — не установлено.

Из Байрона («Когда из глубины души моей больной...») (стр. 156). Впервые — там же, под цифрой III. Вторично, с исправлениями — в ИЛ, 1846, № 39, от 19 октября, стр. 626. Английский подлинник — «Impromptu, in reply to a friend» — послание Муру при письме от 27 сентября 1813 г. («Экспромт в ответ другу»).

Смерть сластолюбца (стр. 156). Впервые — ЛГ, 1843, № 46, от 23 ноября, стр. 814. Вторично, с исправлениями — в сб. «Молодик на 1844 год». СПб., стр. 36—40. От первоначальной редакции сохраняем только заглавие. Французский подлинник — в сб. «Les chants du crépuscule» под № XIII («Il n'avait pas vingt ans. Il avait abusé...»). Первый стих подлинника Дуров взял эпиграфом. Многоотчием (после стиха 117) Дуров, видимо, отметил цензурный пропуск; соответствующие ему пять стихов подлинника см. «Oeuvres complètes», Poésie, II, Paris, 1909, p. 233—237. Историк Рабб — редактор французского журнала «Tablettes universelles», страдал неизлечимой болезнью, обезобразившей его когда-то красивое лицо; внезапная смерть (1 января 1830 г.) вызвана была излишней дозой опиума в припарке, которую больной клал себе на лицо.

Из Хоцьки (стр. 160). Впервые — ЛГ, 1843, № 48, от 5 декабря, стр. 848 (с ошибочной подписью «А. Пальм», но под инициалами «С. Д.» в оглавлении). Вторично, с исправлениями и подписью «С. Дуров» — в «Библиотеке для чтения», 1844, № 9, стр. 5. Польский подлинник Александра Ходзьки (1804—1891) — в сб. «Poezyje Alexandra Chodzki», 1833 («Jesli wiosne chcesz zobaczyć»).

Дант (стр. 160). Впервые — сб. «Молодик на 1844 год». СПб.; стр. 30—31; дата ценз. разр.— 22 марта 1844 г.— и авторская дата «14 сентября» означают, что стихотворение было написано не позднее 14 сентября 1843 г. Французский подлинник стихотворения из сборника Огюста Барбье «Ямбы» (1831). Барбье Огюст (1805—1882) — французский поэт, оставивший значительный след в русской поэзии. Его сборники «Jambes» и «Prianto» («Жалоба») имелись уже среди книг Пушкина (см. Б. Л. Модзалевский. Библиотека Пушкина. «Пушкин и его современники». СПб., 1910, стр. 149). «Для создания новой поэзии,— писал в 1834 г. Баратынский,— именно недоставало новых сердечных убеждений, просвещенного фанатизма: это, как я вижу, явилось в Barbier» (Е. А. Баратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., 1951, стр. 520). Знал Барбье и увлекался им Лермонтов. В России Барбье сразу же подвергся цензурному запрещению; тем не менее широкие усвоение его поэзии передовыми слоями русского общества и даже оценка ее в русских журналах начинается уже с 40-х гг. Отзыв «Отечественных записок» (1843, № 12, стр. 21—22) показывает, чем мог пленять Барбье и петрашевцев, интересовавшихся общественными вопросами как раз с указанных в рецензии точек зрения. Первым из петрашевцев упоминает о Барбье Ф. М. Достоевский в письме к брату от 1 января 1840 г. (см. Письма, т. 1. М.—Л., 1928, стр. 55), сохранивший любовь к нему и в позднейшие годы. Об особом пристрастии к Барбье Дурова и его кружка рассказывает в своих воспоминаниях А. П. Милуков (см. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, стр. 184 и его же «Очерки истории русской поэзии» СПб., 1864, стр. 223—225). Перевод «Данта» является первым переводом из Барбье, появившимся в русской печати. В нем дана характерная для гражданской лирики Барбье и всей «школы 1830 года» переоценка образа Данте, в котором ясновидец, возлюбленный Беатриче, уступает место Данте — гражданину, изгнаннику, оплакивающему потерянную свободу.

Цветок (стр. 161). Впервые — сб. «Молодик на 1844 год», СПб., стр. 33.

Из Барбье («Как больно видеть мне повсюду свою горечь. . .») (стр. 162). Впервые — там же, стр. 34—35. Перевод стихотворения «Il est triste de voir partout l'oeuvre du mal» из сборника «Il prianto».

Из Виктора Гюго («Нежданно настает день, горький для поэта. . .») (стр. 163). Впервые — там же, стр. 35—36. Вторично — в изд. В. Гюго. Избранные стихотворения в переводе русских поэтов, под ред. П. Вейнберга. СПб., 1887, стр. 116—117, с восстановленным стихом 19, отсутствующим в сб. «Молодик». Французский подлинник — из сб. «Les feuille d'automne» под № XXXVI («Un jour vient où soudain l'artiste généreux. . .»). Отзыв о напечатанных в «Молодики» переводах Дурова см. в «Библиотеке для чтения», 1844, № 5, стр. 18—22.

Из В. Гюго («Судьбу великого героя иногда. . .») (стр. 164). Впервые — «Библиотека для чтения», 1844, № 8, стр. 147—148. Французский подлинник — из сб. «Les chants du crépuscule», под

№ XVI («Le grande homme vaincu peu perdre en un instant...»). *Но цел орел, вверху на древке знамя*. Подразумевается боевое знамя Наполеона как символ буржуазно-демократической революции в ее борьбе с пережитками западноевропейского феодализма. Ср. сходный образ Наполеона у Пушкина в одновременно написанном стихотворении «Герой» (1830).

Неэра (стр. 164). Впервые — там же, вслед за предыдущим. Французский подлинник — два разных отрывка под номерами XXXII и XXXIV, из цикла А. Шенье «Vicoliques», слитых в переводе Дурова вместе (см. Poésies d'André Chénier. Paris, 1881, pp. 98, 105—106).

Горе и радость (стр. 165). Впервые — там же, 1845, № 1, стр. 15—16 (ценз. разр. 1 января 1845). Французский подлинник — стихотворение Мильвуа «Plaisir et peine». *Мильвуа Шарль Губерт* (1782—1816) — один из представителей так называемой «легкой поэзии», школы Парни.

Присказки (стр. 166). Впервые — ИЛ, 1845, № 29, от 27 октября, стр. 463. Вторично, под измененным заглавием и с присоединением следующей пьесы — сб. «Новоселье», 1846, ч. 3, стр. 254.

Сонет («Нигде, ни в ком любви не обретая...») (стр. 166). Впервые — «Библиотека для чтения», 1845, № 3, стр. 157.

«Вечер был светел, как день; небо сияло лазурью, поля...» (стр. 167). Впервые — там же, вслед за предыдущим.

Мелодия («Да будет вечный мир с тобой!...») (стр. 167). Впервые — там же, вслед за предыдущим. Английский подлинник — «Stanzas for music» из отдела «Poems. 1814—1816». — Ср. Байрон, под ред. С. А. Венгерова, т. 1. СПб., 1904, стр. 414.

«Люблю тебя за то, что в вихре светских бурь...» (стр. 168). Впервые — сб. «Метеор на 1845 год». СПб., стр. 21.

«Мы встретились — и тотчас разошлись...» (стр. 169). Впервые — там же, стр. 119.

Из В. Гюго («Ты видишь эту ветвь; побитая грозой...») (стр. 169). Впервые — там же, стр. 164. Французский подлинник — из сб. «Les feuilles d'automne», под № XXVI («Vois, cette branche est rude, elle est noire, et la nue...»). Строгую рецензию Белинского на сб. «Метеор» (с упоминанием Дурова) см. Полное собр. соч. Белинского, т. 9. М., 1955, стр. 39—45. Несочувственно отнеслась к «Метеору» и ЛГ (1845, № 17, стр. 297—299), выписав, впрочем, в качестве «самых лучших» рядом со стихами А. Н. Майкова также и стихотворение Дурова «Ты видишь эту ветвь...».

Гомер-нищий (стр. 170). Впервые — «Библиотека для чтения», 1845, № 9, стр. 12—16. Перевод элегии Мильвуа «Homère

mendant». Многоточием после стиха 69 («К небу, которого он уже издавна, издавна не видит») отмечен пропуск двенадцати строк, содержащих проклятия богачу со стороны обездоленного, в которых цензура уловила, должно быть, ноты социального протеста. *Гермеская волна* — по имени Герма (или Гермоса), древнего названия реки Саробад, впадающей в Смирнскую (Гермейскую) бухту в Малой Азии, близ которой расположен был эолийский город Кумы. *Меония* — поэтическое название Лидии (в Малой Азии), откуда, по преданию, был родом Гомер. *Мелес* — легендарный город, от эпитета «Мелесиген» (сын Мелеса), присвоенного Гомеру древними поэтами. *Крите-неа* — легендарное имя матери Гомера.

А т л а с (стр. 173). Впервые — там же, стр. 117. Французский подлинник — из сб. «Les feuilles d'automne», под № X («Un jour au mont Atlas les collines jalouses...»).

М е т а ф о р а (стр. 173). Впервые — там же, вслед за предыдущим. Французский подлинник — из сб. «Les rayons et les ombres», под № X («Comme dans les étangs assourpis sous les bois...»).

«Когда трагический актер...» (стр. 174). Впервые — ИЛ, 1845, № 26, от 6 октября, стр. 414. Вторично, без изменений — в сб. «Новоселье». СПб., 1846, ч. 3, стр. 224. Автограф — из собрания И. Е. Бецкого в БЛ. В своей рецензии на этот сборник Некрасов писал: «В «Новоселье» также есть и стихи. Поэты-вкладчики следующие: г. Бенедиктов, Губер, Дуров, Слепушкин, Струговщикова... Одно стихотворение г. Дурова («Когда трагический актер...») было бы недурно, если б его не портил последний куплет, совершенно лишний, да еще и плохой» («Отечественные записки», 1846, № 5, стр. 10—11).

К р у ч и н ы (стр. 174). Впервые — ИЛ, 1845, № 27, от 13-октября, стр. 431.

Ш е к с п и р (стр. 175). Впервые — там же, вслед за предыдущим.

«Ложным приманкам не верь и вослед не ходи за толпою...» (стр. 175). Впервые — сб. «Новоселье». СПб., 1846, ч. 3, стр. 254.

К и а й я (стр. 176). Впервые — «Финский вестник», 1846, т. 10, стр. 5—12. Перевод диалогизированной поэмы Огюста Барбье «Chiaïa» из сб. «Il rianto». *Киайя* — морское побережье возле Неаполя. *Сальватор Роза* (1615—1673) — итальянский живописец, по преданию покинувший родной Неаполь, который находился тогда под властью испанцев. В 1647 г. он принимал участие в народном восстании, руководимом рыбаком Мазаниэлло; это предание легло в основу поэтического диалога между вольнолюбивым художником и рыбаком. Герою своего стихотворения, художнику XVII в., Барбье приписал мысли и настроения карбонариев, борющихся в 20—30-х гг. XIX в. против неаполитанских Бурбонов за национальное возрождение и объединение Италии. Отсюда в условиях николаевского режима стихи

Барбье, проникнутые мечтой о свободе, также приобретали актуальный политический смысл в глазах петрашевцев. «Нередко,— рассказывает А. П. Милуков,— С. Ф. Дуров читал свои стихотворения, и я помню, с каким удовольствием слушали мы его перевод известной пьесы Барбье «Княйя», в которой цензура уничтожила несколько стихов» (А. П. М и л ю к о в. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, стр. 184). Цензурные пропуски, действительно, везде отмечены у Дурова многоточием, что видно из сравнения перевода с подлинником; после стиха 146 («На ней одной великое родится») недостает трех строк подлинника, заканчивающих предыдущую тираду (о земле и народе) угрозой по адресу угнетателей. Другой пропуск — после стиха 170, где недостает двух стихов, придающих нетерпеливым ожиданиям Розы явно революционный характер: «Quant à moi, je suis las d'attendre l'ouragan, Chaque jour de compter sur un bond du volcan» (т. е. «Что до меня, я устал ждать урагана, Каждый день рассчитывать на извержение вулкана»). Тогда же в «Литературной газете» (1844, № 41), в анонимной статье «Сальватор Роза» было дважды упомянуто о картинах землетрясения — обычной теме «сильных и мрачных» ландшафтов Розы, что и ведет, вероятно, к пропущенной в переводе Дурова метафоре поэта-революционера (un bond du volcan).

О р у ж и е (Ребенку) (стр. 182). Впервые — ИЛ, 1846, № 45, от 30 ноября, анонимно. В сб. 1940 г. В. Л. Комарович включил это стихотворение в качестве приписываемого Дурову (в разделе «Приложения»). Как указано И. Г. Ямпольским, копия этого стихотворения находится в ИРЛИ в архиве В. Р. Зотова, причем автором этого стихотворения назван Дуров.

О с е а н о п о х (стр. 182). Впервые — ИЛ, 1846, № 21, от 8 июня, стр. 336—337. Французский подлинник — из сб. «Les rayons et les ombres», под № XLII («Oh! combien de marins, combien de capitaines...»). Заглавие «Осеано пох» заимствовано из 250-го стиха второй песни «Энеиды» Виргилия.

«Я как сокровище на памяти моей...» (стр. 184). Впервые — ИЛ, 1846, № 2, от 12 января, стр. 31.

Из В. Гюго («Когда порой дитя появится меж нами...») (стр. 185). Впервые — ИЛ, 1846, № 12, от 30 марта, стр. 190. Вторично (с восстановленным стихом 26, отсутствующим в ИЛ) — в изд. В. Гюго. Избранные стихотворения в переводе русских поэтов, под ред. П. Вейнберга. СПб., 1887, стр. 103—105. Французский подлинник — из сб. «Les feuilles d'automne», под № XIX («Lorsque l'enfant paraît...»). Предпоследняя строфа подлинника в переводе отсутствует.

«С тайной, тяжелой тоской я гляжу на тебя, мое сердце!...» (стр. 186). Впервые — «Финский вестник», 1846, т. 9, стр. 131—132.

«И плакать хочется, и хочется смеяться...» (стр. 187). Впервые — там же, вслед за предыдущим,

Роза и кипарис (стр. 187). Впервые — там же, вслед за предыдущим.

Морлах в Венеции (стр. 187). Впервые — ИЛ, 1846, № 16, от 4 мая, стр. 254. Перевод стихотворения Мицкевича «Mogłach w Wenecji (z serbskiego)». Мицкевич перевел эту пьесу (вопреки подзаголовку «z serbskiego») с французского из известного сборника П. Мери́ме «Гузла», откуда ту же пьесу под названием «Влах в Венеции» перевел в свою очередь Пушкин (см. «La Gusla ou choix de poésies illyriques», Paris, 1827, p. 49).

«Когда прощались мы с тобой...» (стр. 188). Впервые — ИЛ, 1846, № 17, от 11 мая, стр. 273. Перевод стихотворения Байрона, первая строка которого взята эпитафией.

Мелодия («О, плачьте над судьбой отверженных племен...») (стр. 190). Впервые — ИЛ, 1846, № 18, от 18 мая, стр. 289. Английский подлинник — из «Еврейских мелодий», под № V («Oh! weep for those...»).

Аюдаг (стр. 190). Впервые — ИЛ, 1846, № 21, от 8 июня, стр. 337. Вторично, с существенными изменениями — в сб. «Поэзия славян», под ред. Н. В. Гербеля. СПб., 1871, стр. 437. Польский подлинник — из «Крымских сонетов» Мицкевича, под № XVIII («Ajudach»).

Туча (стр. 191). Впервые — ИЛ, 1846, № 23, от 22 июня, стр. 368.

Анакреон (стр. 191). Впервые — там же, вслед за предыдущим.

Сонет («Я думаю: на что облокотиться?») (стр. 192). Впервые — ИЛ, 1846, № 25, от 6 июля, стр. 401.

Из В. Гюго («Я был на берегу во время ночи звездной...») (стр. 193). Впервые — ИЛ, 1846, № 26, от 20 июля, стр. 416. Французский подлинник — из сб. «Les Orientales» (1829) под заглавием «Extase», под № XXXVII.

Листок (стр. 193). Впервые — там же, вслед за предыдущим. Перевод известного стихотворения Арно «De la tige détachée», откуда взят и эпитаф (4-я строка 1-й строфы). Стихотворение написано Арно в 1815 г. в связи с изгнанием его Бурбонами из Франции. В статье «Французская академия» Пушкин писал: «Участь этого маленького стихотворения замечательна. Костюшко перед своей смертью повторил его на берегу Женевского озера; Александр Ипсиланти перевел его на греческий язык...» (Пушкин. Полное собр. соч. АН СССР, т. 12, 1949, стр. 46). Элегия Арно стала своего рода поэтической формулой для чувств политического изгнанника; не случайно и петрашевец Дуров создал одну из поэтических вариаций на эту тему. Упоминаемые Пушкиным в цитированной статье

1836 г. переводы Жуковского («Листочек», 1818) и Д. Давыдова («Листок», того же года) заканчиваются тем же стихом, которым заканчивается и перевод Дурова: «И легкий розовый листок». Образ гонимого бурей листка, популярный в русской поэзии, получил наиболее яркое воплощение у Лермонтова («Дубовый листок оторвался от ветки родимой...», 1841).

«Бывают дни недуга рокового...» (стр. 194). Впервые — ИЛ, 1846, № 30, от 17 августа, стр. 480.

Из В. Гюго («Есть существа, которые от детства...») (стр. 194). Впервые — там же, вслед за предыдущим. Французский подлинник — из сб. «Les chants du crépuscule», под № XXXV («Les autres en tout sens laissent aller leur vie...»).

«Я не приду на праздник шумный...» (стр. 196). Впервые — ИЛ, 1846, № 31, от 24 августа, стр. 497. Подражание той французской элегии, которую под заглавием «На зов друзей» перевел Плещеев (см. примечание к этому стихотворению, стр. 369).

В альбом графини С — кой (стр. 196). Впервые — там же, вслед за предыдущим. Адресат стихотворения не установлен.

«Есть бездна на земле, есть бездна роковая...» (стр. 196). Впервые — «Невский альманах на 1847 и 1848 годы», вып. 1. СПб., 1847, стр. 291—294 (ценз. разр. 5 сентября 1846 г.). Эпиграф представляет начало французского подлинника — «La cive» из «Ямбов» Барбье. Перевод не избежал цензурных пропусков и искажений: в строфе 4 искажены стихи 3—4, в строфе 6 — пропуск после стиха 6, в строфе 7 искажен стих 4, в строфе 8 пропущен стих 2 подлинника и искажены стихи 3 и 6, содержащие намеки на трехдневную революцию 1830 г. Большинство этих выброшенных цензурю мест могло появиться в русском переводе в печати только в 60-е гг.; но это был уже не перевод Дурова, а гораздо худший перевод Буренина. Впрочем, и тут 8 строфа подлинника не избежала купюры (см. О. Барбье. «Ямбы и поэмы», под ред. М. П. Алексева. Одесса, 1922, стр. 26—27).

Из А. Шенье («У каждого есть горе; но от братьев...») (стр. 199). Впервые — ИЛ, 1846, № 33, от 7 сентября, стр. 529. Французский подлинник — из отдела «Fragments d'élegies», под № IX («Tout homme a ses douleurs. Mais aux yeux de ses frères...»).

«Что в жизни, если мы не любим никого...» (стр. 200). Впервые — ИЛ, 1846, № 34, от 14 сентября, стр. 346.

Из В. Гюго («В июне сладостном, когда потухнет день...») (стр. 200). Впервые — там же, вслед за предыдущим. Перевод стихотворения «Nuits de juin» из сб. «Les rayons et les ombres», под № XLIII.

«В нас воля разума слаба...» (стр. 201). Впервые — ИЛ, 1846, № 35, от 21 сентября, стр. 561.

Сон (стр. 201). Впервые — ИЛ, 1846, № 37, от 5 октября, стр. 579. Английский подлинник — автобиографическая поэма Байрона «The Dream». Из девяти частей, на которые распадается поэма в подлиннике, девятая оставлена Дуровым без перевода. Эпиграф — первый стих другого произведения Байрона — «Darkness» («Тьма»).

Из Данте («На полпути моей земной дороги...») (стр. 207). Впервые — ИЛ, 1846, № 38, от 12 октября, стр. 609. Компилированный перевод разных отрывков из первой части «Божественной комедии» Данте («Ад»). Так, первые шесть трехстиший — сокращенный перевод песни первой, седьмое — девятое трехстишия — песни второй, десятое — двадцать шестое трехстишия — песни третьей, двадцать седьмое трехстишие — песни восьмой и, наконец, двадцать восьмое — двадцать девятое трехстишия — песни тринадцатой.

Отчаяние (стр. 210). Впервые — ИЛ, 1846, № 39, от 19 октября, стр. 626. Сокращенный перевод стихотворения Н. Жильбера «Les plaintes du malheureux». В ИЛ в подзаголовке допущена опечатка: «Из А. Жильбера» (она сохранилась в сб. 1940 г.). Жильбер Никола (1751—1780) — французский поэт-сатирик предреволюционной эпохи.

Из А. Шенье («И легче и вольней вздыхает как-то грудь...») (стр. 210). Впервые — там же, вслед за предыдущим. Французский подлинник из цикла «Fragments d'épigrammes», под № VII («Tout mortel se soulage à parler de ses maux...»).

«Сердце исчахло у нас от науки холодной. В ребенке...» (стр. 211). Впервые — ИЛ, 1846, № 41, от 2 ноября, стр. 656.

«Музыка — то же, что вздох, излетевший внезапно из сердца...» (стр. 211). Впервые — там же, вслед за предыдущим.

Кружка (стр. 211). Впервые — ИЛ, 1846, № 45, от 30 ноября, стр. 729. Вторично — в «Фаланге», 1881, № 27, стр. 2; первая строка 8 строфы дается с поправкой по «Фаланге» («вечную» вместо «верную»).

«Кого любить? Кому доверить...» (стр. 213). Впервые — ИЛ, 1846, № 47, от 14 декабря, стр. 753.

К * * * (стр. 213). Впервые — там же, вслед за предыдущим. В стихе 11 исправляется явная опечатка: «разить поэт» (надо: «разит порок»).

«Иные дни — мечты иные...» (стр. 214). Впервые — ИЛ, 1846, № 7, от 23 февраля, стр. 110.

Чердак (стр. 215). Впервые — ИЛ, 1846, № 20, от 1 июня, стр. 321. Перевод известного стихотворения Беранже «Le grenier», начало которого Дуров взял эпиграфом.

Портрет (стр. 217). Впервые — ИЛ, 1847, № 1, от 4 января, стр. 15.

«Жаркое чувство любви ненадолго в душе остается...» (стр. 217). Впервые — там же, вслед за предыдущим.

«Смотришь порой на нее, а мечтается — смотришь на небо...» (стр. 217). Впервые — там же, вслед за предыдущим.

Из Проперция (стр. 218). Впервые — ИЛ, 1847, № 11, от 22 марта, стр. 175—176. Латинский подлинник — элегия XXI из книги 3-й элегий Секста Проперция; первый ее стих взят эпиграфом к переводу. Интерес Дурова к античной литературе засвидетельствован также его статьей «Публиус Сирус», посвященной известному римскому поэту и драматургу-мимографу («Финский вестник», 1847, т. 23). А. Д. Щелков, которому посвящен перевод, — музыкант-любитель, друг Дурова, арестованный вместе с ним 23 апреля 1849 г.; в романе Пальма «Алексей Слободин» изображен под именем художника Купянцева.

В. В. Толбину (стр. 219). Впервые — «Финский вестник», 1847, т. 23, стр. 115. О В. В. Толбине см. на стр. 319—320 и стр. 380.

«С невыразимым наслаждением...» (стр. 220). Впервые — там же.

«Ваш жребий пал! Счастливая пора...» (стр. 220). Впервые — там же, вслед за предыдущим.

Сосед (стр. 221). Впервые — «Финский вестник», 1847, т. 24, стр. 81. Замененные многоточием последние два стиха — не поддающийся восстановлению цензурный пропуск.

«Озябло горячее сердце мое...» (стр. 221). Впервые — там же, вслед за предыдущим.

Странник (стр. 222). Впервые — там же, вслед за предыдущим.

«Когда, склонившись на плечо...» (стр. 222). Впервые — «Северное обозрение», 1848, т. 1, стр. 33—34.

«Куда ни посмотришь — повсюду...» (стр. 223). Впервые — «Пантеон и репертуар русской сцены», 1848, кн. 1, стр. 70.

«Как весело... идти вослед толпы...» (стр. 224).
Впервые — ЛГ, 1848, № 3, от 15 января, стр. 36—37.

С п о р (стр. 225). Впервые — там же, вслед за предыдущим.

«Зачем забвенья не дано...» (стр. 225). Впервые — там же, вслед за предыдущим.

В альбом (стр. 226). Впервые — там же, вслед за предыдущим, с примечанием редакции: «Читатели наших журналов, вероятно, уже знакомы с прекрасным поэтическим дарованием г-на Дурова. Стихотворения его, полные мысли и чувства, рассеяны во многих периодических изданиях. Еще в прошлом году, при разборе «Иллюстраций», мы отдали похвалу таланту г-на Дурова. С тех пор молодой поэт написал очень много хорошего. В особенности замечательны его стихотворения в последней книжке «Финского вестника» за прошлый год и две прозаические статьи: «Халатники» в «Невском альманахе» и «Публий Сирус» в «Финском» же «вестнике», доказывающие, что поэт так же хорошо владеет прозой, как стихом. *Ред.*». Разбор «Иллюстраций», на который здесь сделана ссылка, в «Литературной газете» за 1847 г. не обнаружен.

К р е б е н к у (стр. 226). Впервые — ЛГ, 1848, № 32, от 12 августа, стр. 503—504. Многоточие, очевидно, вместо запрещенных цензурой последних четырех стихов.

Из Г о р а ц и я (стр. 227). Впервые — «Пантеон и репертуар русской сцены», 1848, кн. 7, стр. 130. Латинский подлинник — «Ad Lidiam», откуда первый стих взят эпиграфом.

Из а п о с т о л а И о а н н а (стр. 228). Впервые — «Лютня. Собрание свободных русских песен и стихотворений». Лейпциг, 1874, стр. 97—99. Перепечатано в «Русской старине», 1881, № 3, стр. 703—704, в статье А. П. Милюкова «Федор Михайлович Достоевский (к его биографии). 28 января 1881 г.» Стихотворению предшествует рассказ Милюкова о его последней встрече с Дуровым в Петропавловской крепости 24 декабря 1849 г.: «Передавая мне небольшой листок почтовой бумаги, он сказал: «Это мои последние стихи... на днях написал в каземате... возьмите на память... может, когда-нибудь напечатаете...». Пальм сообщил, что стихотворение «Из апостола Иоанна» написано в 1849 г. в каземате обугленной спичкой на переплете книги. Религиозный характер стихотворения объясняется как личными особенностями самого Дурова, так и некоторыми чертами утопического социализма вообще. И Сен-Симон и Фурье свой социализм связывали с соответствующим истолкованием Евангелия. (См. Ш. Фурье. Избранные сочинения, т. 2. М., 1939, стр. 338—358).

М и н о т а в р (стр. 229). Впервые — С, 1862, № 3, стр. 213—216. Французский подлинник — «Le Minotaure» из сб. О. Барбье «Lazar».

Из В. Г ю г о («Ночь черным покровом лежала кругом...») (стр. 233). Впервые — там же, вслед за предыдущим. Стих 14 пе-

чается с исправлением по изд. В. Гюго. Избранные стихотворения в переводах русских поэтов, под ред. П. Вейнберга. СПб., 1887, стр. 92—93. Французский подлинник — «A quoi songeait les deux cavaliers dans la forêt...» из сб. «Les contemplations», t. 2.

Совест ь (стр. 234). Впервые — там же, вслед за предыдущим. Французский подлинник — «Conscience» из сб. О. Барбье «Lazarus».

Маргаритка (стр. 235). Впервые — там же, вслед за предыдущим. Французский подлинник — «Unité» из сб. В. Гюго «Les contemplations», t. 1.

Из В. Гюго («Земля кремнистая, холодная, скупая...») (стр. 235). Впервые — там же, вслед за предыдущим. Французский подлинник — из сб. «Les contemplations», t. 1, со знаком вопроса вместо заглавия («Un terre au flane maigre, âpre, avare, inclément...»).

Н. Д. П—ой (стр. 236). Впервые — С, 1863, № 3, стр. 297. Под инициалами Н. Д. П. скрывается Наталья Дмитриевна Пушкина, по первому браку жена декабриста М. А. Фонвизина, последовавшая за ним в Сибирь. Племянник первого ее мужа, студент Фонвизин, привлекался в 1849 г. к допросу по делу петрашевцев. Стихи 7—8 («Как десяти столетий было мало, чтоб в нем убить его гражданский дух») намекают на популярную среди декабристов и, видимо, близкую также Дурову концепцию русской истории, согласно которой призвание варяжских князей в 862 г. признавалось за начало самодержавия, а легендарный Вадим, поднявший год спустя в Новгороде бунт против Рюрика, — первым борцом за «вольность». Петрашвец Ханыков в своей речи на обеде в честь Фурье (7 апреля 1849 г.) восклицал: «Где ты, народная вольница, великий государь — Новгород?» (Петрашевы, 2, стр. 153).

Из Барбье («О горькая бедность!...») (стр. 236). Впервые — С, 1863, № 6, стр. 368—370. Французский подлинник — «Épilogue» из сб. «Lazarus». После стиха 20 пропущено в переводе четыре стиха.

«Кто стал, помимо вечных лжей...») (стр. 238). Впервые — С, 1863, № 3, стр. 312. Французский подлинник — стихотворение В. Гюго «Pour l'erreur, éclairer c'est apostasier...» из сб. «Les contemplations», t. 2.

«Что миг — то новые удары...») (стр. 239). Впервые — «Изыщная литература», 1885, № 2, стр. 209—210. Слова: «Там мятежи, а здесь пожары» намекают на польское восстание, начавшееся в январе 1863 г., и на свирепствовавшие в Петербурге летом 1862 г. пожары. Это позволяет отнести стихотворение к началу 1863 г.

Смех (стр. 240). Впервые — «Эпоха», 1864, кн. 1—2, стр. 518—520. Французский подлинник — «Le rire» из сб. О. Барбье «Jambes». В переводе есть отступления от подлинника, подсказанные, видимо, требованиями цензуры.

«Европа движется... Над ней...» (стр. 242). Впервые — «Отечественные записки», 1869, № 3, стр. 236. Эпиграф — евангельский текст (Матф., гл. 5).

Из В. Гюго («Услышав плач, я отпер дверь в лачугу...») (стр. 242). Впервые — «Изысканная литература», 1885, № 2, стр. 208—209. Французский подлинник — «Chose vue un jour de printemps» из сб. «Les contemplations», t. 1. Датировать стихотворение не удалось.

Воспоминание ночи 4 декабря (стр. 244). Впервые — в сб. В. Гюго. Избранные стихотворения в переводах русских поэтов, под ред. П. Вейнберга. СПб., 1887, стр. 81—83. Французский подлинник — из сб. «Châtiments», livre 2: «Souvenir de la nuit du 4». После реакционного переворота Луи-Наполеона В. Гюго вынужден был эмигрировать в Бельгию, где в 1852 г. издал знаменитый памфлет «Napoléon le Petit», в оценке событий сойдясь с Карлом Марксом. В ноябре 1853 г. появилась новая книга Гюго, направленная против Наполеона; Гюго писал о ней будущему ее издателю, что это будет тот же «Napoléon le Petit», только в стихах. Это и есть «Châtiments». Дуровым переведена одна из самых выразительных песен этого сборника. Заключительное многоточие указывает на цензурный пропуск двенадцати последних стихов подлинника. Датировать этот перевод не удалось.

«Оттого ли, что когда-то...» (стр. 245). Впервые — «Дело», 1887, № 4, стр. 190. Редакция журнала сопроводила эту публикацию следующим примечанием: «Это посмертное стихотворение С. Ф. Дурова найдено в бумагах покойного и доставлено нашим сотрудником В. С. Лихачовым. *Ред.*» (там же, стр. 190). Время написания стихотворения неизвестно.

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ

Стихотворения Плещеева издавались при его жизни четыре раза: в 1846, 1858, 1861 и 1887 гг. Как дефинитивный авторский текст, последнее издание послужило основой при установлении текста большинства стихотворений, вошедших в посмертные издания стихотворений Плещеева 1898 и 1905 гг. (под ред. П. В. Быкова), а также в состав сборника «Поэты-петрашевцы» (1940) и издание 1948 г. в Большой серии «Библиотеки поэта».

Как известно, в издание 1887 г. стихотворения Плещеева попали из журналов и более ранних сборников после неоднократных исправлений. Подавляющее большинство этих исправлений принято в настоящем сборнике, но в отдельных случаях, где исправления в изд. 1887 г. явно объясняются применением к цензуре или к рубрике определенного «отдела», предпочтение отдавалось редакции первоначальной, что всюду оговорено в примечаниях. Стихотворения, не вошедшие в изд. 1887 г., воспроизведены здесь по предыдущим изданиям тоже в последней авторской редакции. Если текст стихотворения во всех прижизненных его публикациях не менялся Плещеевым, то в примечаниях указывается только первая публикация этого сти-

хотворения. В примечаниях оговорены все произведения, не вошедшие в состав прижизненных поэтических сборников Плещеева. В тех немногих случаях, когда сохранились автографы, текст был выверен по автографу.

В состав настоящего издания включены главным образом оригинальные стихотворения Плещеева из двух первых сборников, т. е. произведения Плещеева-петрашевца в собственном смысле слова. К ним примыкают и некоторые ранние стихотворения, не вошедшие в состав этих сборников. Из поздних произведений отобраны прежде всего те, в которых отчетливо выражена идейная связь с ранним творчеством, а также стихи, тематически обращенные к прошлому — к 1840-м гг. Переводы включаются лишь в тех случаях, когда имя переводимого поэта или тематика произведения оказывались типичными для поэта-петрашевца. В отличие от сб. 1940 г. в настоящем издании раздел, посвященный Плещееву, пополнен стихотворениями «Я тихо шел по улице безлюдной...» и «По чувствам братья мы с тобой...», прежде ошибочно приписывавшемся Рылееву.

Песня странника (стр. 256). Впервые — С, 1844, т. 33, № 3, стр. 352. С исправлениями — в изд. 1846 г., стр. 78, с новыми исправлениями — в сб. 1861 г., стр. 128 и в изд. 1887 г., стр. 397. Заглавие удерживается от первой публикации. Немецкий подлинник — стихотворение Рюккерта «Abendlied des Wanderers». Рюккерт Фридрих (1788—1866) — немецкий поэт-романтик. Лирический образ «странника» в поэзии петрашевцев приобрел черты протестанта, пропагандиста. Ср. стихотворения Баласогло «Раздел», Дурова «Странник» (1847), Плещеева «Странник» (1845) и «Странник» (1858).

Дума (стр. 257). Впервые — С, 1844, т. 34, № 5, стр. 229—230. С исправлениями — «Репертуар и пантеон», 1845, № 5, стр. 413, и в изд. 1846 г., стр. 30—31, откуда текст и воспроизводится с сохранением эпиграфов, имеющих в первой публикации, так как, по всей вероятности, второй из них (из Беранже) был снят цензурой. В первопечатном тексте отсутствуют стихи 13 и 14, есть деление на две строфы. Пьеса Беранже «Безумцы», первые четыре стиха которой взяты эпиграфом к стихотворению «Дума», была в русском переводе прочитана Н. С. Кашкиным 7 апреля 1849 г. на обеде в честь Фурье (см. вступительную статью, стр. 27). Причина популярности среди петрашевцев именно этого стихотворения Беранже ясна: в нем есть строки, посвященные Сен-Симону, Фурье и Анфантену. Цитатой (по-французски) из этого же стихотворения скреплено рассуждение в письме Д. Д. Ахшарумова к И. М. Дебу «о людях с горячею любовью к целому человечеству, которые посвятили всю жизнь свою на то, чтобы найти такое устройство общества, где бы все были богаты, счастливы и довольны», с упоминанием затем Фурье («Голос минувшего», 1916, № 2, стр. 59). Эпиграф из стихотворения Беранже придавал особый смысл словам плещеевской «Думы»:

Когда ж среди толпы является порою
Пророк с могучею, великою душою...

Под этим «пророком», очевидно, подразумевался один из «безумцев», воспетых Беранже.

На зов друзей (стр. 258). Впервые — «Репертуар и пантеон», 1845, № 3, стр. 850—851, с подзаголовком «Из А. Барбье». С исправлениями и цензурным пропуском стихов 21—24 в изд. 1846 г., стр. 5—6 и в изд. 1887 г., стр. 14—15. Воспроизводится последняя авторская редакция, с восстановлением пропущенных и искаженных цензурой стихов 21—24 по журнальной публикации 1845 г. Французский подлинник среди стихов Барбье не обнаружен. По содержанию это стихотворение мало похоже на перевод; некоторые его строфы (особенно 4-я и 5-я) бесспорно имеют в виду русскую действительность. Фиктивный характер подзаголовка подтверждается и тем, что в изд. 1887 г. Плещеев сам поместил «На зов друзей» в разделе оригинальных стихотворений.

Молитва (стр. 259). Впервые — С., 1845, т. 38, № 4, стр. 115—116. С исправлениями — в изд. 1846 г., стр. 10—11 и 1861 г., стр. 162—163. Немецкий подлинник — «Sieh mich, Heiliger, wie ich bin...» из «Эрвина и Эльмиры» Гете. Тема стихотворения — раскаяние женщины, своей холодностью загубившей влюбленного в нее юношу, — соответствовала мотивам жорж-зандизма в русской литературе 40-х гг. Это стихотворение, одновременно с Плещеевым, перевел Ап. Григорьев. В рецензии на сборник Плещеева 1861 г. М. Л. Михайлов охарактеризовал «Молитву» как «прекрасный перевод одного очень хорошего и малоизвестного стихотворения Гете» («Современник», 1861, № 3, стр. 97).

Сосед (стр. 260). Впервые — «Репертуар и пантеон», 1845, № 9, стр. 553. В прижизненные сборники не включалось.

Странник («Всё тихо... Тополы над спящими водами...») (стр. 261). Впервые — ИЛ, 1845, № 20, от 25 августа, стр. 318—319. С исправлениями — изд. 1846 г., стр. 23—25 и в изд. 1887 г., стр. 8—10. Эпиграф в ИЛ насчитывал не два стиха, а пять:

Oh, quand viendra-t-il donc ce jour que je rêvais,
Tardif réparateur de tant de jours mauvais;
Ce niveau, qui selon les écrivains prophètes,
Léger et caressant, passera sur nos têtes.
Jamais, dit la raison.¹

Н. Moreau

Моро Эжезипп (1818—1838) — французский элегический поэт, автор сборника стихов «Le Myosotis». Эпиграф взят из стихотворения «L'hiver».

Любовь певца (стр. 262). Впервые — С., 1845, т. 39, № 8, стр. 213—214, с подписью «N. N.». В прижизненные сборники не включалось. Стихи 9—12 и 17 целиком вошли в стихотворение «Вперед! без страха и сомненья...».

¹ Ах, когда же он придет, тот день, о котором я грезил, за-
поздалое возмещение стольких тяжелых дней; тот уравниль, кото-
рый, согласно пророкам-писателям, легкий и ласковый, пройдет над
нашею головой? Никогда, говорит рассудок. (Франц.).— *Ред.*

Гидальго (стр. 263). Впервые — «Репертуар и пантеон», 1846, № 6, стр. 616. Самим Плещеевым больше не переиздавалось.

«Когда я в зале многолюдном...» (стр. 264). Впервые — изд. 1846 г., стр. 20—21. С исправлениями — в «Библиотеке для чтения», 1846, № 9, стр. 6—7.

Сон (стр. 265). Впервые — изд. 1846 г., стр. 1—4, с подзаголовком «Отрывок». С исправлениями — в изд. 1861 г., стр. 157—159 и в изд. 1887 г., стр. 4—6. Эпиграф взят из книги аббата Ф. Ламенне «Paroles d'un croyant» (1834), одну главу из которой в церковнославянском переводе читал на собраниях у Дурова А. П. Милюков (А. П. М и л ю к о в. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, стр. 184—185). Ламенне Фелиситэ Робер (1782—1854) — французский публицист, богослов, один из идеологов утопического социализма. Пришедший к нему после того, как названная выше книга подверглась осуждению папы.

Поэту (стр. 267). Впервые — изд. 1846 г., стр. 14—15 (с цензурным пропуском стихов 11—12, 31—32, 41—42). С исправлениями — в изд. 1861 г., стр. 164—165 и в изд. 1887 г., стр. 7—8. В последнем восстановлены стихи 11—12 и 31—32. Французский эпиграф — два заключительных стиха из стихотворения «Toutes les Muses glorieuses», которым открываются «Ямбы и поэмы» Барбье в изд. 1842 г. «Лучшим доказательством того, что г. Плещеев понял свое назначение как поэта лучше многих из его собратьев по ремеслу, — писал рецензент «Литературной газеты» (1847, № 7) Д. Протопопов, — может служить его стихотворение «К поэту», в котором он развивает... многозначительную мысль Барбье; сфера сочувствий г. Плещеева как поэта довольно обширна, ...он умел... возвысить свои идеи до того, что ему стало возможно сочувствовать интересам общечеловеческим и следить за развитием идей в целом человечестве. В этом и состоит его отличие от других поэтов». В. Майков в своей рецензии также выделил стихотворение «Поэту» (В. М а й к о в. Критические опыты. СПб., 1891, стр. 130).

«Вперед! без страха и сомненья...» (стр. 269). Впервые — изд. 1846 г., стр. 18—19. А. П. Милюков, рассказывая в своих воспоминаниях о впечатлении, которое произвела книжка стихов Плещеева, писал: «Особенно обратили наше внимание небольшие пьесы: «Поэту» и «Вперед». И могли ли, по тогдашнему настроению молодежи, не увлечь такие строфы, как, например: «Вперед! без страха и сомненья...» и т. д.» (Петрашевцы, 1, стр. 27—28). О том, что в этом стихотворении была найдена поэтическая формула, выражавшая мысли, которые волновали умы петрашевцев, свидетельствуют также воспоминания Кашкина о его первой встрече с Плещеевым: «Семеновский плац обступили тысячи народа. Нас поставили кругом на помосте и надели на нас саваны... Направо от меня стоял неизвестный мне человек. Аудитор назвал его Плещеевым. Я в первый раз увидел поэта Плещеева. Помню, мне аудитор прочел: «За участие и т. д. ... подвергнуть смертной казни расстрелянием». Когда он отошел от меня

к Головинскому, Плещеев обернулся ко мне и спросил: «Так это вы — Кашкин? Как вы сюда попали?» Перед тем как нас арестовали, вышла в свет маленькая книжечка стихов Плещеева, и мы с удовольствием заучивали его прекрасное стихотворение, начинающееся словами: «Вперед! без страха и сомненья». В тоне этого стихотворения я и ответил автору его: «Мы шли под знаменем науки. Так подадим друг другу руки» (Петрашевы, 2, стр. 195). Рецензируя в «Современнике» второй сборник Плещеева (1858), Добролюбов отметил это стихотворение как «смелый призыв, полный такой веры в себя, веры в людей, веры в лучшую будущность...» (Н. А. Добролюбов. Полное собр. соч., т. 1. М., 1934, стр. 456). М. Л. Михайлов в своей рецензии на третий сборник Плещеева также припомнил поэтическое обращение поэта к современникам, подыскав для него меткое название: «С особенным удовольствием перечитали мы прекрасный гимн, известный нам наизусть,—гимн, который всегда останется прекрасной памятью скромной, но благородной литературной деятельности г. Плещеева» («Современник», 1861, № 3, стр. 91). Есть указания, что это стихотворение не избегло искажений цензуры (Сб. «На славном посту». СПб., 1900, стр. 116—117). В экземпляре «Стихотворений А. Н. Плещеева» 1861 г., принадлежащем П. А. Ефремову (находится в библиотеке ИРЛИ), очевидно в согласии с устной традицией, исхившей от самого поэта, последний стих в пятой строфе исправлен карандашом: «Против безумным палачам» (вместо «озлобленным врагам»). Исправление впервые внесено в текст в сб. 1940 г.

Ответ (стр. 270). Впервые — изд. 1846 г., стр. 26—27. Третью строфу этого стихотворения цитирует А. И. Пальм в романе «Алексей Слободин», в главе, описывающей одну из «пятниц» Петрашевского.

«Страдал он в жизни много, много...» (стр. 271). Впервые — изд. 1846 г., стр. 36—37 (с цензурными пропусками в стихах 3-м и 27-м). Полностью и с одной незначительной поправкой — в изд. 1887 г., стр. 12—13.

Подражание Байрону (стр. 272). Впервые — изд. 1846 г., стр. 80. Английский источник — «To D.» («In thee I fondly hoped to clas») из сб. «Часы досуга».

«К чему мечтать о том, что после будет с нами...» (стр. 272). Впервые — изд. 1846 г., стр. 81—82 (с цензурным пропуском трех последних стихов). В экземпляре «Стихотворений А. Плещеева» 1846 г., принадлежащем ИРЛИ, цензурный пропуск в конце восстановлен неизвестным почерком, откуда и заимствуются два последних стиха.

«Возьми барабан и не бойся...» (стр. 274). Впервые — изд. 1846 г., стр. 52. Перепечатано в альм. «Красное яичко». СПб., 1848, стр. 297 (под заглавием «Барабанщик. Из Гейне», с цензурным пропуском второй строфы). С восстановленным пропуском и с исправлениями — в изд. 1887 г., стр. 262. Немецкий подлинник — «Doctrip» из отдела «Zeitgedichte».

«По чувствам братья мы с тобой...» (стр. 274). Впервые с именем К. Ф. Рылеева опубликовано М. Л. Гофманом в его книге «Поэзия К. Ф. Рылеева». Чернигов, 1917, стр. 7. В настоящем издании это стихотворение впервые находит свое место среди произведений Плещеева. До недавнего времени оно ошибочно приписывалось Рылееву и включалось во все издания его сочинений в качестве «Послания к А. А. Бестужеву». Однако еще в 80-х гг. история этого стихотворения была рассказана самим Плещеевым в его письмах к нижегородскому деятелю А. С. Гацисскому. Последний обратился к поэту с вопросом, не ему ли принадлежит это революционное стихотворение, ходившее по рукам в списках; молва приписывала его авторство Добролюбову. В письмах к Гацисскому от 8 ноября и 7 декабря 1889 г. Плещеев сообщил, что в 1846 г., когда вышел первый сборник его стихотворений, он подарил один экземпляр известному экономисту В. А. Милютину, также посещавшему «пятницы» Петрашевского, причем вписал в него от руки эти «очень нецензурные», по его выражению, строки. «Когда я жил потом в Москве, в 60-х годах,— писал Плещеев,—кто-то из молодежи, которому я в разговоре прочел эти стихи, просил меня продиктовать ему их, и записал. Но так как они очень нецензурны и если б их у кого-нибудь нашли, стали бы добиваться, чьи они и проч., то записывающий их поставил под ними имя Добролюбова, тогда уже умершего. И впоследствии мне несколько раз случалось слышать, как их при мне цитировали за добролюбовские» («Русская мысль», 1912, № 4, стр. 125). Однако имеются данные, свидетельствующие, что стихотворение «По чувствам братья мы с тобой...» распространялось и раньше, в 50-х гг., и уже тогда связывалось с именем Плещеева. Е. Г. Бушканец установил, что в «Студенческих воспоминаниях» Н. Соколовского, опубликованных в «Русском слове» (1863, № 5, стр. 41—42), говорится о популярности этого стихотворения среди казанского студенчества в 50-е гг.

Позднее это стихотворение, хотя и в искаженном виде, но с именем Плещеева, было включено в сборник А. П. Аристова «Песни казанских студентов». СПб., 1904. Аргументация, устанавливающая подлинного автора стихотворения «По чувствам братья мы с тобой...», принадлежит Е. Г. Бушканцу (см. его сообщение «Мнимое стихотворение Рылеева» в «Литературном наследстве», № 59, кн. 1. М., 1954, стр. 285—288).

Стихотворение «По чувствам братья мы с тобой» обогащает наше представление о гражданской лирике Плещеева 40-х гг. Оно должно быть поставлено рядом с известным гимном «Вперед! без страха и сомненья...»; близкое к нему по своей поэтической фразеологии, оно в то же время более радикально и более определенно по своему политическому содержанию. Не случаен, конечно, тот факт, что именно это стихотворение было принято за рылеевское: оно явно находится в русле декабристской традиции. Также не случайно оно пользовалось успехом в семье Ульяновых, где его, кстати сказать, считали одной из песен Рылеева. А. И. Ульянова-Елизарова рассказывает в своих воспоминаниях: когда Илья Николаевич Ульянов во время прогулок с детьми запевал песню «По духу братья мы с тобой», то чувствовалось, что «эту песню отец поет не так, как другие, что в нее он вкладывает всю душу, что для него она что-то вроде «святая свя-

тых». . . (А. И. Ульянова-Елизарова. Воспоминания об А. И. Ульянове. Сб. «А. И. Ульянов и дело 1-го марта 1887 г.». М.—Л., 1927, стр. 54).

Трудно сказать, к кому именно обращено стихотворное послание Плещеева. Вряд ли можно связывать его непосредственно с именем В. А. Милютина, тем более что в упомянутых письмах к А. С. Гацисскому Плещеев сам выражает сомнение в том, что Милютин, получивший в свое время в подарок книжку с автографом стихотворения, сумел бы оценить содержащиеся в нем призывы и оказаться в рядах «святого воинства свободы». С большей долей уверенности можно предположить, что в своем поэтическом обращении Плещеев имел в виду кого-то из самых близких друзей по кружку петрашевцев, например В. Н. Майкова или С. Ф. Дурова.

Пятую строку текста мы восстанавливаем в соответствии с указанием Плещеева, который в письме к Гацисскому привел именно этот первоначальный вариант («Когда пробьет желанный час»), отметив, что слова «когда ж настанет страшный час» появились в тексте позднее, в процессе устного распространения. В собраниях стихотворений Рылеева эта строка обычно печаталась так: «Когда ж ударит грозный час».

Новый год (стр. 275). Впервые — изд. 1861 г., стр. 20—21. Автограф — в ГПБ, на листе писчей бумаги, карандашом, с датой «1848» и с подписью «А. Плещеев»; внизу — приписка чернилами неизвестным почерком, по-французски, сообщающая краткие биографические сведения о Плещееве и заканчивающаяся следующим указанием на происхождение автографа: «Autographe de la poésie la Nouvelle Année (trad. de l'italien) restée inédite, étant défendue en 1848 par la censure (Donnée par M. Milukoff)», т. е.: «Автограф стихотворения Новый год (перев. с итальянского), оставшегося непечатанным, запрещенного в 1848 г. цензурой. (Поступило от г. Милюкова)». Подзаголовок «с итальянского» — фиктивный, рассчитанный на известную снисходительность к переводам со стороны цензуры. Это подтверждается вариантами заголовков, имеющихся в автографе:

Новый год
(с итальянского)
[Кантата на Новый Год]
[Новый год]
[(с итальянского)]
[(пуританская песнь)]

Подзаголовки «пуританская песнь» и «с итальянского», если они не фиктивные, к одной и той же вещи, конечно, относиться не могут. Однако в 1848 г. стихотворение в печати не появилось; опубликованное в изд. 1861 г. без указания даты его написания, оно не могло быть расшифровано по смыслу. Лишь в сб. 1940 г. В. Л. Комарович, установивший по автографу подлинную дату стихотворения (1848), указал, что оно имеет в виду события западноевропейской революции 1848 г. и обращено к ее участникам (см. сб. 1940 г., стр. 291—292).

При посылке Рафаэлевой мадонны (стр. 276). Впервые — с ошибками — в анонимной статье: «Неизданные стихи и

письма А. Н. Плещеева», «Минувшие годы», 1908, № 7, стр. 300—301. Автограф с датой «1853 г., февр. 17» и с подписью «А. Плещеев» — при письме Плещеева к Л. З. Дандевиль от 17 февраля 1853 г. (в ИРЛИ). Печ. по автографу. Эпиграф — из стихотворения Лермонтова «Молитва» («Я, мать божия, ныне с молитвою...»). Дандевиль Любовь Захаровна, урожденная Балк, жена подполковника В. Д. Дандевиль, служившего в начале 50-х гг. в Оренбурге при штабе оренбургского корпуса, покровительствовала Плещееву в первые годы его ссылки. Стихотворение написано, судя по дате, во время сборов в поход на Ак-Мечеть. В письме, к которому приложен автограф, Плещеев писал: «Вы позволили мне прислать Вам Рафаэлеву мадонну; я спешу воспользоваться Вашим позволением. Примите ее от меня на память... Пускай эта гравюра с Рафаэля напомнит Вам иногда обо мне. Я даже по этому поводу написал стихи (хоть давно отвык писать их), которые тоже позвольте приложить здесь. Стихи плохи, но чувство искренно».

Перед отъездом (стр. 276). Впервые — там же, стр. 302. Автограф с подписью «А. Плещеев» — при письме к Л. З. Дандевиль (в ИРЛИ). Печ. по автографу. Отъезд, о котором идет речь, — отъезд Плещеева из Оренбурга весной 1853 г.

После чтения газет (стр. 277). Впервые — РВ., 1856, т. 5, № 20, стр. 720. *Кровавыя страницы* — газетная информация об осаде Севастополя, на что прямо указывает дата стихотворения.

«Еще один великий голос смолк...» (стр. 278). Впервые — изд. 1858 г., стр. 72. Трудно сказать, о ком идет речь в этом стихотворении. В. Л. Комарович высказал предположение, что оно посвящено памяти Ламенне, умершего в 1854 г. Во всяком случае, такие слова, как «правдивый голос обличенья», «пророка глас», «поборник Христа» и т. д., вполне подходят для характеристики Ламенне, имя которого было очень популярно среди петрашевцев.

С у (стр. 279). Впервые — РВ, 1856, т. 6, № 24, стр. 650—651. В. Л. Комаровичем было высказано предположение, что это стихотворение посвящено С. Н. Федорову, оренбургскому знакомому Плещеева, и связано с его первым выступлением в «Современнике» в качестве беллетриста (сб. 1940 г., стр. 292). А. В. Федоров предположил, что стихотворение «С у» обращено к одному из видных петрашевцев — Н. А. Спешневу и имеет в виду его освобождение от сибирской каторги (изд. 1948 г., стр. 306—307). Но в этом случае авторскую дату «1855» пришлось бы считать фиктивной, так как Спешнев был освобожден в 1856 г. Наиболее убедительным нам представляется предположение С. А. Макашина (в неопубликованной работе), согласно которому это стихотворение посвящено бывшему петрашевцу М. Е. Салтыкову-Щедрину, который в ноябре 1855 г. получил разрешение вернуться из ссылки. Возможность возвращения к общественно-литературной деятельности такого выдающегося человека, каким был Салтыков, вполне оправдывает и общий приподнятый тон стихотворения и то поэтическое напутствие, с каким обращается к своему бывшему товарищу по кружку Плещеев: «Подъяв

чело, иди бестрепетной стопою». Предположение С. А. Макашина подтверждается и тем, что количество точек в заглавии стихотворения соответствует пропущенным буквам в фамилии Салтыкова.

Вопрос (стр. 279). Впервые — РВ, 1856, т. 6, № 24, стр. 647—648. Автограф с датой «10 декабря 1873. Петерб.» — в альбоме Г. П. Данилевского в ГПБ. В изд. 1887 г., стр. 498 вошло с исправлениями, с отнесением в отдел переводов «С французского» и с подзаголовком: «Неизвестного автора». Подлинник установить не удалось.

«Не говорите, что напрасно...» (стр. 280). Впервые — там же, стр. 651, под заглавием «В альбом». С исправлениями, с пропуском предпоследнего четырехстишия и без заглавия — в изд. 1858 г., стр. 57—58, и в изд. 1887 г., стр. 57—58. Отброшенное четырехстишие:

И перед вашими очами
Иной, прекрасный ляжет путь;
И счастье теплыми лучами
Не раз согреет вашу грудь.

В степи (стр. 280). Впервые — там же, стр. 647—648. С исправлениями — в изд. 1858, стр. 14—15, изд. 1861 г., стр. 84—85, и в изд. 1887 г., стр. 25—26.

Раздумье (стр. 281). Впервые — там же, стр. 648. Почти без изменений перешло в изд. 1858 г., стр. 1—2, изд. 1861 г., стр. 84—85 и в изд. 1887 г., стр. 25—26. Рецензируя изд. 1858 г., Добролюбов особо отметил это стихотворение, находя в нем «выражение того настроения, которое господствует во всей книжке» (Полное собр. соч., т. 1. М., 1934, стр. 457).

«О, если б знали вы, друзья моей весны...» (стр. 282). Впервые — РВ, 1857, т. 9, № 9, стр. 140. С исправлениями — в изд. 1858 г., стр. 45—46, изд. 1861 г., стр. 124 и в изд. 1887 г., стр. 50. В первоначальной публикации 1857 г. четвертая строфа дана в такой редакции:

Нет! с пошлостью людской, со злом постыдным мир
Я заключал не раз, страданья избегая,
И в жизни видел я лишь праздный, шумный пир,
Труда спасительным путем пренебрегая.

Листок из дневника (стр. 283). Впервые — изд. 1858 г., стр. 50—55. Почти без изменений — в изд. 1887 г., стр. 52—56. Стихотворение относится к Л. З. Дандевиль, с которой Плещеев расстался навсегда в Оренбурге весной 1853 г., отправляясь в поход на Ак-Мечеть; уехав с мужем в Петербург осенью 1853 г., она скончалась в 1855 г. Французские стихи, взятые здесь эпиграфом, — цитата (не вполне точная) из стихотворения Франсуа Малерба (1555—1628) «Consolation à Du Périgier». Девятью годами раньше Плещеев

процитировал этот же отрывок из Малерба в своем некрологе В. Майкову («Русский инвалид», 1847, № 181, стр. 722). В строке, выделенной в тексте курсивом («С кудрявым мальчиком, с нарядным мотыльком...») — намек на соответствующие строки из стихотворения Лермонтова «К портрету».

Птичка (стр. 286). Впервые — РВ, 1857, т. 7, № 2, стр. 39, под заглавием «Подражание польскому». С исправлениями и без посвящения М. А. Михайлову — в изд. 1858 г., стр. 30, и в изд. 1887 г., стр. 502. Сырокомля Владислав (Людвиг Кондратович, 1823—1862) — выдающийся польский поэт, «народный гуслир перекожий», как он сам назвал себя; в 60-х гг. его охотно переводили, кроме Плещеева, также Л. А. Мей, Д. Д. Минаев, Л. Н. Трефолов (см.: «Избранные сочинения В. Сырокомли в переводе русских поэтов». СПб., 1879). С М. А. Михайловым Плещеев сблизился в 1857 г. в Оренбурге.

«Есть дни: ни злоба, ни любовь...» (стр. 287). Впервые — РВ, т. 9, № 9, стр. 142. С исправлением одного стиха — в изд. 1887 г., стр. 56—57.

С. Ф. Дурову (стр. 287). Впервые — изд. 1858 г., стр. 66—67, под заглавием «С. Ф. Д. . . ву».

«Тобой лишь ясны дни мои...» (стр. 288). Впервые — РВ, 1858, т. 13, № 2, стр. 396. С незначительными изменениями в изд. 1858 г., стр. 81—82 и 1861 г., стр. 154. В изд. 1887 г., стр. 67—68 отброшено предпоследнее четырехстишие:

Молю, чтоб в сердце не погас
Огонь вражды к неправде черной;
Чтобы к борьбе со злом упорной
Готов был друг твой каждый час.

Стихотворение обращено к жене Плещеева — Е. А. Рудневой.

Молитва («О боже мой, восстанови...») (стр. 289). Впервые — РВ, 1857, т. 10, № 15, стр. 582. С исправлениями в изд. 1858 г., стр. 86 и в изд. 1887 г., стр. 27.

«О нет, не всякому дано...» (стр. 290). Впервые — РВ, 1858, т. 13, № 2, стр. 395. С исправлениями — в изд. 1887 г., стр. 28, где отброшен стих 4-й в третьей строфе: «Идя на подвиг честно, смело». Стихотворение это — одна из первых попыток Плещеева определить свое отношение к обличительной литературе конца 1850-х и начала 1860-х гг.

«Он шел безропотно тернистою дорогой...» (стр. 290). Впервые — РВ, 1858, т. 14, № 7, стр. 440. С исправлениями — в изд. 1858 г., стр. 17—18 и в изд. 1887 г., стр. 35. Из журнального текста сохранен стих 2-й второй строфы, измененный позже, вероятно в угоду цензуре, на следующий: «Народам завещал и братство и любовь».

Посвящение (стр. 291). Впервые — изд. 1858 г., нумеров. стр. Стихотворение открывает собою сборник. Посвящая свой первый после возвращения из ссылки сборник друзьям-петрашевцам, Плещеев был вполне искренен: его переписка, относящаяся к первым годам после возвращения, полна доказательств живо ощущавшейся им связи с участниками кружка 1840-х гг. (см. «Литературный архив. Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования». Л., 1935, стр. 446, 450—451; см. также «Русская мысль», 1913, № 1, стр. 142).

«Ты хочешь песен,— не пою...» (стр. 291). Впервые — изд. 1858 г., стр. 18—19, одновременно — в РВ, 1858, т. 15, № 12, стр. 615.

«Много злых и глупых шуток...» (стр. 292). Впервые — изд. 1858 г., стр. 32—33. С небольшими изменениями появилось в РВ, 1858, т. 16, № 14, стр. 386—388.

«Дети века все больные...» (стр. 294). Впервые — изд. 1858 г., стр. 34—36. «Современный человек» буржуазно-капиталистического общества стал впервые объектом сатирических обличений еще в 1840-е гг.

«Когда мне встретится истерзаный борьбой...» (стр. 295). Впервые — изд. 1858 г., стр. 38.

Мой знакомый (стр. 296). Впервые — изд. 1858 г., стр. 39—43. В другой редакции — С, 1858, № 9, стр. 291—293.

Странник («Томит меня мой страннический путь...») (стр. 298). Впервые — изд. 1858 г., стр. 47—48. В изд. 1887 г., стр. 31—52 вошло с небольшими поправками.

Мой садик (стр. 299). Впервые — изд. 1858 г., стр. 63—65. С небольшими изменениями появилось в РВ, 1858, т. 15, № 12, стр. 614—615. В изд. 1887 г., стр. 187 вошло в сокращенном виде, без шести последних строф, так как помещено в отделе «Стихотворения для детского возраста», чем и было вызвано сокращение. В посмертных изданиях тоже печаталось только в краткой редакции. В сб. 1940 г., а также в изд. 1948 г. восстановлена полная редакция, г. е. текст изд. 1861 г. с одной поправкой по изд. 1887 г. Печатается по этому тексту.

«Была пора: своих сынов...» (стр. 301). Впервые — изд. 1858 г., стр. 79—80. С одной поправкой — в РВ, 1858, т. 15, № 12, стр. 616. Печатается по изд. 1887 г., стр. 66—67. Эпиграф — из «Стансов» Пушкина.

«Когда возвратился я в город родной...» (стр. 301). Впервые — изд. 1858 г., стр. 77.

Счастливец (стр. 302). Впервые — РВ, 1858, т. 18, № 22, стр. 297—298. С изменениями — в изд. 1861 г., стр. 152—153 и в изд. 1887 г., стр. 66—67. Варианты журнального издания:

Не укрылся от злословья:	(19 строка)
Вовсе нет! Богоугодных	(21 »)
Обществ также член и я	(22 »)
Но скажите, кто ж виною?	(29 »)
Бесполезно и смешно.	(32 »)
Пусть мечтатели вздыхают	(33 »)
Я на них махнул рукой.	(34 »)
Тот, кто может,—наслаждайся!	(35 »)
Мой на это взгляд такой	(36 »)

Молодость и старость (стр. 303). Впервые — С, 1859, № 6, стр. 275, под заглавием «Юность и старость». С исправлениями — в изд. 1861 г., стр. 70—72 и в изд. 1887 г., стр. 365—367. Немецкий подлинник — «Alter und Jugend» из сб. «Gedichte von R. Prutz». Neue Sammlung, изданного в Цюрихе в 1843 г. *Прутц* Роберт (1816—1872) — немецкий поэт и драматург, активный участник германской революции 1848 г. Принадлежал к группе «политических поэтов». В конце 1850-х гг., когда остро стоял вопрос об «отцах» и «детях», это стихотворение звучало злободневно. Из петрашевцев, по возрасту и культуре принадлежавших скорей к поколению «отцов», не один Плещеев открыто выражал в те годы сочувствие «детям».

Песня (Из Шевченко) (стр. 305). Впервые — «Народное чтение», 1860, кн. 1, стр. 147—148, рядом с подлинником. Украинский подлинник — «Полюбилася я...» Петрашевы проявляли большой интерес к Шевченко и вообще к делу Кирилло-Мефодиевского общества. Плещеев перевел всего восемь стихотворений Шевченко.

Памяти К. С. Аксакова (стр. 306). Впервые — сб. 1940 г., стр. 205—206, где стихотворение опубликовано В. Л. Комаровичем по автографу. Автограф с пропуском строки 14-й (с датой: «Февраль 1861, Москва») и с подписью «А. Плещеев») находится в ИРЛИ. Он вложен в письмо В. С. Аксаковой к М. Г. Карташевской от 18 марта 1861 г. Как видно из содержания письма, стихи Плещеева посланы были родным К. С. Аксакова, который скончался 7 декабря 1860 г. Позднее, по автографу, хранящемуся в Центральном государственном литературном архиве (с восстановлением стиха 14-го), напечатано А. В. Федоровым в изд. 1948 г., стр. 129. Последний текст воспроизводится в настоящем издании. В молодости петрашвец Плещеев относился к славянофилу К. С. Аксакову весьма критически (см. «Голос минувшего», 1915, № 12, стр. 64). В стихотворении же, посвященном его памяти, дан идеализированный образ Аксакова. Это нельзя объяснить только тем, что стихотворение носит характер эпитафии; по-видимому, Плещеев, имея в виду отрицательную позицию славянофилов (в определенный период) по отношению к политике правительства, сознательно придал Аксакову черты «бойца», «защитника прав народа».

«О, не забудь, что ты должник...» (стр. 306). Впервые — С, 1862, № 1, стр. 322.

Отчизна (стр. 307). Впервые — С, 1862, № 3, стр. 321—322. Автограф — в ИРЛИ. Рукóписные варианты:

горьева». СПб., 1846, стр. 51—53. Сочувственно отмечено в рецензии Белинского и в его статье «Русская литература в 1845 г.» (см. Полное собр. соч., т. 9. М., 1955, стр. 393 и 594—595).

Г о р о д («Великолепный град! пускай тебя иной. . .») (стр. 322). Являясь нелегальным вариантом предыдущего, это стихотворение в то же время вполне самостоятельное произведение. Сохранилось в рукописном сборнике «Всякая всячина», находящемся в БЛ. Текст стихотворения в нем сопровождается следующим примечанием: «Это стихотворение списано с подлинной рукописи автора, следовательно верно» и т. д. В 1840—1850-х гг. распространялось в списках. О принадлежности его Ап. Григорьеву см. статью В. Княжнина: «Неизданные и малоизвестные стихотворения Ап. Григорьева» («Русская мысль», 1916, № 5, стр. 130—136).

«К о г д а к о л о к о л а т о р ж е с т в е н н о з в у ч а т . . .» (стр. 324). Впервые анонимно — во 2-й книге «Полярной звезды» Герцена (1856, изд. 1-е, стр. 33). Известен список этого стихотворения в рукописном сборнике «Всякая всячина», где оно точно датировано. О принадлежности стихотворения Ап. Григорьеву см. указанную статью В. Княжнина. О мотиве новгородской свободы в поэзии петрашевцев см. примечание к стихотворению Дурова «Н. Д. П—ой», стр. 366.

«Н е т , н е р о ж д е н я б и т ь с я л б о м . . .» (стр. 325). Впервые анонимно напечатано во 2-й книге «Полярной звезды» Герцена (1856, изд. 1-е, стр. 34). О принадлежности Ап. Григорьеву см. указанную статью В. Княжнина.

В. В. Толбин

Обыкновенный случай (стр. 326). Впервые — «Финский вестник», 1846, т. 11, стр. 184—200, с посвящением кн. В. Ф. Одоевскому и с указанием в конце: «Продолжение следует». Продолжения, однако, не последовало. Отрывок Толбина примыкает к аналогичным опытам реалистической поэмы в октавах у Пальма и Мея, подражавших Лермонтову.

Анонимное

Запасные магазины (стр. 341). Впервые опубликовано в «Деле петрашевцев», т. 1. М.—Л., 1937, стр. 412—413. Прочитано в ноябре 1848 г. на одном из собраний у Петрашевского Ф. Н. Львовым и сохранилось в его показании следственной комиссии от 7—8 июня 1849 г. Подразделение на строки, не выдержанное в следственном «деле», восстановлено согласно метру и рифмам. Некоторые строки, лишённые всякой связи с остальными, просто опущены и заменены многоточием.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Между стр. 96 и 97. Портрет маслом А. И. Пальма неизвестного художника. 1840-е годы. Хранится в ИРЛИ. Публикуется впервые.

Между стр. 160 и 161. С. Ф. Дуров. Литография. Местонахождение оригинала неизвестно.

Между стр. 272 и 273. А. Н. Плещеев. Фотография 1850-х годов (?). Хранится в ИРЛИ.

СОДЕРЖАНИЕ ¹

Поэты кружка петрашевцев. Вступительная статья	5
В. В. Жданова	

А. П. БАЛАСОГЛО

Биографическая справка	49
Прорицание	53 348
Противоположность	55 348
Раздел	57 348
Исповедь	59 348
Гений	60 348
Лишний	61 348
Приметы	62 348
Возвращение	63 348
А. Н. В.	65 348

А. П. ПАЛЪМ

Биографическая справка	83
Опустелый дом	86 349
Из Андрея Шенье («Я помню те года, я был еще дитёй...»)	87 349
«Много горя, много дум тяжелых...»	87 350
Элегия (Из Андрея Шенье)	88 350
Воспоминание	88 350
Сказка про царя с царевной да про гусяра с замор- ским котом	90 350
Освобожденный узник	107 350
Из Шенье («Приди к ней поутру, когда пробуждена...»)	108 350
А. Ф. Д—у	109 350
Цыганке	109 350

¹ Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

Напутное желание	110	351
Няня	111	351
«Когда гляжу на городские зданья...» .	112	351
«Я сидел задумчив...»	112	351
«Гляжу я на твои глубокие морщины...»	113	351
Русские картины	113	351
Русская песня	114	351
Осенний день	115	351
Отрывок из рассказа	116	351
В альбом М. В. Г.	122	352
Перед грозой	123	352
Обоз	124	352
«Напрасно прозрачные глазки твои...»	125	352
«И одного еще мы проводили...» .	126	352

Д. Д. АХШАРУМОВ

Биографическая справка	129	
«Едва я на ногах — шатаюсь, как пьяный...»	133	352
«Позором века...»	134	352
«Как длинны эти дни, как долго это время...»	134	352
«Земля, несчастная земля...»	135	352
«День за днем всё идет да идет...»	136	353
«Гора высокая, вершина чуть видна...»	137	353
«Судьба жестокая свершилась надо мной...»	139	354
«Ах, сколько звезд на небесах...»	140	354
Херсонь	140	354
Н. Е. Рудыковскому	141	354
«Мои острожные друзья...»	142	354

С. Ф. ДУРОВ

Биографическая справка	145	
Из В. Гюго («Не насмехайтесь над падшею женой!...»)	155	355
С польского («Когда моя радость начнет говорить...»)	155	356
Из Байрона («Когда из глубины души моей больной...»)	156	356
Смерть сластолюбца (Из Виктора Гюго)	156	356
Из Хоцьки («Если хочешь видеть лето...»)	160	356
Дант (Из Августа Барбье)	160	357
Цветок	161	357
Из Барбье («Как больно видеть мне повсюду свою горесть...»)	162	357
Из Виктора Гюго («Нежданно настает день горький для поэта...»)	163	357
Из В. Гюго («Судьбу великого героя иногда...»	164	357
Невра (Из А. Шенье)	164	358
Горе и радость (Из Мильвуа)	165	358
Присказки	166	358
Сонет («Нигде ни в ком любви не обретая...»)	166	358
«Вечер был светел как день; небо сияло лазурью, поля...»	167	358

Мелодия (Из Байрона) («Да будет вечный мир с тобой!..»)	167	358
«Люблю тебя за то, что в вихре светских бурь...»	168	358
«Мы встретились — и тотчас разошлись...»	169	358
Из В. Гюго («Ты видишь эту ветвь; побитая грозой...»)	169	358
Гомер — нищий	170	358
Атлас (Из Виктора Гюго)	173	359
Метафора (Из В. Гюго)	173	359
«Когда трагический актер...»	174	359
Кручины	174	359
Шекспир	175	359
«Ложным приманкам не верь и вослед не ходи за толпою...»	175	359
Князя	176	359
Оружие (Ребенку)	182	360
Осеано пох (Из В. Гюго)	182	360
«Я как сокровище на памяти моей...»	184	360
Из В. Гюго («Когда порой дитя появится меж нами...»)	185	360
«С тайной тяжелой тоской я гляжу на тебя, мое сердце...»	186	360
«И плакать хочется, и хочется смеяться...»	187	360
Роза и кипарис	187	361
Морлах в Венеции	187	361
«Когда прощались мы с тобой...»	188	361
Мелодия (Из Байрона) («О, плачьте над судьбой отверженных племен...»)	190	361
Аюдаг (С польского)	190	361
Туча	191	361
Анакреон	191	361
Сонет («Я думаю, на что облокотиться?..»)	192	361
Из В. Гюго («Я был на берегу во время ночи звездной...»)	193	361
Листок	193	361
«Бывают дни недуга рокового...»	194	362
Из В. Гюго («Есть существа, которые от детства...»)	194	362
«Я не приду на праздник шумный...»	196	362
В альбом графини С—кой	196	362
«Есть бездна на земле, есть бездна роковая...»	196	362
Из А. Шенье («У каждого есть горе; но от братьев...»)	199	362
«Что в жизни, если мы не любим никого...»	200	362
Из В. Гюго («В июне сладостном, когда потухнет день...»)	200	362
«В нас воля разума слаба...»	201	363
Сон (Из Байрона)	201	363
Из Данте	207	363
Отчаяние (из Н. Жильбера)	210	363
Из А. Шенье	210	363
«Сердце исчахло у нас от науки холодной. В ребенке...»	211	363
«Музыка — то же, что вздох, излетевший внезапно из сердца...»	211	363
Кружка (Восточное предание)	211	363
«Кого любить? Кому доверить...»	213	363

К*** (При отсылке стихов А. Барбье)	213	363
«Иные дни — мечты иные...»	214	363
Чердак	215	364
Портрет	217	364
«Жаркое чувство любви не надолго в душе остается...»	217	364
«Смотришь порой на нее, а мечтается — смотришь на небо...»	217	364
Из Проперция	218	364
В. В. Толбину	219	364
«С невыразимым наслаждением...»	220	364
«Ваш жребий пал! Счастливая пора...»	220	364
Сосед	221	364
«Озябло горячее сердце мос...»	221	364
Странник	222	364
«Когда склонившись на плечо...»	222	364
«Куда ни посмотришь — повсюду...»	223	364
«Как весело... идти вослед толпы...»	224	365
Спор	225	365
«Зачем забвенья не дано...»	225	365
В альбом	226	365
К ребенку	226	365
Из Горация	227	365
Из Апостола Иоанна	228	365
Минотавр (Из Огюста Барбье)	229	365
Из В. Гюго («Ночь черным покровом лежала кругом...»)	233	365
Совесть (Из Огюста Барбье)	234	366
Маргаритка (Из В. Гюго)	235	366
Из В. Гюго («Земля кремнистая, холодная, скупая...»)	235	366
Н. Д. П—ой	236	366
Из Барбье («О горькая бедность!...»)	236	366
«Кто стал помимо вечных лжей...»	238	366
«Что миг — то новые удары...»	239	366
Смех (Из Барбье)	240	366
«Европа движется... Над ней...»	242	367
Из В. Гюго («Услышав плач, я отпер дверь в лачугу...»)	242	367
Воспоминание ночи 4 декабря	244	367
«Оттого ли, что когда-то...»	245	367

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ

Биографическая справка	249	
Песня странника (Из Рюккерта)	356	368
Дума	257	368
На зов друзей (С французского)	258	369
Молитва (Из Гете)	259	369
Сосед	260	369
Странник («Всё тихо... Тополы над спящими водами...»)	261	369
Любовь певца	262	369

Гидальго	263	370
«Когда я в зале многолюдном...»	264	370
Сон (Отрывок из неоконченной поэмы)	265	370
Поэту	267	370
«Вперед! без страха и сомненья...»	269	370
Ответ	270	371
«Страдал он в жизни много, много...»	271	371
Подражание Байрону	272	371
«К чему мечтать о том, что после будет с нами...»	272	371
Возьми барабан и не бойся...»	274	371
«По чувствам братья мы с тобой...»	274	372
Новый год (Кантата с итальянского)	275	373
Присылке Рафаэлевой мадонны	276	373
Перед отъездом (Л. Э. Д.— присылке моих стихов)	276	374
«После чтения газет...»	277	374
«Еще один великий голос смолк...»	278	374
С у	279	374
Вопрос	279	375
«Не говорите, что напрасно...»	280	375
В степи	280	375
Раздумье	281	375
«О, если б знали вы, друзья мой вссны...»	282	375
Листок из дневника	283	375
Птичка (Подражание Сырокомле)	286	376
«Есть дни: ни злоба, ни любовь...»	287	376
С. Ф. Дурову	287	376
«Тобой лишь ясны дни мои...»	288	376
Молитва	289	376
«О нет, не всякому дано...»	290	376
«Он шел безропотно тернистою дорогой...»	290	376
Посвящение	291	377
«Ты хочешь песен,— не пою...»	291	377
«Много злых и глупых шуток...»	292	377
«Дети века все больные...»	294	377
«Когда мне встретится истерзанный борьбой...»	295	377
Мой знакомый	296	377
Странник («Томит меня мой страннический путь...»)	298	377
Мой садик	299	377
«Была пора: своих сынов...»	301	377
«Когда возвратился я в город родной...»	301	377
Счастливец	302	377
Молодость и старость (Из Роберта Пруцца)	303	378
Песня (Из Шевченко)	305	378
Памяти К. С. Аксакова	306	378
«О, не забудь, что ты должник...»	306	378
Отчизна	307	378
«О юность, юность, где же ты?...»	308	379
«Честные люди, дорогой тернистою...»	309	379
«Иль те дни еще далеки...»	310	379
Старики	311	379
Ночью	312	379
«Я тихо шел по улице безлюдной...»	313	379

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Вступительная заметка	319	
Аполлон Григорьев		
Город («Да, я люблю его, громадный, гордый град...»)	321	379
Город («Великолепный град! Пускай тебя иной...»)	322	380
«Когда колокола торжественно звучат...»	324	380
«Нет, не рожден я биться лбом...»	325	380
В. В. Толбин		
Обыкновенный случай	326	380
Анонимное		
Запасные магазины (Басня)	341	380
<i>Примечания.</i>		
К иллюстрациям	343	381

Редакционная коллегия:

*В. Н. Орлов (главный редактор), М. О. Ауэзов,
А. Г. Дементьев, В. П. Друзин, В. О. Перцов,
А. А. Прокофьев, М. Ф. Рыльский, В. М. Саянов,
А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов,
И. Г. Ямпольский (зам. главного редактора)*

ПОЭТЫ-ПЕТРАШЕВЦЫ

*Редактор В. С. Киселев
Художник И. С. Серов
Худож. редактор М. Е. Новиков
Техн. редактор С. И. Брусиловская
Корректор В. Н. Вишнякова*

*Сдано в набор 1/VIII 1957 г. Подписано
к печати 4/XII 1957 г. Бумага 84×108¹/₃₂.
Печ. л. 24,62 (20,19). Уч.-изд. л. 18,89
Тираж 20 000. Цена 7 р. 30 к. Заказ № 1481.*

*Ленинградское отделение
Издательства „Советский писатель“
Ленинград, Невский пр., 28.*

*Типография № 4 УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Социалистическая 14.*

О П Е Ч А Т К И

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
26	3 св.	Но вполне	Не вполне
270	1 сн.	Друг друга	Друг другу
349	17 св.	покровителя	покорителя
357	7 »	«Il piano»	«Il piano»
367	18 сн.	четыре раза:	пять раз:
367	17 »	1861 и 1887 гг.	1861, 1863 и 1887 гг.